

Цена 6 руб. 25 к.

Перепл. 1 р. 25 к.



Заказы направлять:

Москва, центр, Петровка, 7

Книжный магазин изд-ва политкаторжан
Телефоны: 4-18-12 и 3-63-20

60

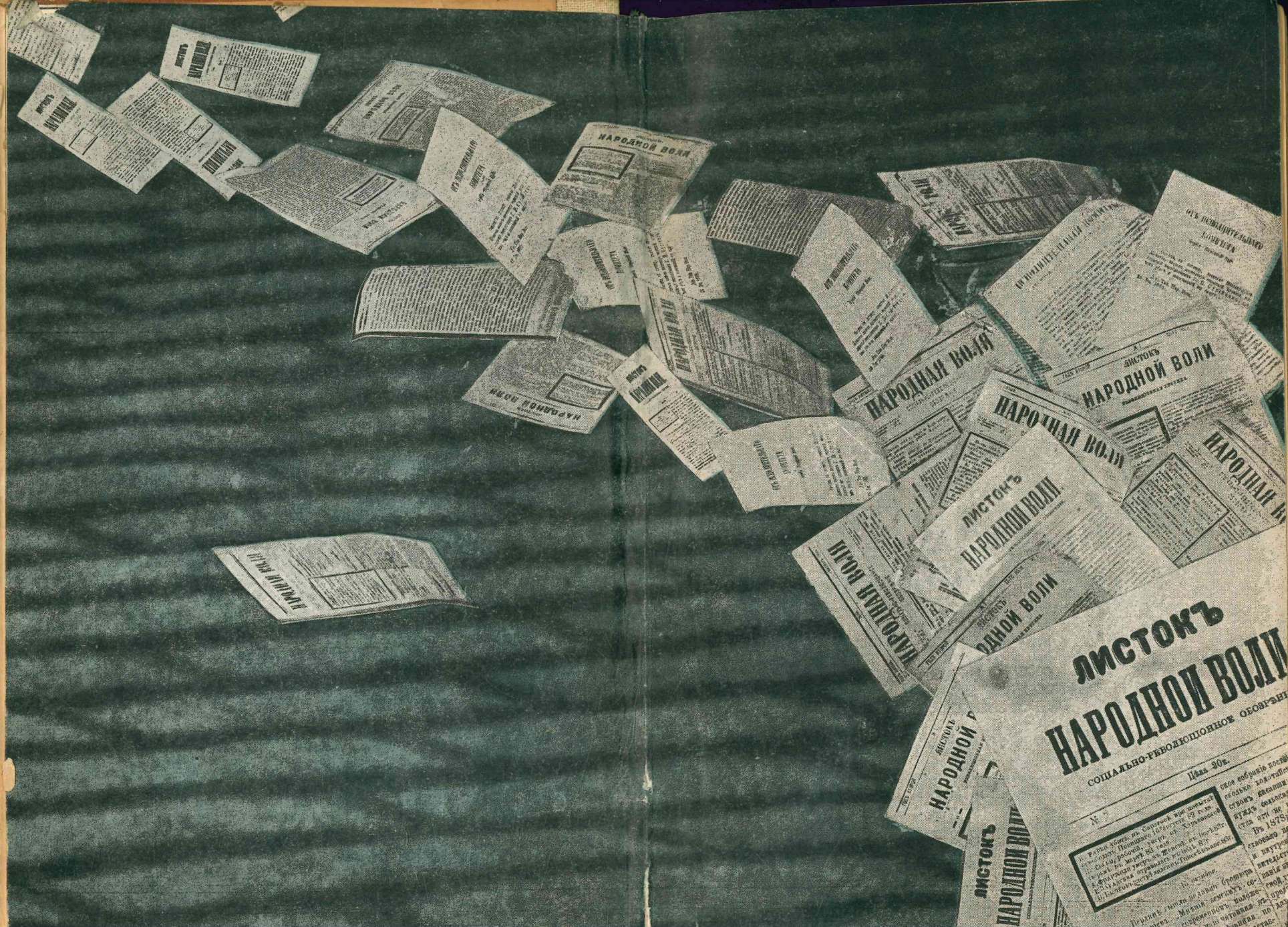
T $\frac{60}{160}$



М. Щеглов

Клочки воспоминаний

М. Щеглов — Клочки воспоминаний



Листокъ Народной Воли

СОЦИАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБОЗРЕНІЕ

№ 20.

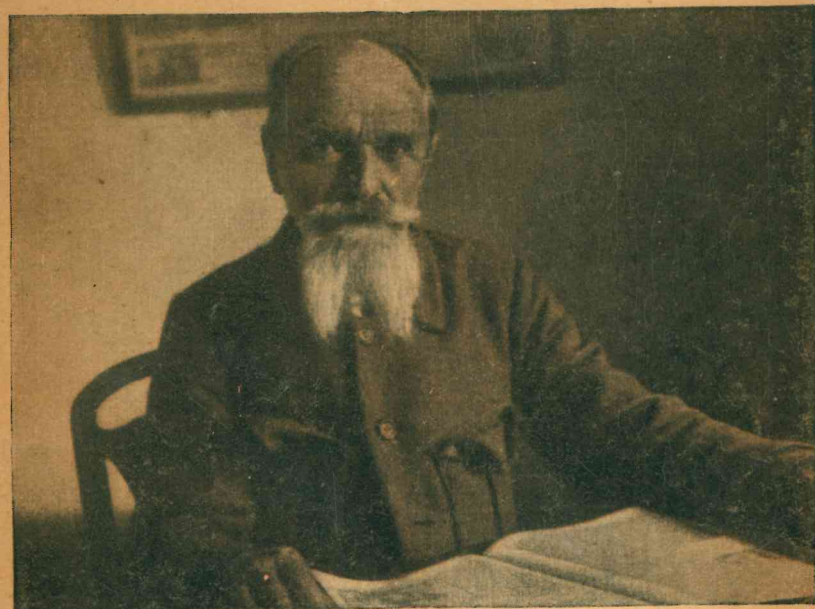
Въ этомъ листокѣ мы сообщаемъ о результатахъ работы нашей группы въ теченіе 1908 года. Мы сообщаемъ о томъ, что мы успѣли сдѣлать въ теченіе года, и о томъ, что мы имеемъ въ виду сдѣлать въ будущемъ году.

Въ этомъ листокѣ мы сообщаемъ о результатахъ работы нашей группы въ теченіе 1908 года. Мы сообщаемъ о томъ, что мы успѣли сдѣлать въ теченіе года, и о томъ, что мы имеемъ въ виду сдѣлать въ будущемъ году.

267-38

48
3-





М. П. ШЕБАЛИН

Фотография 1934 г.

6 вкл.

М. П. Шебалин

55 ~~153~~ Т $\frac{60}{160}$

Клочки воспоминаний

ПОДГОТОВИЛИ К ПЕЧАТИ

А. В. ПРИБЫЛЕВ, Л. Л. БЕРМАН, В. И. СУХОМЛИН

Редакция И. А. ТЕОДОРОВИЧА

15/12-392

2/967

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА—1935

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю сборник статей и документов по известному киевскому «процессу 12-ти» 1884 г. издается в связи с 75-летием со дня рождения автора этих статей, одного из видных революционеров, Михаила Петровича Шебалина. Ценность этого сборника заключается не столько в новизне публикуемого материала, сколько в его выявлении и систематизации. Статьи М. П. Шебалина, затерянные в различных журналах и сборниках, а документы — в архивах, впервые собранные в настоящем издании, дают представление не столько об авторе, сколько об эпохе и о том течении революционного движения, к которому он принадлежал.

М. П. Шебалин родился в семье либерального помещика. Ребенком ему пришлось присутствовать при решениях его отцом (мировым посредником) споров между крестьянами и помещиками.

С развитием капитализма крестьянство подпадало под пресс двойной эксплуатации (феодальной и капиталистической). Поэтому оно, испытывая невероятные страдания, лишаясь в лице своей значительной части возможности самостоятельного хозяйствования, судорожно пыталось обороняться от своих врагов — помещиков и пошедших на союз с последними капиталистов.

На переплете — фотография М. П. Шебалина 1884 г.

Ответственный редактор И. А. Теодорович

Оформление и техническая редакция М. Масляненко

Поступила в набор 15/V 1934 г. Подписана к печати 15/XII 1934 г.

Печ. лист. 28. В 1 печ. л. 35000 зн. Форм. бум. 80×110_{1/2}

Тираж 5000. Уполн. Главлита В 89157

Заказ изд-ва № 148, Заказ типографии № 424

Отпечатано в типо-литографии им. Ворожского — Москва, ул. Дзержинского, 18

И в кабинете мирового посредника М. П. Шебалин получил тот опыт, который подсказал ему в годы его политического оформления не путь его отца, не его идеологию, а путь, о котором мечтали «потравщики» (крестьяне).

М. П. Шебалин в годы своей сознательной жизни примкнул к лагерю сторонников крестьянской революции.

Он сформировался в те годы, когда бедствия крестьянских масс обнаружались с полной ясностью.

Лучшая часть тогдашней российской интеллигенции, рекрутировавшейся уже не только из дворянской среды, но и из среды других классов, в том числе и из некоторых слоев самостоятельных товаропроизводителей, ярко представляла себе невозможность «прогресса», «свободы» без уничтожения причин «всероссийского разорения». Невозможность же не только легальной борьбы, но даже и гласного обсуждения мер к устранению зла и бедствий трудящихся масс вследствие наличности диктатуры крепостников приводила к тому, что эта интеллигенция озлоблялась, становилась на путь не только словесного, но и действительного отрицания существующего социально-политического порядка, на путь его революционного отрицания.

Именно потому, что эта интеллигенция становилась идеологом промежуточного класса капиталистического общества (крестьянства) в эпоху, когда пролетариат еще только становился самостоятельным классом, она не смогла теоретически правильно осознать ни обстановку, ни средства ее переделки.

Вот почему ярко бросаются в глаза демократизм и утопизм, слитые воедино, в идеологии народовольчества, поднявшего революционную теорию своей эпохи на самую высшую ступень, какая только мыслима для представителей класса мелких товаропроизводителей.

Для того, чтобы правильно оценить социально-политическое содержание идеологии народовольчества, мы должны помнить слова Маркса о том, что «как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает», точно так же нельзя судить и об идеологиях различных классов по их собственному сознанию.

Поэтому, подвергая идеологию народовольчества глубокому научному анализу, Владимир Ильич установил, что, несмотря на стремление консолидировать крестьянскую демократию на базе некапиталистического развития, народовольчество на деле объективно могло бы лишь расчистить пути для фермерского типа капитализма.

По представлениям *основного* течения народовольчества, все бедствия трудящихся масс (в основе крестьянских) могли быть устранены ликвидацией класса помещиков и передачей его земель тем, кто их обрабатывает. Капитализм же и порождаемые им бедствия крестьянин и рабочий устранят организацией ассоциаций, в которые должны входить все трудящиеся, в равной мере владеющие орудиями и средствами производства. Коллективно владея средствами производства, коллективно производя различного рода продукты и коллективно обменивая их (при помощи купли-продажи) на продукты других коллективов (ассоциаций), трудящиеся избегнут эксплуатации со стороны отдельных капиталистов и создадут новый общественный порядок без эксплуатации человека человеком.

В отличие от классических утопистов, народовольцы (центральное течение) понимали, что осуществление их идеала — царства свободных товаропроизводителей — крестьянской демократии — невозможно без революции, без беспощадной борьбы с классом помещиков, без его насильственного уничтожения. А так как царское правительство было органом защиты интересов помещиков, то осуществление их идеалов

мыслилось только после разгрома крепостнически-бюрократической государственной власти, после захвата власти передовым отрядом крестьянских революционеров.

Акт завоевания революционерами власти представлялся в результате убийства «первого помещика» — царя. Уничтожение царя по их мысли, должно было не только дезорганизовать правительство но и послужить сигналом, призывом к борьбе трудящихся масс города и деревни против помещиков и их правительства...

Маркс. Энгельс и Ленин блестяще доказали что общество даже ассоциированных мелких товаропроизводителей не гарантирует их от зол капитализма. Поэтому осуществление социально-экономических идеалов народовольчества могло привести лишь к развитию капитализма («фермерский путь») в новой, правда, менее болезненной форме, чем путь развития прусский. Идеи народовольчества в эпоху стремлений крестьянства избавиться от навязанного им помещиками и капиталистами самого мучительного пути развития стали господствующими среди революционеров потому, что на авансцене тогдашней жизни не было видно пролетариата, из «класса в себе» в ту пору уже превращавшегося в «класс для себя».

М. П. Шебалин, ставши на путь революционного отрицания «существующего строя», был втянут в орбиту народовольческих идей и дел.

Картины ужасающей нищеты в Карвасарах (предмесье Каменец-Подольска) и споры о «потравах» в кабинете его отца в его детском мозгу создали предпосылки для восприятия идей Чернышевского и народовольцев.

Вот почему М. П. Шебалин сначала оказывает услуги героической фаланге народовольцев, уничтожившей Александра II, а затем становится одним из активнейших деятелей группы народовольцев, так сказать, второго призыва, во-

шедшей в историю революционного движения под именем фракции «Молодой «Народной Воли» или «Молодой партии «Народной Воли».

Эта группа революционеров в своем подавляющем большинстве до разгрома Исполнительного Комитета (до 1881 г.) являлась народовольческой периферией и не оказывала заметного влияния на образование идеологии основного течения народовольчества.

Корифеи этого течения, в силу поставленной ими перед собой задачи — уничтожение царя — отдававшие ее разрешению все свои силы и силы всей партии, фактически превратили основные народовольческие организации в оторванные от масс, приспособленные главным образом к осуществлению террористических задач.

Основное течение народовольчества в лице своих лучших представителей на деле, на практике отдало все свои силы героическому поединку с царем.

Этот поединок, осуществлявшийся ими исключительно во имя интересов мелких товаропроизводителей, даже закончившись удачей, привел к поражению.

Убийство царя не привело к изменению политики правительства. Оно не вызвало никаких революционно-действенных откликов широких народных масс, во имя интересов которых это убийство было предпринято. Именно поэтому оно привело не только к краху организации, но и краху основной установки народовольчества — гиперболической оценки значения центрального террора. Вместе с нею жесточайшей критике были подвергнуты и родившаяся в процессе сосредоточения всех сил революционной организации на осуществлении террористических актов переоценка сил интеллигенции и недооценка (практическая, а не теоретическая) значения вовлечения народных масс в каждое революционное действие.

Отсутствие в тогдашней России мощного рабочего движения и рабочей партии * привело к тому, что крах народо-вольческой теории и практики вызвал полный идейный разброд в рядах революционеров.

И хотя мысль революционеров, ощущая в известной мере крах апробированных установок, не могла подняться до их полного отрицания и замены их новыми, все же она пыталась внести в них поправки, правда, не столько принципиального, сколько, так сказать, организационно-тактического свойства. Большинство революционеров этого периода не понимало того, что крахнула ставка на класс, а не только методы вовлечения его в борьбу с классом помещиков. Еще в меньшей мере революционеры этого периода могли осознать утопичность своих позитивных построений. Вот почему фракция «Молодой «Народной Воли», активным деятелем которой являлся М. П. Шебалин, возникнув на развалинах легендарного Исполкома, вступила в борьбу только с практическими, а не идеологическими традициями своих предшественников. Вот почему эта фракция вводит в свою программу наряду с центральным аграрный и фабричный террор.

По мнению «молодых» народо-вольцев, центральный террор — убийство представителя центральной власти — не привел в движение масс, ибо ее представители слишком далеки от народа и поэтому в его глазах не олицетворяют то зло, которое гнетет массы на местах. Поэтому такого рода террор, хотя и имеет значение, требует коррективов.

Фабричный и аграрный террор, поражая именно конкретных носителей власти и непосредственных эксплуататоров народа, в состоянии всколыхнуть его толщу, раскачать ее,

* Группа «Освобождение труда» возникла только в 1883 г. Она, равно как и другие предмарксистские организации 1881—84 годов, не увлекла за собою большинства народо-вольческой интеллигенции.

приободрить, воодушевить ее на борьбу против класса помещиков и его правительства.

Сам М. П. Шебалин в печатаемой в этом сборнике статье «Петербургская народо-вольческая организация 1882—83 гг.», к сожалению, подробно на этом не останавливается. Он пишет: «На собраниях наших [совещаниях группы «молодых». — *Ред.*] споров по программным вопросам не происходило. Для нас, петербуржцев, программа Исполнительного Комитета оставалась основой нашей деятельности... Относительно тактики, действительно, выявилось нечто новое, а именно высказано было мнение о необходимости *приблизить террористический метод к массам* [курсив наш. — *Ред.*]. В организационном отношении высказывались за желательность большей самостоятельности местных групп».

В статье «Киевская народо-вольческая организация конца 1883 и начала 1884 гг.» М. П. Шебалин еще раз возвращается к разногласиям между «стариками» и «молодыми» и говорит: «В дальнейшем плане организационной работы Якубович выражал желание дать местным организациям большую самостоятельность, автономию, а террор приблизить, как теперь сказали бы, к массам, т. е. не ограничиваться применением этого способа только к главным заправилам государства, но употреблять его и против второстепенных угнетателей народа... В этом мы были с ним согласны, и эти два пункта: «автономия» и «фабрично-красный террор», как их тогда окрестили, были главными разногласиями в спорах между Лопатиным и молодыми народо-вольцами».

Но тактические разногласия между «стариками» и «молодыми» были несколько шире, чем их излагает М. П. Шебалин. Молодые, зная, на основе опыта разгромленного Исполнительного Комитета, насколько террористическая деятельность может заполнить всю жизнь организации, высказыва-

лись за усиление деятельности в массах. Так, А. Ф. Якубович-Мельшин (лидер «молодых») выступил на суде с заявлением о сущности разногласий и сформулировал их так: «Я хотел в это время более деятельной пропаганды социалистических идей в народе, нежели какую практиковал до тех пор Исполнительный Комитет».

Крах исторического Исполнительного Комитета, не в теории, а в своей деятельности не бросившего всех своих сил на связь с массами, на их организацию, в глазах «молодых» был связан с отрывом от масс.

И «молодые» по существу, а не на словах, хотя и не отрицали террора и даже теоретически считали возможным увеличить его разновидности, во всей своей практике должны были ставить ударение на деятельности в народе: на агитации и пропаганде в его среде, на организации его наиболее активных представителей. Это особенно ярко видно из печатаемых в этом сборнике документов и в частности из передовой статьи для очередного номера «Народной Воли», написанной Степуриным, не увидавшей в свое время света и до сего времени целиком не опубликованной.

Эта передовая, явившаяся своего рода манифестом «молодых», делила деятельность народовольчества на два периода: период «борьбы с императорством Александра II» и период работы среди народных масс. Статья прямо указывает, что «борьба с императорством Александра II оставляла народную массу вне сферы нашего воздействия» и что «молодые» народовольцы «глубоко убеждены, что дело политического и социального возрождения будет тогда прочно, когда масса явится сознательной участницей нашего дела; поэтому деятельность наша после 1 марта должна была перейти на помощь проснувшейся народной мысли, дать ей ответ на поставленный ею вопрос и выяснить ей ту связь, которая существует между делом политического освобождения и

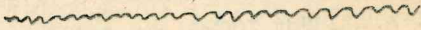
собственным ее освобождением от угнетающих ее социальных зол».

Печатаемый нами сборник статей М. П. Шебалина и документов по киевскому «процессу 12-ти», как видно из сказанного, представляет очень большой интерес не только для историка, но и для каждого читателя, глубоко интересующегося нашим революционным движением. Печатаемые статьи и документы, если и не освещают целиком, то все же очень ярко отражают ряд интереснейших моментов того революционного движения, гегемоном которого в теории должно было стать крестьянство. Статьи М. П. Шебалина, даже освещающие только его детские годы, представляют для нас высокий интерес, потому что рисуют пореформенную эпоху, положение крестьянства, части дворянства, процесс превращения интеллигента из организатора классового общества — в организатора крестьянской революции и т. д. Наконец, и статьи и документы (значительная часть которых публикуется впервые) представляют большую ценность для изучения деятельности и идеологии фракции «Молодой «Народной Воли» и «процесса 12-ти».

Кроме того, не только статьи, но и документы рисуют нам во весь рост крупного, стойкого революционера М. П. Шебалина, бесстрашно ведшего борьбу с самодержавием не только на воле, но и в тюрьме. Ему, М. П. Шебалину, пишет В. Н. Фигнер такие лестные строки: «Осужденный, вы буйно, при поддержке всей тюрьмы, протестовали против варварского обычая брить осужденному голову. По вступлении в Шлиссельбургскую крепость, в безмолвии ее стен, вы бесшумно протестовали 30-дневной голодовкой».

Редакция убеждена, что когда с этим сборником познакомится наша советская молодежь и перед ее умственным взором встанет во всей своей величине портрет еще одного из героической когорты народовольцев, — это вдохновит ее на

дальнейшую борьбу за победу социализма не только в нашей стране, но и во всем мире. Семидесятисемилетний автор печатаемых статей, приняв полностью Октябрьскую революцию, по мере своих сил и способностей до сих пор работает на благо пролетарской революции. Это обстоятельство еще более поднимает значение его книги. Она научит читателей той настойчивости и мужеству, которые отличали автора настоящих воспоминаний.



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящая книга воспоминаний М. П. Шебалина и документов по его делу представляет собою работу коллективную. Коллективной была подготовка к печати, проведенная особой народовольческой бригадой, коллективна и обработка собранного материала и составление примечаний и комментариев. Группа старых народовольцев, готовившая это издание, привлекла к своей работе целый ряд лиц, которые с большой готовностью откликнулись на обращенный к ним товарищеский призыв. Так, от С. Н. Валка был получен ряд чрезвычайно интересных документов по делу М. П. Шебалина и его письма к родным. Одновременно Л. Л. Берман взял на себя подготовку к печати всего отдела документов и для него извлек из архивов материалы по киевскому процессу, тщательно скопировал и сверил их и снабдил своим предисловием. Аналогичную работу по подготовке отдела комментариев взял на себя В. И. Сухомлин, установивший общую точку зрения на те факты, которые там приведены, и выразивший ее в особом введении. Самое составление примечаний явилось в свою очередь делом точно так же коллективным. Здесь приняли участие как отдельные специалисты, так и непосредственные участники тогдашних событий. Из числа последних В. Г. Тан-Богораз дал очерк о П. Ф. Шебалиной-Богораз, своей старшей сестре, о которой сохранилось так мало данных в нашей литературе и которой вообще историки и мемуаристы оказывают внимание на много меньше того, чем она заслуживает.

Помимо того, подготовители обращались еще к двум сопроцессникам М. П. Шебалина, Е. Д. Степанову и П. Г. Дашкевичу, с просьбой дать материал в отдел комментариев.

Материал этот был получен от них в устной форме, так как они предполагают дать особо о том времени свои воспоминания. Обращалась редакция также к И. И. Попову, как одному из деятельных участников «Молодой «Нар. Воли», с просьбой дать материалы о К. А. Степурине и о других событиях того времени.

Из современных исследователей, кроме С. Н. Валка, о котором уже упомянуто выше, несколько очень ценных фактических указаний (документы о П. Ф. Шебалиной и письмо ее к М. П. Шебалину от 27 мая 1885 года) было получено от Л. И. Радченко. Документы о К. А. Степурине — от В. И. Сухомлина. Ряд справок получен от Е. Д. Никитиной, а также от Р. М. Кантора и А. А. Шилова. При подборе портретов помощь оказал Музей каторги и ссылки при Об-ве политкаторжан. Словом, целый ряд лиц фактически принял участие в составлении настоящей книги, сделав ее в полном смысле слова работой коллективной.

Попытка в такой широкой форме использовать коллективные силы для настоящего издания не являлась случайной. Напротив, в ней было и нечто строго обусловленное и символическое. Настоящее издание посвящено 75-летию М. П. Шебалина, человека прежде всего и больше всего общественно-го. Что в самом деле являлось наиболее типичной чертой М. П. Шебалина за все 75 лет его жизни, как не постоянное стремление отодвигать на второй план интересы своей личности ради интересов коллектива? И в чем ярче всего проявляются в данный момент наиболее характерные черты М. П. Шебалина, как не в таком же неуклонном, не знающем никаких отступлений служении определенному коллективу, в лице «Кружка народовольцев» и «Общества политкаторжан» — в самом широком смысле этого слова?

Пусть же и этот сборник, составленный коллективным трудом старых и молодых товарищей М. П. Шебалина, лишний раз, самой историей своего создания, запечатлеет такие черты в духовном облике самого М. П. Шебалина, которые давно уже завоевали ему всеобщие любовь, уважение и искреннюю, глубокую признательность за всю его работу.

Октябрь 1932 г.
Ленинград

ПИСЬМО ВЕРЫ ФИГНЕР

Дорогой Михаил Петрович!

Года полтора тому назад со мной познакомился один артист и был так ласков, как никто; ласков трогательно, по-ребячьи; не отпускал меня от себя и, когда я вставала, хватал за руки, говоря: «Нет! Сидите!»...

Это было как-то доверчиво, мило и смешно. Наконец, я спросила:

— За что же вы меня так возлюбили?! Лично меня вы не знаете. Книг моих не читали.

Через год новая встреча. Опять трогательно внимателен и ласков.

Задаю тот же вопрос:

— Но почему же, в самом деле, вы так полюбили меня? Ведь вы же ничего не знаете обо мне?!

А он:

— Я знаю, что вам было что терять...

Подумав, я возмутилась и написала:

«Среди нас нет ни одного, которому нечего было бы терять... Каждый терял свободу и все с ней соединенное; терял молодые годы и неистраченные силы; терял возможность участвовать в жизни и выявить в ней свою личность»...

... Все это теряли и вы, Михаил Петрович, когда 49 лет назад были вырваны из жизни. Осужденный, вы буйно, при

поддержке всей тюрьмы, протестовали против варварского обычая брить осужденному голову.

По вступлении в Шлиссельбургскую крепость, в безмолвии ее стен, вы бесшумно протестовали 30-дневной голодовкой.

... Прошли годы крепости и ссылки... Жизнь убегала и ручьем, и бурным потоком... Вы оставались верны себе, своей внутренней сущности, и посейчас несете со всеми общие радости, общие горести и труд.

По скромности и традициям прошлого вы против юбилейных торжеств. Но, если друзья посвящают вам сборник, то не может же ваш шлиссельбургский друг не молвить слова, и я целую вас.

Вера.

Дорогой Михаил Петрович!

Мы, старые ваши товарищи и соратники по деятельности в партии «Народная Воля», отметившей собою целое десятилетие (80-е годы), не можем не сказать вам нашего слова привета ко времени вашего 75-летия. Много прошло лет для каждого из нас, лет мучительных и горестных, в тюрьмах и ссылках, прежде чем наступили для нас дни свободы, но все, что было испытано нами, не может сравниться с тем, что выпало на вашу долю. 12 лет самого тяжелого режима в Шлиссельбургской крепости, далекая вилюйская ссылка и, наконец, ссылка в гиблые места далекого севера России,— все эти невзгоды не сломили вас: вы сохранили вашу бодрость и неутомимость, вашу силу и убежденность и, верный своим старым идеалам, страхнув с себя все тяжелое былое, вы вышли снова готовым и способным на новую работу.

Теперь, когда революция сделала всех нас свободными и избавила от страха новой тюрьмы и ссылки, вы нашли себе полезное и здоровое дело как общественник и деятельный член Общества политкаторжан, всегда отзывчивый и приходящий на помощь всякому нуждающемуся.

Как старый народоволец, вы играете влиятельную роль в кружке народовольцев, а как заместитель старосты О-ва и бессменный председатель ветеранской комиссии, вы являетесь постоянным тружеником во всех случаях, где требуется здоровый взгляд и здоровое слово.

Нам приятно констатировать эти ваши качества и пожелать вам при этом еще многие годы сохранить их на общую пользу и на радость вам самим.

Выпускаемый сборник ваших воспоминаний ярко обрисовывает вас как личность, выдающуюся по уму и характеру, деятельную по натуре и по исключительной скромности вашей не выявляющую всех тех качеств вашей души, которые нам, близко знающим вас, известны и понятны. Это составляет единственный недостаток вашей книги, поправить который вы, надо надеяться, сумеете новыми добавлениями ваших ценных воспоминаний, так богатых впечатлениями и опытом.

А. Прибылев.

В. Сухомлин.

А. Прибылева-Корба.

М. Орлов.

АВТОБИОГРАФИЯ

КРАТКИЙ ОЧЕРК МОЕЙ ЖИЗНИ

Написан в декабре 1925 года в Москве

Родился я в 1857 г. 27 мая ст. ст. в дер. Новоселки Казанской губ., Лаишевского уезда, в семье небогатого помещика. Отец мой, ярый сторонник освобождения крестьян, служил мировым посредником по первым выборам, заслужил немилость дворянских кругов за свою деятельность, направленную в пользу крестьян, и, после того, как его забаллотировали при выборах на второе трехлетие, принужден был искать службу в других губерниях. Уже по назначению министерства, а не по выборам, он служил в Гомеле и затем в Подольской губ. мировым посредником.

Таким образом, детство мое прошло в деревенской обстановке, сначала великорусской, а затем украинской деревне, среди ее интересов и разговоров о деревенских, «крестьянских» делах, которые вторгались неизбежно в наш семейный обиход через отца, мирового посредника, и его сослуживцев и клиентов, посещавших нас.

Забравшись в кабинете отца в укромный уголок, незаметно присутствовал иногда при разборе крестьянских дел, при докладах старшин, старост и писарей. Некоторые дела не могли не врезаться в память даже семи—восьмилетнего мальчика по своей шумности и яркости: когда, например, шумная толпа пеших и конных возбужденных людей поздно вечером вваливалась к нам во двор, требуя разбора их спора о «потраве», или когда многочисленный сход шумел, упрямился и не хотел принять какую-то меру, несмотря на

все убеждения моего отца, что это законно и необходимо. Все это, а также рассказы отца в моем присутствии о «волнениях» крестьян, в частности о так называемом «безднском деле» (Антон Петров), хотя мало еще осознавалось, но все-таки оставило неизгладимый след в душе мальчика, заставляло интересоваться крестьянским делом.

Отец мой, конечно, рассказывал об этом деле, как о приговорном недоразумении, повлекшим за собою массу жертв, которых могло бы и не быть, если бы администрация действовала более умело и не пустила бы в ход вооруженную силу против совершенно мирно стоявших невооруженных людей.

Бунт Антона Петрова, по его словам, заключался в том, что Петров толковал по-своему, в благоприятном для крестьян смысле, «Положение», и, по мнению моего отца, нужно и можно было это толкование опровергнуть перед всеми слушающими Петрова крестьянами.

При этом он рассказывал, что на его участке в это время только в одной волости возникло «волнение». Богатый помещик того большого села, в котором это произошло, тотчас же послал извещение о «волнении» или «бунте» ему, моему отцу, как посреднику, и в Казань к губернатору с просьбой прислать войска для усмирения. Приехав в «бунтующее» село и собрав сход, отец услышал, что крестьяне толкуют о «настоящем» манифесте и «Положении», спрятанном будто бы помещиком и попом в алтаре церкви под престолом. Взяв понятых от схода, он с ними и со священником вошел в алтарь, и при открытых священником царских вратах и поднятых покрывах престола все наполнявшие церковь крестьяне могли убедиться, что ничего под престолом спрятано не было. «Волнение прекратилось, а, возвращаясь к себе, он на берегу Камы застал ждавшую перевоза через реку роту солдат, которая в боевом порядке под командой офицера шла усмирять непокорных крестьян. Конечно, он тотчас же вернул роту в Казань.

Несмотря на то, что учить меня начали очень рано и языкам, и музыке, и танцам, деревенская обстановка давала мне много простора, да и домашняя наша дисциплина не была очень строга: была возможность и лазить по деревьям, бегать босиком, ловить не только рыбу, но и лягушек, играть

и драться с деревенскими ребятами. Так прошло мое детство до поступления в гимназию в обстановке деревни, которая, несомненно, укрепила меня физически и дала некоторый материал для будущей идеологии.

В 1869 году отец окончательно бросил службу, мы поселились в г. Каменец-Подольске, и я поступил в гимназию, в которой только что начали вводить так называемую классическую систему. При моем поступлении в нашей гимназии еще один год сохранялась прежняя система (естественная история, физическая география и пр.), но уже в следующий год в третьем классе был введен греческий язык, и я попал как раз на этот перелом, очень тяжело отзывавшийся на всех учащихся. Но, несмотря на это, мое ученье шло недурно, а мальчишеские годы прошли весело и беззаботно.

Старая полуразрушенная крепость Каменец-Подольска, расположенная на живописных скалах, представляла много укромных уголков и для игры в мяч, и для экскурсий в старые башни и темные коридоры и туннели. Самый город, с многими очень оригинальными зданиями старых монастырей, церквей, панских палат, вместе с крепостью возбуждал во всяком мальчике интерес к истории, к происхождению и судьбе этих толстых стен церквей, дворцов... Население города смешанное (украинцы, евреи, великороссы), в большинстве состояло из еврейской бедноты, кутившейся страшно скученно в центральной части города и в предместье Карвасарах, и представляло даже для случайно проходившего мальчика такие поразительные картины нищеты, что они оставляли неизгладимый след в сознании и были первым толчком к размышлению о том, почему не все счастливы в этом прекрасном мире.

Как водится, эти размышления натолкнули на «проклятые вопросы», и вот, будучи еще в пятом классе, я пережил резкий перелом от религии к атеизму, от лояльности к существующему строю — к его отрицанию.

Затем основывается кружок саморазвития И. Л. Шполянским и мною. Этот кружок, хотя и тайный, задавался самыми невинными целями: саморазвитием и изучением вопросов, затронутых в легальной литературе; но тогда была

эпоха хождения в народ и, конечно, нелегальная литература проникала и к нам.

За время своего существования кружок наш благополучно жил и не подвергался репрессиям, но некоторые бывшие члены его, правда, не за кружок, а за дальнейшую деятельность свою, довольно сильно пострадали. М. Шпиркан был приговорен в Киеве к каторжным работам, И. Шполянский должен был эмигрировать, спасаясь от неизбежного ареста, и затем застрелился в Париже. Урсынович Л., Н. Коновкин и А. Недзельский были высланы из Питера административно: первые двое — в Сибирь, последний — на родину.

Таким образом, кружок наш, несмотря на свою легальную внешность, недурно подготовлял юношей к борьбе с существующим строем, хотя пользовались мы преимущественно легальными книжками. Были у нас в ходу журналы: «Знание» и «Неделя», сочинения Флеровского, Михайловского, Чернышевского, Лаврова, Писарева и др. Добывали мы и «Вперед» и другие заграничные издания.

В 1878 году я и большинство членов нашего кружка окончили гимназию и разъехались по университетам. Человек пять-шесть, в том числе и я, поехали в Питер: двое — в Медико-хирургическую академию, остальные — в университет.

Поступив на математический факультет, я, не оставляя нужных занятий, принял деятельное участие в студенческой жизни и, конечно, в студенческих волнениях. Время тогда было беспокойное: в связи с волнениями в провинциальных университетах было много сходок и в питерских высших учебных заведениях.

В 1878 году произошла демонстрация к Аничкову дворцу; закрытие библиотеки-читальни Медико-хирургической академии сопровождалось атакой конных жандармов на толпу и арестами студентов; вообще, первый год моего студенчества окунул меня с головой в так называемые «студенческие беспорядки». И в последующие годы своего студенчества вплоть до 1882 г., когда я окончил университет, принимал я участие в жизни петербургского студенчества, за что и был судим один или два раза профессорским судом (по старому уставу), но приговорен был только к замечанию или выговору.

С первого же года пребывания в Питере я получил связи с революционной средой, но в тесные обязательные отношения с нелегальной организацией не становился, ограничиваясь личною помощью революционерам и деятельностью в студенческих кружках. Тогда только что осуществлялось разделение на «Народную Волю» и «Черный Передел». Мы, периферия, узнали об этом, конечно, не только из того, что вместо «Земли и Воли» появилось два органа, но из дебатов, происходивших в кружках.

Из лиц, с которыми мне приходилось при этом сталкиваться, припоминаю: Бонч-Осмоловского, Лаврениуса, Дубровина, Евг. Бёка, Ченькаева, Федорчукову, Долгорукову (жену Ширяева), с которой я познакомился через своего гимназического товарища Коновкина. Через него же я познакомился с Н. И. Рысаковым, тогда еще легальным студентом Горного института. У другого моего товарища, Урсыновича, встречал я Желябова. Благодаря этим знакомствам, встречался я и с Тимофеем Михайловым и с Гриневским, которые пользовались моей квартирой для свиданий. Знал я и Тычинина, трагически погибшего в доме предварительного заключения.

Несмотря на некоторую близость к видным революционерам, несмотря на то, что мои ближайшие товарищи по гимназическому кружку Коновкин (арестован нелегальным) и Урсынович были сосланы в Сибирь, а Лозинский и Недзельский арестовывались после 1 марта 1881 г., я оставался вполне чистым, ни разу не был арестован и к арестованным товарищам ходил на свидание, носил передачу и пр. вплоть до их отправки в Сибирь.

Весной 1882 г. я окончил университет и, получив звание учителя средних учебных заведений, решил не уезжать в провинцию, где мне предлагали занять место учителя гимназии, а остаться в Питере, занимаясь частными уроками. С революционной средой связи у меня не прерывались, несмотря на аресты и высылку многих моих друзей и товарищей.

В то время (осенью 1882 г.) положение дел «Народной Воли» в Питере после летних арестов было довольно печальное, но зимою уже образовалась группа лиц, которая старалась связать все уцелевшее и продолжать революцион-

ную работу. В этой организации были братья Николай и Василий Андреевичи Карауловы, Софья Ермолаевна Усова, Петр Филиппович Якубович, Кривенко, Прасковия Федоровна Богораз и др. В этой-то организации я и П. Ф. Богораз взяли на себя роль хозяев типографии, которая и работала (как я описывал в своей статье в «Былом» за январь 1907 г.) вплоть до конца 1883 г., когда решено было типографию свернуть, а нам уехать из Питера в виду готовящегося акта над Судейкиным.

Поехал я с женою (П. Ф. Богораз) сначала в Москву, а оттуда в Киев, где я должен был поставить нелегальную типографию, но, к сожалению, благодаря предыдущим арестам, разгромившим прежнюю организацию, дела сложились так, что мне пришлось взять на себя роль лица, руководящего по всем местным линиям деятельности.

После окончания дела Судейкина — Дегаева ко мне в Киев приехал из Парижа, как делегат заграничного центра, В. А. Караулов, а из Питера приезжал П. Ф. Якубович. Связи с харьковской и др. организациями тоже были, и мы, объединив все, что осталось после арестов в Киеве, думали продолжать работу и даже издавать местный орган «Социалист».

В конце февраля мы заметили слежку за собой, стали сниматься, но опоздали... Только немногие успели скрыться... В марте произошли аресты.

В ноябре судили арестованных в марте, и военный суд приговорил В. Панкратова к 20 г. каторжных работ; Мартынова (Борисовича) и Шебалина к 12 годам каторжных работ; В. Караулова к 4 годам каторжных работ; в ссылку на поселение — Щулепникову, Васильева и Дашкевича; в ссылку на жительство — П. Ф. Шебалину и Дирдовского. Оправданы трое: Степанов, Затворницкий, Завадовский.

В конце ноября 1884 г. нас, всех сопроцессников, привезли в Москву в пересыльную тюрьму, но на следующий день объявили, что Питер требует четырех каторжан и что мы будем отправлены туда «сегодня же». После минутного прощания с женой и сыном, родившимся в тюрьме, с которым мне не пришлось больше увидеться, так как оба они умерли в московской перес. тюрьме, о чем я узнал только через десять лет, меня препроводили с товарищами по же-

лезной дороге etapом в Петропавловскую крепость и поместили в холодную нижнюю камеру Трубецкого бастиона. Бритый, закованный в кандалы, в скверной арестантской одежде, лишенный подкандалников и ремня, поддерживающего кандалы, я «проголодал» на сквернейшей пище и «проголодал» около месяца. В ночь на 24 декабря (стар. стиля) мне надели ручные кандалы и на тройке с двумя жандармами отправили в Шлиссельбург, куда я прибыл 24 декабря за день или в день истории с Мышкиным.

Жизнь и порядки Шлиссельбургской крепости так известны интересующимся исторической литературой, что я не буду ничего говорить о том, как я там жил, — жил как все — скажу только, что прожил там двенадцать лет без месяца, голодал тридцать дней в виде протеста за помещение меня в тюрьму, вместо рудников, назначенных мне по закону, чуть не умер от слабости, страдал психическим расстройством, сидел и на карцерном положении, и в строгой изоляции, наконец, в ноябре 1896 г. был вывезен опять в Трубецкой бастион, а оттуда в Сибирь — в Якутскую область, в гор. Вилюйск.

Везли нас (меня и Суровцева) очень быстро, не по etapу, а по железной дороге с отдельным конвоем до Красноярска, где тогда кончалась колея железной дороги, а затем на почтовых (три тройки под нас двоих с конвоем) до Иркутска, куда мы прибыли в конце декабря 1896 г. Из Иркутска меня, Яновича, Суровцева и Мартынова привезли в Якутск в половине февраля, а я и Мартынов прибыли в Вилюйск в конце февраля 1897 г.

Несмотря на очень строгие «правила о политических ссыльных», действовавшие тогда, в Вилюйске жилось ссыльным сносно, благодаря хорошему отношению к нам исправника Б. Ф. Качаровского. В то время в Вилюйске отбывали ссылку Махайский, Шедлих, Юделевский с женой, Хинчук с женой, Кассиуш с женой, Конст. Иванов, Н. Белецкий, Ромась Мих. Ив. Интеллигенты могли заниматься уроками, рабочие — мастерством. Скоро я и Мартынов нашли работу: я стал давать уроки, а Мартынов столярничал и слесарничал. Конечно, приходилось самому колоть дрова, топить печи и камельки, готовить себе пищу, — словом вести довольно суровый образ жизни, значительно отличающийся

от обычной жизни городского интеллигента, но все же голода и холода не приходилось терпеть. Жизнь была дешева, заработки, хотя и незначительные, находились, а когда мы устроили коммунальную столовую, то денежные расходы и трата сил значительно сократились.

От молодых моих товарищей я узнал подробно о новых течениях революционной мысли и движения. С прибытием новой партии ссыльных (в 1889 г., Айзенштат с женой, Розенблум с женой, Мильман и др.) мы узнали о новых арестах, но и о новом расширении движения. И так с каждой новой партией, — а их было все больше и больше, — для меня становилось ясным, что после «Народ. Воли» революционное движение все ширилось и росло, пусть по другим дорогам, с другими идеологиями, но конечная цель всех новых течений та же, что и прежнего движения, — свержение самодержавия и передача власти народу — трудящимся. Это подбадривало, давало надежды на будущее, влекло вырваться из ссылки и окунуться снова в борьбу, но... с другой стороны, я чувствовал себя не в силах проделать все то, что нужно для успешного побега и нелегальной работы. Вот почему я и прожил «мирно» как в Вилуйске до 1902 г., так и в Якутске до 1906 г.

В Якутске встретил я стариков-карийцев: Ионов, Гориновича, Бойченко-Филатова, Лозянова, централиста Пекарского и др., с которыми, конечно, сердечно и крепко спаялся, составляя группу стариков-народников и народо-вольцев. Вокруг нас были представители всех различных позднейших направлений, попадавшие в более или менее продолжительную ссылку, а правительство продолжало посылать каждый год все больше и больше ссыльных, как бы для того, чтобы в этом пресловутом Якутске происходила оригинальная конференция и личная встреча революционеров разных эпох.

В Якутске я занимался уроками, а два последних года служил помощником капитана на пароходе «Лена» (А. И. Громовой), ходившем до устьев р. Лены. Во всех общественных делах нашей политической колонии, конечно, принимал посильное участие. В 1905 г. принимал участие в деятельности общественных организаций г. Якутска, которые тоже оживились, выносили резолюции и петиции в то

короткое время, в которое еще действовала волна революционного подъема, докатившаяся до Якутска, но уже разгромленная в России.

В сентябре 1906 г. мне позволили выехать в Европейскую Россию, в октябре я приехал в Нижний-Новгород, где жили в то время В. Н. Фигнер, Сажин, Барейшо, Ергина. Побывал я и в Питере и в Москве, хотя въезд в столицы мне был воспрещен, повидал старых приятелей и товарищей, идейно примкнул к партии с.-р., но формально в обязательные партийные отношения не вступал, обязуясь только всемерно, но посильно помогать партии.

Устроился я на службу в о-во «Надежда» тверским агентом и прожил в Твери благополучно до начала 1909 г., когда агентство было ликвидировано, и я перебрался на службу в Питер, помощником заведующего «Подвижным музеем учебных пособий». Но в конце августа того же 1909 г. внезапно был арестован при входе в свою собственную квартиру (при чем обыска квартиры не было), препровожден в участок, а оттуда в пересыльную тюрьму для водворения на два года в Архангельскую губ., «как изобличенного», гласила бумажка, врученная мне при аресте, «в социально-революционном сообществе». Думаю я, что этой ссылкой обязан я провокаторше Жученко, которая, хотя лично меня и не знала, но легко могла знать от московских товарищей, что в Твери живет какой-то старик, который и укрыть может и вообще всесторонне помочь; этого, конечно, достаточно было для такой «дамской ссылки», а более веского и важного Жученко сообщить не могла.

В Пинеге и Архангельске я пробыл положенные два года и в 1911 г. переехал по собственному желанию в Степной край, опасаясь оставаться в Европейской России. В Степном крае я служил сначала в Пазлодаре, а потом в Омске уполномоченным Богословского горнозаводского о-ва. С моим прошлым при самодержавии было трудно устроиться на какую-либо общественную работу. Только частная коммерческо-промышленная деятельность допускалась для нас, бывших политических каторжан. Поэтому я был очень рад, когда мне удалось занять место уполномоченного «Волжского судоходного страхового товарищества» по страхованию рабочих от несчастных случаев. Занимал я эту

должность в городе Астрахани, где и застала меня революция.

Принадлежа к астраханской организации с.-р., я работал в ней до июля 1918 г., когда я вышел из организации, и с тех пор ни в какой партии не состою.

Из Астрахани уехал я сначала в Нижний, а потом в Саратов, где служил в качестве уполномоченного Волжского судостроительного товарищества, а потом помощником делопроизводителя одного из отделов Рупвода.

В конце 1919 г. поселился в дер. Богаевке, где моя жена служила фельдшерницей, и одно время, около года, исправлял должность делопроизводителя Богаевской больницы.

В феврале 1922 г. я переехал в Москву и занял место заведующего Музеем имени П. А. Кропоткина и стал членом «О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев».

ЛИСТОКЪ НАРОДНОЙ ВОЛИ.

СОЦИАЛЬНО-РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

№ 2

Цена 20к.

№ 1883

И. Равно убитъ въ Саратовѣ при попыткѣ освободить Нордманъ 16 августа 82 года.
И. Состо, рабочий, убитъ въ Харьковской тюрьмѣ въ Мартѣ 83 года.
А. Франжонъ убитъ въ Женевѣ въ ноябѣ 83г.
Е. Затацкая отправлена въ ссылку 8 г.
В. Гурчичъ застрѣленъ въ Томскѣ въ апр. 83г.

15 октября.

Въ Берлинѣ вышла недавно брошюра подъ заглавіемъ: „Мнѣнія земскихъ соборій о нашемъ современномъ положеніи.“ Это — статья, напечатанная въ „Русской Мысли“, но вырванная по требованію цензуры, хотя она представляла лишь группировку данныхъ, заимствованныхъ изъ источниковъ, напечатанныхъ въ Россіи, болѣею частью въ журналовъ земскихъ соборій. Мы приведемъ нѣкоторые изъ этихъ данныхъ.

Еще въ 1877 году харьковскому земскому соборію представлена была записка о нуждахъ и недостаткахъ земства. Записка не была напечатана по обстоятельству, не зависѣвшему отъ губернской управы, но тогда же зем-

ское собраніе постановило возбудить нѣсколько ходатайствъ передъ правительствомъ касавшихся главнымъ образомъ, нуждъ сельскаго хозяйства. Ходатайства эти не получили удовлетворенія.

Въ 1878г. земское собраніе ходатайствовало передъ министрами финансовъ и внутреннихъ дѣлъ о назначеніи правительственной коммисіи для изслѣдованія экономическаго состоянія харьковской губерніи, съ приглашеніемъ земскихъ представителей къ участію въ ея трудахъ. Отвѣта не послѣдовало.

Въ 80г. продовольственная коммисія новгородскаго земскаго соборія пришла къ убѣжденію, съ которымъ согласился и соборіе, что „удовлетворительное разрѣшеніе продовольственнаго вопроса, можетъ изслѣдовать только на почвѣ общегосударственныхъ мѣропріятій.“ Къ тому-же убѣжденію пришла и продовольственная коммисія сиварскаго земства: „Что значитъ, сами съ дѣлѣмъ, спрашивать поспѣшная помощь, обращаясь и идеальнo-справед-

Первая страница одного из „Листков“, отпечатанных в нелегальной типографии, организованной в Петербурге М. П. Шебалиным

I

КЛОЧКИ
ВОСПОМИНАНИЙ

1 РАННЕЕ ДЕТСТВО

Самые ранние картины моего детства всплывают у меня на фоне родной усадьбы, расположенной на берегу большого пруда на речке Ирге. От дома по скату к пруду разбит был цветник с китайской яблоней (мелкие яблочки) посередине, затем шли аллеи сирени, акаций, жасмина, ягодных кустов (смородины черной и красной), грядки с клубникой и земляникой, малинник. Больших деревьев было мало, но слева садик замыкался небольшой березовой рощей, в которой стояла баня и за которой начинались «службы», т. е. «скотный» и «птичий» дворы и прочие хозяйственные территории.

Дом был небольшой, деревянный, в шесть комнат в первом этаже и двумя — в мезонине, с сенями и кладовыми в пристройках. Выходил он к пруду, как водится, балконом (террасой), а на двор — двумя крыльцами: «парадным» и «черным». Кухня, «людские» (жилище прислуги), конюшня, каретный сарай тянулись по правой стороне довольно большого двора с палисадником посередине (из желтой акации и сирени), а слева стояло длинное деревянное здание, где жил приказчик и помещались столовая и слесарная мастерские. Слева же, за двумя очень большими березами, виднелись два ряда крестьянских изб, которые и составляли деревню «Новоселки», «Ивановка то ж».

Имение было небогатое, но благоустроенное: кроме пахотной земли был и лесок, и покос, и водяная мельница, которую мой отец приспособил не только для помола муки, но и для движения какой-то чесальной машины, на ко-

торой работали двое рабочих, приглашенных из Казани, а не наши, новосельские.

Это было после «освобождения» крестьян, когда помещики покушались, оставив дедовские приемы эксплуатации своих поместий, развить в них промышленность и поднять производительность, а на самом деле, в конечном итоге, в большинстве случаев просто «просаживали» свои «выкупные»*, как прекрасно изобразил этот процесс Атава-Терпигорев в своих очерках. Возможно, что отец мой был благоразумнее и хозяйственнее описанных Терпигоревым помещиков. Земля, конечно, сдавалась и у нас крестьянам за обработку «исполу», как и везде в нашей округе, но скотный двор, птичник, хмельник, конопляник, мельница, «чесалка» поставлены были образцово. Помню, что у нас было довольно много лошадей, коров, кур, уток, гусей, так что от продажи масла, яиц и битой птицы в недалекой Казани получалась, должно быть, немалая прибавка к доходам за рожь и гречу, которые у нас главнейшим образом и сеялись. Благодаря такой организации хозяйства, жило у нас и после освобождения немало людей, помещавшихся и обедавших в «людской», и с этой людской и связано одно из самых ранних моих воспоминаний.

Вот я, малыш 4—5 лет, играю на завалинке этой людской; должно быть, «старшие» куда-либо уехали, оставив меня на попечение няньки, которая пошла в людскую поболтать с кухаркой и другими «людьми»; время обеденное. В окне показывается рябое лицо приятеля моего — столяра нашего Мелентия; крепкие его руки берут меня и через окно втаскивают в людскую. Сажая меня к себе на колени, Мелентий говорит: «Обедай с нами, барчук!». Я, конечно, в восторге; беру кусок черного хлеба и деревянной ложкой в очередь с Мелентием зачерпываю щей из общей чашки. Вокруг длинного стола сидят «наши» мужики, бабы, девки, два казанских работника и моя старуха-няня...

Кухарка стоит в дверях кухни, подперши щеку одной рукой, опирающейся на другую, сложенную на груди... Я чувствую, мне так кажется, что меня одобряют...

* Суммы, полученные ими от казны за отрезанную для крестьян землю.

Другая картинка на том же дворе. Летний вечер. Играю, одетый в красную рубашку, на зеленой травке около палисадника. В ворота видно стадо, проходящее мимо на скотный двор. Показывается бык; он медленно, гордо идет и поворачивает в ворота к нам на двор... Он еще далеко, но я вижу, какой он большой, красивый... Он приближается, издавая глухое мычание... Вдруг он нагибает голову и идет прямо на меня... Я вижу его огромные, черные, блестящие глаза... Раздается страшный вопль моей няньки, другие крики... Вижу, из конюшни стремглав бежит конюх с каким-то колом в руке, в ворота вбегает пастух с кнутом и еще кто-то... Все кричат, бегут ко мне и быку, который совсем уж близко от меня поворачивает в сторону, а меня схватывает в объятия моя нянька... Тогда я не испугался, не сознавая опасности, но после этого шума, волнения окружающих, испуг передался и мне, и я стал как-то инстинктивно бояться нагнутой рогатой головы даже коровы. Довольно долго, до зрелых лет, я не мог освободиться от этого бессознательного ощущения страха.

Еще всплывает в памяти картинка, но уже на фоне нашего пруда. Со старшей сестрой я ужу рыбу. Сажу я с удочкой в руке на опрокинутой на берегу пруда вверх дном лодке так, что ноги мои висят над водой. И вот при каком-то движении с удочкой я почувствовал, что скольжу вниз, падаю в воду... чувствую, она теплая... ничуть не пугаюсь, даже смеюсь, как будто кубарем качусь...

Это все, что я ощущал: ни страха, ни каких-либо страданий я не ощущал... *

Очнулся я только в кровати. Рвота, головная боль, чем-то меня отпаивают... Оказалось, что, соскользнув с лодки и попав в глубокое для меня, малыша 4—5 лет, место, я тотчас же захлебнулся и погиб бы, если бы сестра не вытащила меня на берег.

Другое происшествие в связи с тем же прудом.

Тревога во всем доме: плотину начало «промывать» (т. е. разрушать водой), а отца нет дома!..

* Из этого случая я впоследствии вывел заключение, что смерть от утопления одна из самых легких, так как сознание теряется почти мгновенно.

Стою я с матерью над прудом у цветника, откуда нам видно, что на плотине копошится группа людей, укрепляющих ее, подваливая хворост, навоз, глину. Вижу ясно своего друга Мелентия, который с товарищем своим Ильей топчется на самом опасном месте, уминая ногами навоз, глину и хворост... И вдруг они проваливаются и исчезают с наших глаз... Мать страшно вскрикивает и бежит вниз, ничего не разбирая, по самым грядкам клубники, я за ней... Крики, сумятица... На том месте, где стояли Мелентий и Илья, зияет яма, куда с шумом несется вода... Плотина разрушена... К счастью Мелентий и Илья не утонули: их выкинуло по другую сторону плотины только поцарапанными.

К этому же времени относится и трагическая смерть дочери нашей «скотницы», т. е. заведующей скотным двором. Девочка лет семи, оставшись одна, так как мать пошла к коровам, а дед вышел на время куда-то, как-то заронила огонь из топившейся русской печки в солому, которой много было припасено около печки. Солома вспыхнула, и, хотя пожар скоро остановили, изба вся уцелела, но бедная девочка получила такие ожоги, что через два-три дня умерла, несмотря на все меры, принятые моей матерью, у которой были некоторые лекарства, дававшие ей возможность приходить на помощь населению, так как волизи ни доктора, ни фельдшера не было.

Запомнил я всю эту грустную историю, конечно по рассказам, но девочку я хорошо помню и деда ее тоже. Он был очень стар, не работал уже и плел только лапти. Сплел он и мне пару; нянька в одно из посещений наших скотного двора обула меня в онучи и в сплетенные мне дедушкой лапти к великому моему восторгу. Лапти мне так понравились, что я не хотел их снимать и дома, и даже на ночь, и совершенно отказался от сапог. Тогда мне было сказано, что если я желаю ходить в лаптях, то должен жить в людской, с чем я охотно согласился, и тотчас же был отправлен в людскую, даже без няни, которая не захотела итти жить в людскую. Там я довольно долго еще упрямился, но так как мне хотелось спать, а спать в людской мне предложили на лавке, а не в моей кровати, то я сдался, наконец, и согласился снять лапти с тем, чтобы носить их на дворе, а не в «барском доме».

Вспоминаются также картины наших праздничных по какому-либо случаю дней, когда к нам съезжались родные и соседи наши — женщины, разряженные в шелковые, бархатные парадные платья, мужчины во фраках или мундирах и орденах, что, конечно, очень занимало нас, малышей, хотя я и сильно дичился этих собраний. Почему-то резко запомнился один вечер, когда красивая молодая дама, не то одна из теток, не то кузина, крепко прижимала меня к своей пышной груди и, смеясь, целовала меня в обе щеки, а я дичился ее белого личика и больших голубых глаз и рвался от нее, хотя и пахло от нее очень хорошо и губы у нее были очень нежные, но все это было как бы чуждое мне, не то, что поцелуи моей няни, хотя лицо няни было все в морщинках, а пахло от нее луком.

Но вообще жили мои родители очень скромно. Большие съезды гостей бывали редко, так же как и наши выезды «в гости» — к соседям и родным. Помню два случая: один раз мы, т. е. отец, мать и я (другие дети остались почему-то дома), поехали зимой в гости к старшему брату отца, Николаю Алексеевичу, в Казань, где он, отставной чиновник, жил в собственном доме, а другой раз, летом, опять-таки только втроем, поехали к соседнему богатому помещику кажется Есипову, где и дом, и парк и цветники поразили меня своей и величиной, и красотой по сравнению с нашими новосельскими.

У дяди в эту поездку в Казань меня более всего поразила говорящая птица — попугай, которую я впервые видел, и многолюдство бала, данного по случаю именин дяди Коли, на котором было много молодежи, так как сын дяди Коли был студентом, а его две сестры, мои кузины, были уже взрослыми девушками. Танцы, шумные игры, смех, суета разряженных гостей — все это, конечно, сильно запечатлелось в моей детской памяти и по временам и теперь еще всплывает живыми картинами так же, как фигура и самого дяди Коли, сухошавого старика с гладко выбритым лицом, в парадном сюртуке по случаю бала, а обычно он ходил в халате и вечно сидел за шахматным столиком с длинным чубуком в зубах; кроме шахматной игры да своих личных дел, он, кажется, ничем не интересовался.

Вспоминаются еще поездки к соседям нашим — татарам.

Близко от нашей деревеньки было расположено большое татарское село Тулуши, несомненно, более старое поселение, чем наши Новоселки, переселенные, по преданию, моими предками из Тамбовской губ. Село принадлежало уделам или казне, и среди его жителей было довольно много зажиточных, даже богатых татар, занимавшихся и торговлей. Конечно, были и настолько бедные, что они приходили наниматься на работу не только к нам, помещикам, но и к нашим крестьянам. Какие экономические интересы играли тут роль, тогда я, конечно, не мог и думать об этом и теперь затрудняюсь определить, но отношения этих двух групп населения были очень тесные и не враждебные друг другу. Эксплуатирующим элементом скорее были наши крестьяне, которые почти все умели болтать по-татарски, тогда как из татар только немногие кое-как говорили по-русски. Наша семья тоже не чуждалась татар и, помню, при посещении их усадеб в Тулушах невольно отмечалась их щепетильная чистота двора и избы сравнительно с нашими русскими избами. Правда, посещали мы более богатых, но, кажется, и беднота у них была гораздо чище наших. Угощались мы у них чаем с густыми сливками, медом и особой ягодной пастилой в виде тонких, мягких (как салфетка) пластинок, свивавшихся в трубку как кленка. Запомнилось также, что у одного татарина на стене его избы висела большая сабля в щегольских ножнах и пистолет, чего в наших избах мы никогда не видели.

Помню посещение наших Новоселок семьей муллы из Тулуш. Две или три женские закутанные в чадры фигуры, по разоблачении—миловидные, но накрашенные лица с черными живыми глазами, мальчик с бритой головкой в золоченой тюбетейке, с которым мы весело играли, несмотря на то, что я не знал по-татарски, а он не знал русского языка, их общее и наивное изумление перед нашим пианино, перед панорамой, перед зеркалами, в которых им, молоденьким татаркам, приятно было увидеть себя во весь рост, — все это не могло не остаться прочно в моей детской памяти.

II

У БАБУШКИ И У ТЕТКИ

Когда отец уехал служить в г. Гомель, мать решила переселиться на время к нашей бабушке, кн. Тенишевой, жившей в своем имении в с. Сутяжном Симбирской губ. Алатырского уезда.

Ехать должны были с ней мы — четверо мальчиков и сестра, при которой была уже гувернантка, домашняя учительница, кончившая курс в Казанском институте, так что поезд вышел довольно внушительный. В большом возке, запрягавшемся шестеркой лошадей, помещалась матушка с четырьмя мальчиками и горничной-девушкой. Мне, как старшему, позволялось сидеть с кучером на козлах, что было гораздо приятнее и занимательнее, чем ехать внутри душной кареты. Сестра с гувернанткой ехали в кибитке, запряженной тройкой лошадей, и, наконец, приказчик на паре лошадей в простых саях должен был выезжать вперед, готовить нам ночлег, вообще выполнять распоряжения матушки нашей. Ехали мы, как тогда говорили, «на своих», «на долгих», т. е. мы не нанимали лошадей, а на своих собственных лошадях, не меняя их, ехали, делая каждые сутки по две остановки для кормежки и ночевки. Всего людей было 12 чел., лошадей 11 голов.

Понятно, что при таких условиях поездка не могла не тянуться довольно долго и была суетлива, но вообще все шло благополучно, хотя матушка очень тревожилась при всяком предстоящем спуске с горок или с берега реки ко льду. Дело в том, что она была очень напугана разными несчастными случаями при езде на лошадях. Рассказывала, что вот такого-то помещика убило насмерть, когда его тройка лошадей, испуганная чем-то, понесла и вдребезги разбила сани, что карету такой-то помещицы перевернули при спуске с горы и пр. и пр. Поэтому при нашем путешествии принимались все предосторожности, вплоть до выхода из возка. Останавливались мы, разумеется, в лучших избах, питались хорошо, и для нас, детей, поездка эта была истинным удовольствием. Так как приходилось ехать не только через русские села, но и через мордовские и чувашские, то мы здесь впервые познакомились с «инородцами», хотя и бегло, но все же это не могло не иметь развивающего влияния.



Вспоминается картинка таких ночевков. Большая чистая изба; мы вваливаемся со всеми нашими вещами, суетня, разговоры. На нас смотрят с палатей головенки ребят хозяев. Иногда нас к ним подсаживают, на время, когда устроят нам кормежку и ночлег. Новые лица, то русские, то чувашские, то мордовские. Интересно и весело. Вот какая-то тревога: нет овса или очень его мало, что ли; чем кормить лошадей? Решено кормить ржаным хлебом, который можно было закупить у крестьян этой деревни сколько нужно. Хлеб режут на мелкие кусочки и несут нашим лошадям. Это так интересно, что мне разрешают пойти посмотреть, как будут есть хлеб наши 11 лошадей... Хорошо помню, что они прекрасно ели хлеб, слегка посыпанный солью.

Наконец суетня утихла; все, что нужно, сделано, дети уложены и спят, спит и наша девушка и наши хозяева, но я пока не сплю и смотрю во все глаза. У стола в углу, под божницами, сидит при свете сальной свечи наш новосельский Алексей, временный кучер на той кибитке, в которой едет сестра с гувернанткой. Алексей, пожилой, небольшого роста, очень подвижной человек с рыжей бородкой на симпатичном лице, протяжно, внятно, речитативом говорит, «сказывает» «былину» или «сказку», а матушка и Варвара Валентиновна, гувернантка, слушают, причем Варвара Валентиновна старается быстро-быстро записать, что говорит Алексей. Дело в том, что она случайно, во время дороги, узнав, что ее кучер Алексей в нашей деревне, да и в округе, считается лучшим «дружком» во время свадеб, т. е. человеком, который должен знать и наблюдать за выполнением всех обрядов свадебных, причем он сам должен уметь говорить «складно» традиционные речи, очень заинтересовалась этим и обнаружила, что Алексей знал массу сказок и быллин с вариантами, которых она не встречала в печати, а то и совершенно новых для нее. Использовала ли она когда-нибудь эти записи, не знаю, но многие вечера во время нашего пути матушка наша и Варвара Валентиновна коротали с Алексеем, этим поэтом и литератором неграмотной Руси.

Наконец мы добрались до с. Суляжного. Огромный двухэтажный дом с большими комнатами, залами, переходами, антресолями, с богатой мебелью, с старинными огромными

часами с боем, музыкой, с кукушкой, показывающими дни недели и месяцы, бильярд, впервые виденный, большие в золотых рамах картины и портреты, наконец, сама бабушка — важная полная старушка, произвели на меня импонирующее впечатление. Стало понятно, что здесь не Новоселки, а нечто другое — «важное», и нужно бояться: «как бы не обеспокоить бабушку», «как бы она не рассердилась». Такие мысли внушались и старшими нашими, и многочисленной прислугой, и «приживальщиками».

Скоро мы познакомились с семьями двух братьев моей матери, живших в том же селе, со многими родственниками и знакомыми бабушки. Ничего яркого из всего этого множества лиц, очевидно, не было, по крайней мере для моего ребенка мозга, потому что не сохранилось в памяти ничего определенного, кроме смутных картин многолюдных обедов, вечеров, где и мы фигурировали, одетые в лучшие наши костюмы, представляемые нарядным барыням и важным господам. Так прошла зима. На некоторое время приезжал к нам и отец, который переводился из Гомеля в Подольскую губ. Он привез из Петербурга, куда ездил по делам службы, швейную машину, тогда впервые появившуюся у нас.

Наступила весна, и бабушка решила поехать на Кавказ, чтобы полечиться на минеральных водах и полечить моего младшего брата Дмитрия, который тогда уже стал страдать от «золотухи», как тогда говорили; левая нога в коленке у него постоянно болела. Мать, конечно, должна была ехать с ними, а нас, троих мальчиков и сестру Веру, решили оставить тете Наде, т. е. в семье брата матери, Александра Дмитриевича Тенишева, у которого тогда было своих три сына и дочь.

И вот после отъезда бабушки и матери с братом Дмитрием на Кавказ, в начале лета семья из двух старших девочек и шести мальчиков с двумя гувернантками под начальством тети Нади переехала в деревню Засарье на реке Суре, принадлежавшую брату тети Нади Н. Д. Пазухину.

Засарье напоминало родную усадьбу, только здесь было многолюднее, веселее, а природа разнообразнее. Впервые увидел я вблизи быструю, хотя и не очень широкую, реку Суру. Увидел вереницу бурлаков, тянувших тяжелую баржу против течения, услышал их песню, «подобную стону».

Наши купания в быстрой Суре всегда очень тревожили тетю Надю. Все время, пока мы (восемь душ) купались, она стояла на берегу и считала детские годовки, нырявшие в воде. Только тогда, когда трое самых маленьких вылезали на берег, она решалась сама окунуться, не ослабляя, конечно, «верховного» наблюдения; при нас, ведь, еще были две гувернантки и одна горничная.

Все почти время я проводил с своим двоюродным братом Митей, моим сверстником, рано умершим, с которым мы очень подружились. Играли мы с ним чаще всего на краю сада у берега реки, где был довольно крутой обрыв, образующий небольшой овражек, обросший кустами. В нем мы и разыгрывали какие-то заимствованные из сказок приключения с разбойниками и дикими зверями.

Вообще лето в Засарье прошло быстро и занимательно: мы увидели новые места и новых людей. Пазухиных и Тенишевых посещали многочисленные родственники и знакомые. Помню, что собирался какой-то хор из молодежи, певший разные песни, из которых я помню почему-то только одну: «Кубок янтарный полон давно пеною парной блещет вином»...

В конце лета все мы переехали снова в Сутяжное и до приезда бабушки с матерью нашей поместились в доме дяди Саши и тети Нади. Мать наша с братом Дмитрием, которому воды Кавказа только немного помогли в его болезни (он остался хромым), приехали с бабушкой поздней осенью, а по первой зимней дороге мы тем же путем, как приехали в Сутяжное, т. е. на «своих долгих», отправились домой в Новоселки, в которых прожили, впрочем, недолго, так как матушка наша решила зиму прожить в Казани, а весной отправиться к отцу в Подольскую губернию.

III

КАЗАНЬ И ДОРОГА В ТЕРНОВКУ

В Казани мать наняла довольно большую квартиру, и мы зажили своей семьей, видясь с родными и немногочисленными знакомыми. К сожалению, брат Митя продолжал болеть, а сестра Вера и Варвара Валентиновна переболели опасной болезнью горла, должно быть ангиной.

Из казанских впечатлений мне вспоминаются встреча и знакомство с первым гимназистом. До этого я ни разу не встречал гимназистов, поэтому мундир моего нового знакомого, явно покровительственный тон его по отношению ко мне, хотя он был старше меня всего года на три, его рассказы о порядках в гимназии — все это очень мне импонировало. Другое крепко запечатлевшееся воспоминание касается театра. В Казани я впервые попал в театр и видел и слышал оперу «Сомнамбула». Несмотря на то, что театр тогда освещался стеариновыми свечами, что декорации сравнительно с теперешними были примитивны, впечатление было громадно и осталось на всю жизнь.

Весной решено было ехать в Каменец-Подольск, но как? Железных дорог туда тогда еще не было. Ехать на лошадях таким порядком, как мы ехали к бабушке, было очень долго и тяжело; на перекладных лошадях можно было выиграть время, но трудность и тягостность пути оставались, в особенности с малолетними детьми. Поэтому матушка решила ехать Волгой до Царицина, затем Доном до Ростова, морем до Одессы, а из Одессы уже была проведена железная дорога до Балты, куда отец должен был прислать лошадей, которые и доставят нас в местечко Терновку, где он служил мировым посредником.

Итак, весной мы, т. е. матушка, сестра, четверо мальчиков, нянька и слуга, всего 8 человек, поместились на пароходе «Англичанин», который, имея на буксире баржу или две, должен был идти вниз по Волге. Пароходство по Волге тогда только что начало развиваться; теперешних удобств и комфорта и в помине не было. Заняли мы две каюты первого класса, а слуга наш, ехавший только до Ростова, чтобы оттуда ехать в Иерусалим на богомолье, поместился в 3-м классе. Первый класс помещался под палубой на носу парохода, всего в нем было кают 4—6, выходящих в коридорчик, начинавшийся из большой общей каюты, расположенной в самой носовой части трюма. В этой же общей каюте, служившей и столовой, помещался и буфет, приютившийся под лестницей, ведущей на палубу. Таково было устройство кают во всех пароходах, в сущности буксирных, начавших рейсировать по Волге и ее притокам.

Несмотря на тесноту помещения на пароходе и на некоторые неудобства, о которых теперь и понятия не имеют пассажиры пароходов, мы все, малые и большие, были очень довольны. «Это не то, что на лошадях!» — думал и говорил каждый из нас. На Волге было половодье, и мы вдоволь могли налюбоваться ее красотами. Правда, приходилось и страдать от последствий этого же половодья. Помнится, иногда при сильном ветре пароход наш не решался идти с баржами в ночное время и отставался у берега. Бывало довольно холодно, и в наших каютах (отопления, ведь, не было и в помине) было скучно и нудно.

Как бы то ни было, благополучно добравшись до Царицына, мы перегрузились в вагон конной железной дороги, ходившей тогда из Царицына до Колача, а там снова сели на маленький пароход, протащивший нас, застревая на мельях и еле двигаясь в некоторых местах, в г. Ростов. Дон после Волги показался нам совсем «маленьким», но каким-то «ласковым» и красивым, с цветущими богатыми станциями на своих берегах. Запомнилось, потому что очень удивило, что здесь, на пристанях, не нашли ржаного хлеба, к которому мы привыкли, был только пшеничный. В Ростове снова мы пересели на мелкосидящий пароход, который через Таганрог довез нас до Керчи; наконец, мы тотчас же с борта на борт перегрузились на большой морской пароход, на котором и плыли до Одессы.

Это плавание вокруг Крымского полуострова оставило, конечно, неизгладимое впечатление: более полустолетия спустя удалось мне снова увидеть эти берега, и я их узнавал по сохранившемуся впечатлению.

Море то бурное, то сравнительно спокойное, с широкими ласковыми волнами, живописные берега, которыми, к счастью, мы могли вдоволь налюбоваться, так как шли мимо них днем и в тихую погоду, — не могли не поразить всякого из нас. Конечно, мы часто взаимно обменивались этими воспоминаниями и таким образом еще крепче запоминали их. Несмотря на то, что перед Евпаторией нас довольно сильно потрепало, так что вся взрослая часть нашей дамской каюты, где и мы, дети, имели свои койки, страдала морской болезнью, мы все вспоминали об этом путешествии с большим удовольствием.

Одесса поразила меня своей грандиозной лестницей, ведущей с берега наверх к памятнику «Дюка», и паркетной мостовой, которая была и тогда уже на улице, ведущей от лестницы к гостинице, где мы прожили, кажется, сутки или двое. На следующий день на извозчиках доехали мы до вокзала только что открытой балтской железной дороги, где я впервые обратил внимание на большое количество людей, одетых, как мне казалось, в подрясники, которых я прежде как-то не замечал. «Почему это, мама, — обратился я к матери, — здесь так много дячков?» «Это не дячки, а евреи», — сказала мне мать при общем смехе всех присутствующих. Так я впервые узнал о существовании у «нас» евреев, о которых уже читал, конечно, в так называемой «священной истории».

Из Одессы по железной дороге мы доехали до г. Балты, где, заехав в известную по письму отца гостиницу, узнали, что нас ждет уже присланный за нами отцом кучер с фээтоном, с четверкой наших лошадей, и наемная бричка. Переночевав в гостинице, мы рано утром выехали из Балты на двух экипажах и через день или два водворились, наконец, в селе Терновке (Гайсинского уезда) в доме, нанятом моим отцом у арендатора этого крупного поместья, принадлежавшего, кажется, графу Шембеку.

IV

ТЕРНОВКА. БАБЧИНЦЫ

Село или по-местному местечко Терновка была похожа на наш уездный великорусский городок. В ней был ряд лавок, бывал чуть ли не два раза в неделю «базар», жили, кроме мирового посредника: становой пристав, доктор, аптекарь, ксендз, два-три мелкопоместных шляхтича, кроме главного арендатора самого крупного владения и самого местечка.

Впечатлительному мальчику не могла не броситься в глаза большая разница окружающей его жизни от той, которую он видел в волжских краях.

Загорелые бритые лица украинцев, их стройные фигуры в соломенных шляпах или в бараньих шапочках, одетые в

белые рубахи и штаны, в кожаных сапогах или «посталах» (кожаные туфли), женские живописные «плахты» и «запаски», несколько напоминавшие мордовские, оригинальные женские головные уборы, — все это сильно отличалось от характерных черт наших волжских лапотников русских, мордвы, чувашей и татар. Дома и «хаты», «мазанки», все белые, многие окруженные садиками и огородами, выгодно отличались от наших серых деревянных изб и, разбросанные по склонам пригорков и балок, представляли живописную картину, совершенно чуждую великорусскому ландшафту.

Оригинальные костюмы, повадки и совершенно непонятный говор евреев, ютившихся в другом конце села, у базара, вдали от барской усадьбы, в которой мы жили, долгое время поражали мое воображение и заставляли задумываться: «Кто это такие? Чем они живут? Почему они такие?» Эти вопросы получили некоторое разрешение только уже в Каменец-Подольске, хотя еще в Терновке я усвоил, что говорят евреи «похожим» на немецкий языком (еврей, а язык немецкий!), а из слов окружающих христиан я узнал, что «они»-де Христа распяли! («Избранный богом народ» по священной истории — и Христа распяли!). Это было еще более загадочно и прямо «ужасно».

С украинским языком мы очень быстро освоились через посредство нашей прислуги. Труднее было с польским языком, но все-таки довольно быстро мы стали понимать и польскую речь, поляки же, с которыми мы встречались, почти все не только понимали, но и говорили по-русски. Правда, это было вскоре после польского восстания 1863 г., когда в других губерниях многие поляки принципиально не хотели говорить по-русски, но в этой части Подольской губ. особой нетерпимости к нам, русским, не замечалось. В скором времени среди наших гостей стала появляться и высокая фигура ксендза, говорили, очень образованного и симпатичного человека, фигуры местных помещиков, и доктора, и аптекаря, и других поляков. К счастью, отец мой не принадлежал к категории «усмирителей» и «обрусителей», которые наделали так много зла всем национальностям, населяющим территорию государства русского. По-



Шебалина-Богораз
Прасковья Федоровна
С фотографии 1884 г.



Завадовский
Николай Никандрович
С фотографии 1884 г.

этому вся местная публика хорошо относилась к отцу, и у нас за карточным столом встречались и представители местной администрации и местных жителей. Особенно много народу перебивало у нас, когда весь «уездный съезд» приехал в Терновку для ввода «уставных грамот».

Введение «уставных грамот» состояло в том, что крестьяне получали в собственность свои наделы и размежевывались с помещиком, причем всякие «обязательные» работы в пользу помещика прекращались. Разумеется, это дело было самым важным в деятельности мирового посредника, возбуждало оно массу споров и даже непримиримой вражды. Для окончательного решения этих споров весь съезд и приехал заседать в Терновку. Заседания происходили в нашей квартире или в отдельном помещении, канцелярии отца. Обедали и отдыхали вечером за карточными столами, и беседовали участники съезда тоже у нас. Мы, дети, не только видели участников съезда, но и слышали их споры, конечно, для детского ума малопонятные, но мне кажется, что эти впечатления, хотя и малоосознанные тогда, от этого съезда и разговоров на нем: споры о «дарственных наделах», о закабалениях малоземельных крестьян, о недостаточности наделов, — легли в основу того взгляда на реформу 1861 г., который выработался у меня уже окончательно в юношеские годы, когда я познакомился с литературой о ней, доказывавшей, что она, эта реформа, обездолив крестьян в пользу помещика, была полезна только самодержавному правительству.

Как бы то ни было, а в моем детском мозгу крепко держались не только фигуры обычных наших гостей, но вся сутолока и споры этого съезда, причем в особенности запомнилась фигура секретаря съезда по фамилии Гонгелина (кажется), которого называли «нигилистом», впервые слышанным мною словом и вполне мне тогда непонятным. Это был человек невысокого роста с длинными волосами, с большой рыжей бородой, в широкополой шляпе, с толстой тростью в руках. Не знаю, оправдывал ли он свое название чем-либо, кроме наружности, но я помню его вечно спорящим с кем-либо. Другая фигура — исправник, из бывших офицеров, горчайший пьяница, но, говорили, «лучший» из исправников. Помню я его всегда пьяного, возбужденного, но твердо стс-

явшего на ногах, не скандалившего и очень доброго к нам, детям.

Впервые здесь, в Терновке, увидел я волов, работавших на полях и возивших тяжести, увидел, как растут кукуруза, груша, слива, вообще все то, что связано с более теплым климатом. Летние теплые ночи, когда на безоблачном небе сияли яркие звезды, особенно меня поразили; мне казалось, что звезды здесь были гораздо крупнее, чем у нас в Казанской и Симбирской губерниях. В такие ночи любил я лежать на мягкой, теплой траве и наблюдать за множеством летавших жуков-рогачей, которых я сначала даже побаивался, и за летучими мышами, охотившимися за жуками.

Скоро нашлись и товарищи из местных мальчиков, с которыми я ловил лягушек в небольшом ближайшем пруду и нашли небольшую черепаху. С новыми товарищами пришлось побывать мне и в хатах местных жителей, и тотчас же пришлось отметить большую их зажиточность и сытость, так сказать, сравнительно с нашими казанскими и симбирскими хозяевами. Белые мазанки и внутри производили гораздо более приятное впечатление, чем русские и мордовские избы, а по чистоте превосходили даже татарские. Сами же хозяйки, хотя и были одеты иначе и говорили не на совсем понятном языке, но были по существу в моем детском понимании такими же ласковыми и милыми тетками Аграфенами и Марьями, как и наши новосельские. Отцы и взрослые братья моих товарищей казались мне более замкнутыми, хитрыми и себе на уме, чем наши прежние деревенские соседи.

Зажиточность населения проявлялась особенно во время празднеств, свадеб, на которых были разнообразнее блюда, чем у нас, в Поволожье. На свадьбы приглашали с особой церемонией. Жених и невеста приходили с музыкой в сопровождении довольно большой толпы провожатых и просили благословения. Нужно было благословить иконой, чем-либо одарить и получить приглашение на пир.

С этого же времени начал я систематические занятия с приглашенной для этого и жившей у нас гувернанткой, фамилии которой совершенно не могу вспомнить, а имя Липочка, которым все ее называли, твердо помню. Она пре-

подавала мне русскую грамматику (читать и писать кое-как я давно уже незаметно научился), арифметику, географию, священную и русскую историю и «вокабулы», т. е. слова и фразы французского и немецкого языков, которые полагалось заучить и научиться писать. Сама Липочка, местная русская девушка, кончившая какой-то пансион или институт, ни на каком иностранном языке не умела говорить.

Вообще преподавание, как я понял, конечно, только впоследствии, было весьма неправильное, убогое, но Липочка была хорошая, милая девушка, которую мы все, вся наша семья, очень полюбили, и она как-никак научила меня порядочно писать по-русски, рассказывать различные эпизоды из русской и священной истории и четырем правилам арифметики. Плоховато обстояло дело с географией, хотя мне внушено было, что земля круглая, вертится вокруг солнца, а звезды не маленькие, а большие; читали мы с Липочкой кое-что и о других странах, о их природе, растениях, животных и жителях. Совсем плохо было с языками: кроме отдельных фраз, ничего не было усвоено. Ничего не вышло и из моих занятий музыкой. У приехавшего к нам раза два в неделю учителя музыки, немца Бальцера, я брал уроки около года, но хотя я довольно прилежно под руководством матери, недурно игравшей на пианино, изучал заданные упражнения, но как-то вышло так, что мало-помалу от этих упражнений я отстал, и меня не принуждали играть дальше, заметив, должно быть, отсутствие у меня музыкальных способностей, а младший мой брат, вместе со мной начавший учиться, не оставлял музыки и сделался недурным музыкантом.

Прожили мы в Терновке недолго, года полтора; отец после введения уставных грамот был переведен в другой уезд, Ямпольский, и мы должны были перебраться туда же, в с. Бабчинцы. От этого переезда, тоже летом, на своих и нанятых лошадях, сохранилось воспоминание как об интересной прогулке по живописным местам, причем все, что мы встречали, казалось нам лучше, богаче, чем на родине, которую тем не менее мы все-таки вспоминали с особо теплым чувством.

Бабчинцы представляли из себя тоже очень большое се-

ло, «местечко», как принято было здесь называть села с торговым и ремесленным населением. Собственно село это и земли его состояли из двух почти одинаковых по численности частей, около тысячи «душ» в каждой. Одна часть была населена бывшими казаками, обращенными в «казенных» крестьян, а другая была населена бывшими крепостными крестьянами, принадлежавшими когда-то вместе с землей какому-то крупному магнату (кажется, Корсакову), но давно уже перешедшими (с восстания 1830 г.) разными способами (в уплату долгов прежнего владельца, судебными приговорами, наследованием, куплей-продажей) в руки многих помещиков-шляхтичей. Каждая половина имела свою церковь и попа, почти все крестьяне обеих половин были православными. Евреи-торговцы и ремесленники (среди ремесленников попадались и поляки и украинцы) жили в центре этого большого села, раскинутого по глубокой разветвленной балке с известковыми боками, со многими ручьями.

На дне балки текла довольно многоводная речушка, запруженная в двух-трех местах. В центре местечка тянулась грязная улица с рядом лавченков и домов ремесленников и торговцев.

Таким образом в Бабчинцах, как и в Терновке, жило несколько помещиков (чего почти не встречалось в Велико-россии), с тою лишь разницей, что здесь их ко времени «освобождения» крестьян накопилось не две, три семьи, а более двух десятков семей, причем размер владений их был весьма разнообразен: от сотни душ крестьян до двух-трех дворов на помещика. После «освобождения» эти имения насчитывали двести-триста десятин у самых богатых и до десятка десятин у самого бедного. Большинство помещиков было бедняками, многие сами обрабатывали свои земли, сохраняя, впрочем, ревниво свое шляхетское достоинство. Были шляхтичи и «однодворцы», т. е. ничего, кроме хаты и небольшого огорода, не имевшие; они, разумеется, могли жить только личным своим трудом. В однодворцах числились и некоторые бывшие казаки, как тот сапожник, с которым мне вскоре пришлось познакомиться, имевший хату и огородишко недалеко от занимаемой нами усадьбы. Эта семья была гораздо беднее другого нашего соседа, крестья-

нина, бывшего крепостного, теперь владевшего своим наделом и довольно зажиточного. Во времена крепостного права он был крепостным двух помещиков сразу. Курьез этот мог произойти по постановлению суда, отдавшего в совместное владение двум помещикам тот участок земли, который обрабатывал данный крепостной, без права раздела и продажи отдельно крепостного.

Знакомство с окружающей средой началось, разумеется, с первых же дней нашего поселения в огромной, когда-то роскошной магнатской усадьбе, с большим садом, правда, запущенным и погибавшим без ухода, с обширными службами, частью разрушившимися уже, на просторном дворе. Около усадьбы протекала речка с запрудой недалеко от нас. Все это представляло прекрасную арену для наших игр и прогулок вместе с товарищами, которые вскоре нашлись в числе 2—3 из детей ближайших наших соседей-крестьян. С помещиками мы, разумеется, тоже познакомились, не только с жившими в Бабчинцах, но и в окрестных деревнях. Вследствие этих знакомств расширялся мой кругозор. Впервые сознательно я стал относиться к различию наций, состояний. Кроме «хохлов», как у нас называли украинцев, в Бабчинцах я лучше узнал и поляков, среди которых были богатые, жившие в «палаццо» гораздо богаче нас, были и бедные, сами обрабатывавшие свои земли. Познакомился и с евреями, населявшими «местечко», приходившими к нам с кое-какими товарами и продуктами и как ремесленники. С большим удовольствием и интересом присутствовал на еврейской свадьбе, побывал и в синагоге.

Огромное значение имело то обстоятельство, что по условиям жизни я близко видел деятельность моего отца, мирового посредника, сначала мало понимая эту деятельность, но, постепенно слыша и видя все, что творилось, я стал все больше и больше невольно даже понимать и знать то, что при другой обстановке вряд ли бы узнал.

Ежедневно я видел писарей, крестьян, старшин, евреев, шляхтичей, приходивших к отцу; а, незаметно забывшись в угол его кабинета, иногда и слышал изложение дел, по которым эти люди приходили к отцу.

Тут были и дела по рекрутской повинности, и админи-

стративные — волостные, и тяжёбые, и бытовые (раздел сёмей) и пр. и пр. А некоторые картинки и до сих пор стоят, как живые, в моей памяти.

Поздний вечер, осенний и темный. Мы еще не спим, но уже собираемся ложиться. Вдруг слышим отдаленный шум, затем стук в наши ворота. Отец выходит на крыльцо, я выскальзываю незаметно за ним.

В ворота вваливается с фонарями группа верховых, целая толпа пеших. Все возбуждены, кричат... Увидя отца, объясняют, перебивая друг друга... Показывает кто-то свой окровавленный палец... Оказалось, что чьи-то лошади зашли в чужое поле, хозяева поля пытались их «загнать», т. е. арестовать, владельцы лошадей противились этому, произошла драка...

Словом, дело о «потраве» и «драке», обостренное тем, что на одной стороне были помещики, хотя и мелкие, но очень гордившиеся своим шляхетством, а на другой стороне были крестьяне... Подробностей этого дела и конца я, конечно, не помню.

Но вот другое. С утра отец очень озабочен, совещается со старшиной, с писарем нашей волости... На послеобеденное время назначен волостной сход на нашем обширном дворе. Под вечер прихожу с какого-то гуляния домой, чтобы пить чай, и вижу наш двор полон народом, на крыльце стоит отец и что-то объясняет... Ему кто-то возражает... Толпа гудит... Раздаются иногда выкрики, довольно враждебные... Опять говорит отец... Потом старшина, но его толпа прерывает и явно ругает... Убегаю я во внутренние комнаты и узнаю от встревоженной матери и нашего землемера, моего временного учителя, что дело идет о смене старшины, что толпа очень возбуждена, что существуют две партии, как бы не было драки...

Вспоминается еще большая комната — зала — в запущенном доме другой усадьбы недалеко от нас, полная людьми, сидящими на стульях, скамьях и стоящими у стен. Отец сидит за столом, покрытым красным сукном, с массой бумаг и книг... Сбоку стола сидит знакомый мне секретарь, отца. Пришел я передать «тихонько» отцу от матери записку. Пока отец пишет ответ, вижу, что тут собрались

наши бабчиныецкие помещики и много другой публики. Оказалось, что действительно многочисленные помещики, о которых я уже упоминал, решили поручить отцу в качестве «третейского судьи» окончить их взаимные тяжбы, доходившие до сената и тянувшиеся несколько лет. Дело отец разбирал дней 10, и мне не раз приходилось носить от матери записки: «обед готов» или «пора ужинать», с тем, чтобы отец сделал перерыв заседания.

Учение мое, конечно, продолжалось и особенно усилилось, когда в один прекрасный осенний день, вскоре после нашего водворения в Бабчинцах, к нам приехала прямо из Женевы гувернантка вместо Липочки. Мадемуазель Фани, как мы должны были ее называть, ни слова не понимала по-русски, а мы почти ни слова не знали по-французски, и тем не менее обучение наше французскому языку пошло успешно. Проводя с нами почти весь день, она успела в две-три недели приучить нас понимать ее и повторять за ней названия предметов, действий и вообще французских слов, а меня, как старшего и грамотного по-русски, она сразу заставила за французскую азбуку, чтение и письмо по-французски. Помнится, что сначала это обучение шло очень туго, но вскоре как-то наладилось взаимное понимание. Мы не только начали понимать свою гувернантку, которая знакомила нас с разными играми, с разговорами и припевами, но и сами стали говорить с ней по-французски, а я даже начал читать французский текст все с большим и большим пониманием, а затем и писать, хотя и с массой ошибок, диктуемые ею слова и фразы. Словом, в два-три месяца был достигнут изумительный результат.

Помнится, что я скоро заметил, какое сильное впечатление производила на мадемуазель Фани наша обстановка, так непохожая, очевидно, на женевскую, швейцарскую. Научившись понимать ее и говорить помаленьку по-французски, я стал ей служить в некоторых случаях пояснителем этой обстановки. Ей, несомненно, импонировал наш дом, четверка лошадей, несколько человек прислуги. Усадьбу нашу она называла не иначе, как «chateaux» — замок, что меня очень сместило, так как из чтения романов у меня составилось совершенно другое представление о «замке». Поражала и огорчала ее наша некультурность: запущенность

нашего огромного сада и цветника, грязь улицы и лавченок «местечка», где она вздумала вскоре по приезде купить себе какие-то ленточки, за которые, по ее мнению, взяли с нее возмутительно дорого. С другой стороны, она удивлялась дешевизне мяса, хлеба, овощей и плодов. Просторы наших полей и лесов ее, видимо, поражали, а зимой, когда мы в первый раз поехали с ней кататься и кучер наш пустил всю четверку, запряженную цугом («в простеж») в легкие сани, во весь опор по степной дороге, мадемуазель Фани совсем напугалась такой бешеной езды и стала было кричать, но успокоилась, видя наши смеющиеся лица.

Для занятий по остальным предметам был сначала приглашен местный землемер Шредер. Он привел в некоторый порядок тот запас знаний, который я получил от милой Липочки, и в особенности положил основу арифметическим и геометрическим моим познаниям. Занимался он с нами, впрочем, недолго, так как, очевидно, служба его мешала этому, и к нам был приглашен на житье и для подготовки меня и брата по программе гимназии Нельговский. Это был человек, окончивший Харьковский университет, уже служивший как по судебному ведомству, так и по административной линии (в канцелярии губернатора), но отовсюду вылетавший со скандалом, так как, к несчастью, страдал алкоголизмом. Очень талантливый, честный и хороший человек в периоды нормального своего состояния, он, когда вдруг начинал пить, забрасывал службу, допивался буквально до болезни. В один из светлых промежутков после тяжелого запоя он и попал к нам, и, кажется, это был чуть ли не последний светлый промежуток.

Подготавливал он меня по всем предметам гимназической программы, напирая особенно на русский язык, изложение письменное и устное, знакомство с поэтами и писателями. При нем приохотился я к заучиванию стихотворений и многие знал наизусть.

Кроме книг, указываемых учителями моими, я в то время читал и по личному своему выбору. Отец выписывал журналы и газеты, в том числе и один детский журнал, было у него много книг, романов, повестей, переводных и русских авторов. Было отдельное издание Некрасова, Лермонтова, Пушкина, Тургенева, Марлинского и пр. Все эти книги и журналы

мы, дети, могли, если хотели, читать невозбранно, и я этим правом широко пользовался. Многое из читанного понимал смутно, многое совсем не понимал, но тем не менее читал много и даже запоем, в особенности романы французские и английские, путешествия, русские романы и повести.

Через год приблизительно после того как к нам приехала мадемуазель Фани, решено было обучить нас танцам, так как среди развлечений, бывших в ходу у окружающих нас поляков, танцы занимали очень важное место. Из города Каменец-Подольска был приглашен учитель танцев пан Бентковский.

Это был седой уже старик, пользовавшийся большой известностью и обучавший не только матерей и отцов тех девочек и мальчиков, которые приглашены были учиться совместно с нами, но и их бабушек и дедушек. Дело в том, что пан Бентковский брал довольно значительную по тому времени сумму денег за то, чтобы приехать недель на пять обучить всем танцу некоторую группу лиц. Для того, чтобы составить эту группу, родители наши сговорились с знакомыми семействами, и у нас, располагавших более удобным помещением, организовалась временная школа танцев для 16 девочек и мальчиков десятилетнего — пятнадцатилетнего возраста.

Учитель танцев пан Бентковский, одетый по-бальному во фрак, с белым жилетом и белым галстуком, в белых перчатках и лакированных ботинках, был большим знатоком своего дела. Сначала он всех нас научил правильно стоять, ходить и вообще правильно держать свой корпус, делая разнообразные движения руками, головой, ногами. Это в сущности была самая полезная часть его «науки», то, что теперь называют физкультурой. Затем он показывал различные «па», т. е. шаги, прыжки и другие элементарные движения, из которых слагаются различные танцы. Наконец, он показывал и танцы одиночные, групповые, салонные и национальные. Все это изучалось не под музыку, а под счет: раз, два, три, четыре и т. д. Только тогда, когда какой-либо танец, изученный и по элементам и в целом, исполнялся учеником удовлетворительно, он допускал протанцевать его под музыку. В конце обучения вся школа танцевала бал-экзамен в присутствии родных и знакомых.

Помнится, пришлось ему довольно долго повозиться со мной, так как, говорят, я был довольно неуклюжим медвеженком, но вскоре я понял все, что требовалось для танцев, а так как ловкость и подвижность тела мною уже были развиты самостоятельными упражнениями при лазании по деревьям, беготне и пр., то вскоре меня стали ставить в пример прочим, а в конце концов я блестяще сдал экзамен, танцуя не только все салонные танцы, но и «казачок» и «краковяк».

Учение систематически продолжалось весь день с небольшими перерывами и порядочно надоедало нам, так что, когда в воскресенье или в праздник ученья не было и нам позволялось снять башмаки и танцевальные «приличные» костюмы, мы все, как бешеные, неслись в сад и бегали и играли там, кто во что горазд, целый день, возвращаясь в дом только попить и поесть.

Бентковский в эти дни тоже отдыхал: почти не выходил из своей команты, куда ему подавали его любимый кофе и завтрак. Старик как-то раскисал, и, видя его на обеде в сюртуке, тихо беседовавшим с нашими родителями, мы еле признавали в нем нашего лихого учителя во фраке, показывавшего, как нужно подпрыгивать в «казачке» или девочкам вертеться в «качуче».

Бал-экзамен наш удался на славу особенно потому, что случайно к этому времени подошли чехи, которые в качестве странствующего оркестра имели обыкновение тогда посещать ближайшие к границе местечки и города пограничных губерний. Под звуки такого недурного, очень многозвучного и громкого оркестра мы отплясывали свой бал-экзамен, на котором главным героем все же был пан Бентковский, танцовавший с живостью молодого человека то со своей 15-летней ученицей, то с ее мамашей, тоже его ученицей.

Все эти «учения» отнимали далеко не все мое время. Много оставалось времени, в особенности летом, и для чтения, и для самостоятельных игр и забав, благо огромный сад, обширный двор, близость пруда представляли много простора.

Были в саду устроены примитивная трапедия, канат для лазанья, качели. Устраивали мы хижины, пещеры в ку-

стах и пр. Одно время я очень увлекался пусканием «летучих змеев», сам их сооружая по различным образцам, найденным мною в детском журнале. Старался запускать я их очень высоко и проводил за этим занятием довольно много времени, пока не надоело. В речушке рыбы почти не было, поэтому «уженье» было скучно, но все же речку я часто посещал не только для купанья, а, заинтересовавшись жизнью лягушек, наблюдал, как из икры выводились головастик, а из них мало-по-малу вырастали лягушки. Наблюдал также за жизнью и хлопотами муравьев, кучи которых были в саду, не разоряя их. Мне тогда внушили уже, что муравьи очень полезны для сада; я делал некоторые детские «опыты» с ними, наблюдая, как и для чего они ходят по своим дорожкам и т. п. Часто я выкармливал галчат и воробьят, взятых из гнезд моими товарищами мальчиками-соседями, сам я никогда не разорял гнезд. Ни одного воробья мне не удалось выкормить, а галок удавалось. Галки так привыкали, что, научившись уже летать, осенью, полетав с большой стаей галок иногда день-два, все-таки возвращались ко мне, снова жили в комнате, летали по саду, садились ко мне на плечо по моему зову. В конце-концов на зиму одной не оставалось: или их съедали ястребы, или они улетали на зиму со всеми галками, — не знаю, но запираť их в доме я не решался. Приучил я воробьев и других живших поблизости нашей усадьбы птиц к кормежке: ежедневно выбрасывал им после обеда и завтрака крошки хлеба. Меня забавляло, что, выходя на крыльцо, я видел их целой стаей уже сидящими на заборе и ждущими меня.

Большими друзьями моими (с ними много я возился) были козел и Серко, обыкновенная волкоподобная дворняга. Козла я тщетно хотел приучить возить меня, но, увы, он или сбрасывал меня или тотчас же сам ложился, когда я пробовал на него сесть; точно так же Серко не удавалось мне научить носить поноску, он никак не мог понять, чего я от него хочу. В одном я успел — это в том, что преодолел их взаимную ненависть друг к другу: оба они лежали мирно около меня. Правда, у козла всегда как-то презрительно сжимались ноздри, а Серко старался не смотреть на козла, искоса поглядывая на рога его, но все-таки лаять не смел.

Козел жил в конюшне вместе с четверкой наших лошадей, откуда с гордостью поглядывал на Серко, вход которому в конюшню был навсегда запрещен кучером Бонифатом, утверждавшим, что хождение в конюшню собак и «баб» вредит лошадям.

Большим оригиналом был этот украинец Бонифат. Человек еще нестарый, он был, кажется, сиротой с малых лет, имел, должно быть, невеселую молодость. Хромал отчего-то на одну ногу; был мрачного, нелюдимого характера; не дружил с другими нашими людьми; из-за овса лошадям, которых очень любил, ссорился не только с экономкой, даже с матерью, которую тоже не пускал в конюшню. Детей он любил. Меня не только пускал к лошадям, но, считая, может быть, что дети, как и козел, приносят пользу лошадям, научил обращению с лошадьми, знакомя с их характерами. Прикормив лошадей хлебом, я с восторгом замечал, что они при моем появлении издают приветственное ржание, смело шел к своим любимцам Мальчику или Бутузке (все лошади имели свои имена), вцеплялся в гриву, гладил его шею, голову, мягкую морду, добрые большие глаза и садился на спину. Если только позволяла погода, я вместе с Бонифатом ездил на водопой, который был довольно далеко, в соседней балке, где бил обильный ключ; из речушки, конечно, Бонифат никогда не поил своих любимцев.

Бонифат был большим от природы музыкантом. Играл он на дудке («сопилке») собственного производства из бузины, но так хорошо, что все заслушивались. По застенчивости он никогда не соглашался играть при других, а всегда играл в уединении для себя. И вот, когда нежные звуки его «сопилки» начинали раздаваться из запертой конюшни, где он летом и ночевал, или из укромного уголка сада, по дому разносилась весть: «Бонифат играет», и все желающие тихонько, чтобы не спугнуть Бонифата, подходили и молча слушали украинские мелодии с его собственными, как говорили, варьянтами. Один из наших гостей, недурной музыкант, случайно выслушавший такой концерт, так был восхищен, что решился, несмотря на предупреждение, поговорить с Бонифатом о дальнейшем развитии его музыкальных способностей, но ничего из этого не вышло. Мрачный Бони-

фат ограничивался односложными репликами без всякой приветливости и разыграл роль украинского медведя, не желающего вести какие бы то ни было разговоры на эту тему.

Да, он, чудак, скрывал даже свою любовь к музыке. Когда у нас играли на пианино, что бывало очень часто, а иногда гости наши играли очень хорошо (из домашних играли мать, сестра и брат), или когда бывали у нас странствующие музыканты-чехи, я иногда заставлял Бонифата притаившимся у окна в кустах сирени и слушающим музыку, причем мне он всегда делал отчаянный знак, чтобы я его не выдал и чтобы его, «боже сохрани», не пригласили в дом. Меня он не стеснялся, при мне он делал даже свои «сопилка» после пробы тотчас же разламывалась, делалась подсушив их, он вырезывал нужные дырочки в трубке, словом, делал «сопилку», по конструкции похожую на флейту, и тотчас же пробовал играть на ней. Чаще всего первая «сопилка» после пробы тотчас же разламывалась, делалась вторая... Так повторялось несколько раз, пока не получалась «сопилка», которая начинала его удовлетворять, и он играл на ней, пока она не портилась.

Все воспоминания о жизни в Бабчинцах всплывают в моей памяти, всегда окрашенные в розовые цвета, что и понятно, так как там, на деревенском приволье, в прекрасной обстановке, я из ребенка вырос в мальчика-здоровяка (не помню ни одной болезни), довольно развитого для 11—12-летнего возраста, с значительным запасом хотя и сумбурно нагроможденных знаний. Все лица, с которыми приходилось мне встречаться в Бабчинцах, плавают в этом розовом тумане зари моей юности.

Ничего неприятного, трагичного за это время как будто в моей жизни не случилось, или память об этом ничего не сохранила. Тогда как, наоборот, я отчетливо помню, что в это время успел в первый раз влюбиться в одну девочку, которая тоже очень благосклонно ко мне относилась, и наш детский роман, к сожалению, очень скоро прерванный нашим отъездом, протекал вполне нормально.

Многие стороны окружавшей меня жизни начинали уже, как я говорил, оформляться в моем представлении в настоящие понятия о добре и зле, но все это смягчалось жизнера-

достным мироощущением двенадцатилетнего здорового мальчика.

В 1869 году отец мой решил совсем бросить службу, и летом 1870 года наша семья переехала в г. Каменец-Подольск, чтобы иметь возможность учить детей в гимназии. В Казань не захотели возвращаться, должно быть, потому, что жизнь в Каменце считалась более дешевой и удобной, чем в Казани, а имение все равно решено было сдать в долгосрочную аренду, что считалось выгоднее, чем вести собственное хозяйство.



ЮНОСТЬ

МЛАДШИЕ КЛАССЫ ГИМНАЗИИ

В половине лета 1870 года вся наша семья поселилась в доме Бащенко на Русских-Фольварках, предместье гор. Каменец-Подольска.

Резкая перемена в обстановке жизни произвела очень сильное впечатление. Городская квартира, всего из четырех комнат, узкий двор, недоступный для нас хозяйский сад — мало походили на прежние просторы. Правда, поле было недалеко, так как мы жили на окраине города, но все-таки и поле это было не деревенское, а городское, где происходило учение солдат, было много прохожих и проезжих, что, конечно, стесняло нас в играх и в гулянии.

Живописный город, расположенный на скалистой горе, с его костелами, церквями, башнями, стенами и валами старинной крепости очень нравился и манил к себе: хотелось обойти и осмотреть все это, хотя внутренность города с темными, грязными улицами, переполненными разным людом: торговцами, покупателями, прохожими — особенно в базарные дни, — производила на деревенского жителя ошеломляющее и отталкивающее впечатление.

К несчастью, тотчас же после приезда в Каменец я и братья переболели коклюшем, а между тем нужно было готовиться к экзамену в гимназию, — все это оставило довольно неприятное впечатление от первых месяцев жизни в Каменец-Подольске.

Для подготовки меня и брата Дмитрия к вступительному экзамену в гимназию был приглашен ученик 5-го или 6-го класса гимназии Иван Евдокимович Курилко, который и

стал усиленно готовить нас. Главная трудность заключалась в том, что латинского языка я, живя в деревне, не начинал даже изучать, так что предстояло в 2—3 месяца пройти курс первого класса гимназии. К счастью, в первом классе пройдено было в этот год по грамматике Кюнера очень немного, а по другим предметам я знал даже больше, чем требовалось, так что в августе 1870 г. я благополучно выдержал экзамен и был зачислен во 2-й класс, а брат Дмитрий — в 1-й класс гимназии.

Конечно, вся обстановка экзамена, с учителями в форменных фраках, с инспектором в орденах, произвела соответствующее впечатление на ум мальчика, сразу понявшего, что тут не прежние наши домашние экзамены, а дело «государственное», важное само по себе... Это заставило как-то съежиться, насторожиться и со страхом идти в гимназию, когда начались уроки. В первые недели занятий это настроение еще усилилось, так как и трехэтажное здание гимназии, и все порядки в ней прямо «кричали» о «казенном деле», которому нужно было подчиниться или уходить из него.

Застал я Каменец-Подольскую гимназию в переломный год, в год введения реформы пресловутого графа Толстого. «Старое» еще оставалось кое-где, «новое» начинало вводиться и вытеснять старое. Во 2-м классе проходила еще «естественная история», но в 3-м все признаки естественно-научного направления уже оказались изгнанными, и введен был греческий язык. И возраст учеников младших классов не был еще подведен под нормы нового устава: во 2-м классе застал я еще юношей 15—16 лет, «великовозрастных», с усиками, от которых часто разило табачком. Нравы были еще жестокие: «новичков», в особенности во 2-м и 3-м классах, обязательно «били», конечно, не «серьезно», но изрядно. Такому «новичку» прямо из семейного гнезда приходилось пройти довольно трудную муштру и обладать некоторой силой и смелостью, чтобы выйти с честью из этих столкновений со «старичками». Нужно было не давать себя в обиду, отстаивать свою личность, не прибегая к жалобам начальству. К счастью, я несколько подготовлен был к этому и вскоре среди «второгодников», т. е. мальчиков, оставшихся на второй год в том же классе, с которыми пре-



Шулепникова
(Кочетова)
Варвара Васильевна
С фотографии 1884 г.



Степанов
Евгений Дмитриевич
С фотографии 1884 г.

имущественно и приходилось новичку сражаться, приобрел друзей.

Помню фамилии: Баторского, Должанского (оба гораздо старше меня — лет по 17-ти), Фромунды, Балицкого. Два последних жили на Русских-Фольварках и сделались моими постоянными спутниками при возвращении из гимназии домой.

Новые мои товарищи научили меня играть в принятые тогда в нашей гимназии игры в мяч (квасок, кола, лапта, мета), познакомили меня с обычными местами игр и прогулок в близлежащих полях и скалах, окаймляющих глубокий овраг, в котором бежала быстрая речушка Смотрич, — словом, ввели в мальчишескую ученическую жизнь.

Учителя сильно импонировали мне своим «чиновничьим» видом, но вскоре я свыкся с этим и стал их различать по их качествам. Особенно популярным был у нас, малышей, учитель географии и естественной истории Вошинин. любивший рассказывать о других странах больше, чем было помещено в учебниках. Вошинин был, несомненно, представителем прежней системы средней школы, направления конца 50-х—60-х годов, когда старались ввести в курс средней школы побольше естественных наук. Учитель немецкого и французского языков, эльзасец Шильгамер, и учитель рисования, украинец Васьков, часто бывали жертвами наших мальчишеских шалостей, тогда как учитель арифметики Геевский и учитель латинского языка Мушинский поставили себя так, что мы их «боялись», хотя были они вполне корректны, не отличались излишней строгостью и придиристством и недурно преподавали свои предметы.

Во главе гимназии, по старому еще уставу, стоял инспектор, украинец Тулуп, несомненно, бывший под влиянием «идей освободительной эпохи» 60-х годов, по существу добрый, хороший человек, но несколько самодур, очень важно и напыщенно державшийся. Вскоре, впрочем, и Тулуп, и почти все упомянутые выше учителя исчезли из состава нашей гимназии в связи с окончательным ее преобразованием по новому уставу.

Учился я недурно: в продолжение первых двух четвертей был в числе первых учеников. Но, к сожалению, в конце зимы я заболел каким-то тифом, чуть не умер, — как мне

потом рассказывали, гимназический доктор и меня, и брата Дмитрия считал уже «безнадежными» больными, но, к счастью, он ошибся. Фельдшер местного военного госпиталя, приглашенный по чьей-то рекомендации матерью моей ухаживать за нами, «выходил» нас, употребляя обертывание в холодные мокрые простыни.

Благодаря этой болезни, я много уроков пропустил, но, выздоровев, плотно взялся за них и благополучно перешел в 3-й класс весной 1871 г.

Много способствовало укреплению моего здоровья то, что весной этого же года мы переехали на другую, более просторную квартиру, в предместьи Подзамче, с обширным двором и садом, где можно было вволю играть и гулять. Сама усадьба была расположена хотя и высоко на краю скалистого оврага, но все-таки недалеко от реки Смотрича, в том месте запруженной и образующей пруд, в котором удобно можно было купаться, так же, как и под колесами мельницы, построенной у этого пруда.

Предмestье Подзамче отделялось от города старой «упраздненной» уже крепостью, в лучше сохранившихся зданиях которой помещались арестантские роты и два пороховых погреба. Остальная же огромная часть бывшей крепости, с ее воротами, башнями, валами, рвами, подземными переходами, площадками и дворами, поросшими роскошной травкой, оставалась совершенно свободной и служила аренной для прогулки и игры живущей вблизи молодежи и для выпаса нескольких коров с прилегающих к крепостной территории усадеб. Таким образом, в это лето я и мои братья были поставлены в гораздо лучшие условия жизни, чем на Русских-Фольварках. В частности, я вместе с одноклассниками своими, жившими тоже на Подзамче (Гржигоржевским и Стефановичем), очень скоро ознакомился со всеми уголками крепости, всеми тропинками по скалам к пруду, к ближайшему лесу, пользуясь неограниченно всей этой территорией, как аренной наших прогулок и игр, часто купаясь и лакомясь фруктами в обильных садах Подзамче.

В это же лето некоторое время увлекался я деланием фейерверков, пользуясь обширным двором с несколькими деревьями посреди него, на котором безопасно можно было в темные вечера сжигать приготовленные фейерверочные

штучки: фонтанчики, звезды, свечи римские и пр., к великому удовольствию не только детей, но и взрослых обитателей нашей довольно большой усадьбы. Научил меня делать незатейливые штучки для фейерверка отец, который не только познакомил меня таким образом с порохом, его составом и главнейшими свойствами, но и подарил мне небольшое одноствольное ружье, научил разбирать, заряжать его и стрелять из него, а главное — обращаться должным образом, т. е. осторожно, с опасными вещами: ружьем, пистонами, порохом. Он говорил матери моей, которая пробовала было протестовать против такого «раннего подарка», что лучше показать мальчику, как нужно обращаться с огнестрельным оружием, чем, боясь несчастных случаев, запрещать ему возиться с ним. Тогда же я познакомился с устройством револьвера (отцовского) и упражнялся в стрельбе из него и из ружья, но исключительно в цель. Ни по воробьям, ни по воронам никогда не стрелял, а на серьезную охоту как-то меня не тянуло, да ее вблизи Каменца и не было, — нужно было ехать или итти довольно далеко. Через отца же, у которого нашелся какой-то элементарный учебник химии, я познакомился с гальванопластикой, снимал отпечатки медалей, потом покрывал их медью с помощью простейшей гальванопластической установки, делая и другие немудреные опыты по этому очень хорошему, практичному, хотя и старинному руководству, автора которого я, к сожалению, совершенно забыл.

Вообще жизнь на Подзамче проходила для меня с большой пользой не только в физическом, но и в умственном отношении. Приобрел я и хороших товарищей, с которыми совместно проводил не только свои досуги, но и готовил уроки, когда начались осенью занятия в гимназии. В курс третьего класса, как я уже упомянул, был введен тогда греческий язык, который многих из нас пугал, но для меня и моих ближайших товарищей он, сначала по крайней мере, не показался очень трудным. Справлялись мы с ним довольно благополучно, может быть, благодаря умению нашего нового педагога, русского немца, Эдуарда Карловича Шоластера. Латинский язык преподавал у нас учитель старой школы — воспитанник духовной академии; он знал латынь великолепно, мог объясняться по-латыни, правда, не клас-

сическим языком, а средневековым богословским жаргоном, но не умел преподавать свой предмет по-новому, и мы, его ученики, очень почувствовали это, когда в высших классах попали в руки новых учителей.

Экзамены наша группка (Стефанович, Гржигоржевский, Нельговский и я) выдержала очень хорошо, опять-таки благодаря совместным занятиям, в особенности по алгебре и арифметике. В нашей гимназии 4-й класс считался уже почти старшим классом. Во время перемен в этот класс не назначался для наблюдения за порядком дежурный ученик из старших классов (т. е. из 5, 6, 7 и 8-го). По новым правилам введенной тогда «классической системы», 4-й класс, как последний младший класс, выделялся хотя бы тем, что экзамены по окончании его были по всем предметам и устные, и письменные. Конечно, мы, перейдя в 4-й класс, почувствовали некоторую гордость, что не помешало нам все каникулы провести чисто по-мальчишески: в игре в мяч, в гимнастических упражнениях, в прогулках в лес, по закоулкам старой крепости (латинские надписи, сохранившиеся на ее стенах, я списывал в свою тетрадку), в катании на лодке и пр. Не были, впрочем, забыты и занятия по гальванопластике и химии. Кое-что читалось из гимназической библиотеки, преимущественно Майн-Рид, Купер, Жюль-Верн и проч.

К сожалению, это было последнее лето, проведенное мною на Подзамче. Осенью 1872 г. решено было нанять нам квартиру в центре города, чтобы можно было удобнее ученикам гимназии, жившим у нас в качестве нахлебников, ходить в гимназию. Дело в том, что экономическое положение нашей семьи было далеко не блестящим. Отец нигде не служил и пенсии не получал. Он оказался как-то не ко двору тогдашней бюрократии. Бывший кавказец, отставной штабс-капитан, он не хотел служить в полиции, хотя место «исправника» ему не раз предлагали. Не обладая высшим образованием (из Казанской гимназии он определился в полк юнкером), но достаточно развитый и начитанный, находившийся, как я уже говорил, под большим влиянием «освободительных идей 60-х годов», он прослужил довольно долго мировым посредником, но, должно быть, его деятельность на этом поприще не удовлетворяла ни

правительственные сферы, ни дворянство, — по крайней мере, ему не удалось устроиться на службу ни по новым судебным учреждениям, ни в земстве. Правда, отсутствие университетского юридического диплома было законным, неустранимым препятствием к занятию должности мирового судьи, естественного преемника мирового посредника. О частной службе в каком-либо коммерческом предприятии не приходилось и думать, — отец мой совершенно не был способен для этого. Вот и пришлось ему жить без заработка, на одну арендную плату за имение, и погрузиться в обычную жизнь губернских отставных чиновников. Сделался он членом местного клуба, ходил туда почти ежедневно — играть в картишки, читать газеты, беседовать с другими такими же членами клуба и вообще с представителями «губернского общества», принимая, конечно, участие во всех «общественных предприятиях», т. е. вечерах и сборах в пользу пострадавших от разных бедствий, в пользу вдов и сирот, в пользу неимущих учащихся и пр. и пр. Читал он очень много и брал для этого из клубной библиотеки книги и журналы на дом, что было очень важно, в особенности впоследствии для меня, так как таким образом к моим услугам были все русские журналы.

А между тем семья из пяти человек требовала немало расходов, особенно увеличивающихся, когда мальчики достигли школьного возраста. Арендной платы совершенно не хватало даже для самого неприхотливого, скромного существования, и вот матушка наша и решила открыть маленький — человек на 5-6 — пансион для учеников гимназии, что облегчило бы, по крайней мере, питание своих четырех ребят.

Матушка наша, хотя и получила домашнее воспитание, но была образована не хуже тогдашних институток: говорила по-французски, играла на рояли, была довольно начитана, а в житейских и общественных делах была очень сведущей и тактичной женщиной. Держалась она всегда очень скромно, не выдвигая себя на первый план, не выпячивая своей инициативы, скрываясь часто за спину своего мужа. Но, тем не менее, пользовалась она у окружающих большим уважением и авторитетом. Мы же, дети, мне кажется, больше любили ее, чем отца. Оба они очень мягко обращались с нами, оба были под сильным влиянием идей 60-х годов и поэтому ста-

ринные «домостроевские» нравы и семейные порядки совершенно отрицали, давая, в частности, нам, детям, очень большую свободу, не прибегая по отношению к нам ни к каким насильственным мерам, но, тем не менее, авторитет их у нас, детей, стоял очень высоко.

Содержание пансиона, конечно, ложилось всецело на плечи матери, — это являлось как бы ее заработком, отец же был совершенно не при чем. Он не всегда даже умел установить должные отношения с жившими у нас впоследствии мальчиками и юношами; бывали у него с ними и неприятные конфликты, тогда как матушка пользовалась неизменным уважением, авторитетом и даже любовью живших у нас пансионеров. Она умела как-то подойти к каждому; я с удивлением тогда замечал, что довольно строптивый мальчик, прожив некоторое время у нас, начинает относиться к «Софье Дмитриевне» почти так же любовно, как сам я, тогда как к «Петру Алексеевичу» (моему отцу) отношение было только корректно холодное.

Не могу не упомянуть, в связи с этим последним летом, проведенным нами на просторах Подзамче, еще об одном побочном совершенно обстоятельстве, благодаря которому еще крепче запечатлелись все события того времени в моем юношеском мозгу.

Впервые пришлось мне наблюдать северное сияние именно в Подзамче. Потом я его много раз видел под другими широтами, но в этих южных широтах оно очень редко бывает видимо. Это редкое явление произвело, конечно, очень сильное впечатление на все население, а в особенности на еврейское, — конечно, в необразованной, суеверной его части. Целую ночь, пока видны были красноватые столбы на северной части горизонта, по узким улицам старинного города тревожно сновали и толпились его жители. преимущественно евреи, толковавшие что-то о Мессии. Христиане, разумеется, утверждали, что северное сияние предсказывает только войну.

Переехали мы во 2-й этаж большого каменного дома (купца Германа) близ строившегося тогда «Нового моста». Квартира была большая, так как у нас должны были жить человек 5 пансионеров; «старшим», как полагалось по гимназическим правилам, назначен был бывший наш учитель, Ив. Ев.

Курилко, тогда ученик 7-го класса. Мне и братьям пришлось, как домашним, потесниться: я должен был спать и заниматься в общей столовой, правда, обычно пустой, отделившейся от остальной квартиры кухней.

Занятия в гимназии пошли гораздо труднее, чем прежде, и особенности по латинскому языку, по которому у меня, да и у других моих товарищей, были большие пробелы, как я уже говорил, а новый преподаватель, чех, по фамилии Чеховский, человек недурной, но какого-то нелепого характера, не умел пополнить эти пробелы. Стали появляться двойки по этому главному предмету. Греческий язык, преподаваемый очень симпатичным учителем Фирсовым, шел у меня нормально, но все-таки к изучению обоих классических языков я не чувствовал ни малейшей склонности, а скорее некоторое отвращение, которое все больше и больше развивалось, несмотря на то, что подробности истории, религии и вообще жизни эллинов и римлян, сообщаемые и такими бесталанными учителями, как Чеховский, меня сильно заинтересовывали. Все прочие предметы давались мне легко; моя начитанность значительно выделяла меня среди моих товарищей, которые вскоре стали ко мне обращаться за книгами из моей домашней библиотеки. Одним из первых и усердных читателей моих книг был А. Недзельский, впоследствии мой близкий товарищ и по университетской жизни.

Продолжались и наши совместные занятия по математике и французскому языку, причем на этой почве я сблизился еще с одним учеником, Такгузом, евреем из очень бедной семьи. Это сближение с первым юношей-евреем дало мне первый толчок к осмысленному отношению к той еврейской бедноте, которая ютилась в узких улицах старого города, и заставило меня, еще мальчика, задуматься над «еврейским вопросом», хотя в то время «ограничения» для евреев не достигли тех размеров, как при «незабвенном» Александре III: евреев принимали безо всяких ограничений во все гражданские учебные заведения.

Свободное время праздников и отдыха стал я уже проводить не попрежнему — в играх, беготне и пр., — это уже совсем почти отпало. Стали мы с товарищами выходить после обеда, под вечер, на обычные тогда в Каменце прогулочные для молодежи места: на бульвар и на «Шарлоттен-

бург». Последним названием обозначался широкий тротуар по одной стороне торговой площади, по которому обыкновенно прогуливалась группами учащаяся молодежь, когда бульварные аллеи закрывались для посетителей.

Так как двое из наших пансионеров были учениками 5-го и 6-го классов: то общение с ними имело очень значительное влияние на меня, так как оба они, как я припоминаю теперь, были довольно развитыми юношами. Они (братья Подмаскины) со своими приятелями, гимназистами, устроили во время зимних каникул домашний спектакль в нашем большом зале. Сыграли они «Лес» Островского, очень недурно, к великому удовольствию всех присутствующих, наших общих знакомых, хотя женские роли этой пьесы были сыграны тоже загримированными юношами.

Этот год моей юношеской жизни прошел очень весело и не без пользы для моего развития, но, увы, кончился очень плачевно: на экзаменах я «провалился» по латинскому языку, и меня оставили на второй год в том же 4-м классе. Трудно теперь понять, какое страшное огорчение я пережил от такой пустячной неудачи, а тогда я, вспоминая ясно, был близок к отчаянию, и только утешительные слова моей матери, что потерять один год не составит большой беды, что учиться второй год в 4-м классе будет мне легко и что поэтому я в состоянии буду помогать учиться двум младшим братьям, тогда уже поступавшим в гимназию, а также репетировать и нахлебников, которые у нас будут жить.

Но все-таки эта неудача повлияла настолько, что я почти совсем прекратил в это лето свои экскурсии в лес, на реку и в старую крепость, ограничиваясь гулянием на городском бульваре; но зато я записался в публичную библиотеку и все лето ежедневно аккуратно ходил туда читать газеты, журналы и книги; между прочим, прочел «Войну и мир» Л. Н. Толстого.

С наступлением осени снова стал я посещать гимназию, а дома заниматься с двумя младшими братьями и с двумя учениками, жившими у нас. Но вообще этот год был какой-то несчастный. Переболел я какой-то болезнью, а главное, заболел и умер мой самый младший брат, Александр (в конце 1873 или начале 1874 г.), от черной оспы, как тогда говорили. Эта внезапная смерть страшно огорчила всех, а в осо-

бенности нашу матушку, которая очень любила своего «последыша», как она его называла.

Весной 1874 г. я выдержал наконец, экзамен в 5-й класс, а на каникулы я уже получил первый платный урок: взялся подготовить во 2-й класс одного мальчика. Хотя плата была очень незначительная, но то, что я имею уже заработок, сильно поднимало меня в собственных глазах. С другой стороны, зная, что в 5-м классе начинается преподавание словесности и начинают задавать писать «сочинения» на разные темы, я решил использовать досуг на каникулах для поднятия уровня своего развития. Никакого руководящего указания, что нужно мне для этого почитать, у меня не было. Слышал я, что в семинарии изучают логику, психологию, философию, и решил достать через знакомого семинариста ученические записки по этим предметам. Поговорив с семинаристом, я взял не только все вышеупомянутое, но и записки по богословию, так как в религиозном отношении я еще далеко не ушел от установленного и внушенного мне с детства «православия». Прочитав все это, я, разумеется, не удовлетворился: масса вопросов, сомнений нахлынули на мой мозг. Достал я Тэна «Об уме и познании», какую-то «Логiku» и «Психологию», «Философский словарь» Гогоцкого, кое-что из сочинений Писарева (всего не успел прочесть, читал после), Дрепера «Историю цивилизации Европы». — и вот мои сомнения в правильности внушенного мне в семье «христианского» (хотя и не фанатичного) мировоззрения и политических убеждений, воспринятых мною от отца, сильно углубились, я встал на дорогу, ведущую через скептицизм к атеизму и материализму, а в политике от защиты прав монархов стал переходить к утверждению прав «народа». Конечно, этому перелому способствовал и тот материал, который я находил в журналах, приносимых отцом из клуба. Разумеется, далеко не все статьи в книжке мною прочитывались, даже не все прочитанное правильно понималось, но все же постепенно я больше и больше втягивался в сознательное отношение к текущей журналистике, отражавшей нашу общественную жизнь. По поводу вопросов, затрагиваемых в журналах и статьях, стал я привыкать диспутировать, во-первых, с отцом, а затем и с товарищами.

В каникулярное время, конечно, много можно было про-

честь, но в учебное время, когда я стал давать уроки и тратил на это три—четыре часа в день, свободного времени оставалось очень мало, но все-таки оно находилось. Дело в том, что из гимназического курса больше всего требовалось времени на изучение антипатичных мне латыни и греческого языка. Подумывал я, перейдя в 5-й класс, переменить классическую гимназию на реальное училище, но, по зрелому обсуждению этого вопроса с матерью, решил остаться в классической гимназии и постараться ее окончить во что бы то ни стало. Средств на поездку в реальное училище отец дать не мог, а рассчитывать на свой заработок уроками тоже было рискованно. И вот ежедневно часа 2—3 уходило на зубрение латинского и греческого уроков. Остальные предметы давались мне легко, тратил я на них очень мало времени и все-таки ежедневно ложился спать в 12, а то и в час ночи.

С 5-го же класса и до конца курса я стал отчасти зарабатывать на собственное содержание: заработок от уроков покрывал все мои расходы не только на учебники и книги, но и на платье, так что от своей семьи я получал только жилье и пропитание.

II

СТАРШИЕ КЛАССЫ ГИМНАЗИИ

Учебный 1874—1875 год нужно считать переломным начальным пунктом, как я уже говорил, периода моих сознательных изысканий и постепенного перехода через скептицизм к «новым идеям, — периода, окончательно завершившегося только в университете. Новые идеи внедрялись в наши умы, у меня и моих товарищей, как-то самостоятельно, через чтение книг, без непосредственной преемственности от наших предшественников. Ведь было это в годы расцвета «народничества», о котором мы, разумеется, слышали, читали, но непосредственного руководства—преемственности—от наших «предшественников» мы не получили. Такими «предшественниками» называю я лиц, известных в истории революционного движения, как Ковальский Иван Мартынович, Малавский Владимир Евгеньевич,—каменчане родом и учившиеся в учебных заведениях г. Каменец-Подольска. Ма-

лавского я видел, помнится, один или два раза, но ни разу даже не разговаривал с ним. Он был сыном учителя нашей гимназии и родственником моих товарищей по 3-му классу, бр. Драгомарецких, тоже сыновей учителя латинского языка, о котором я раньше упоминал. Точно также мельком видел я учителя нашей гимназии Романовского (Романько-Романовского Александра Григорьевича) *, уволенного со службы за неблагонадежность **, когда я был еще неразмышляющим мальчиком. Впоследствии слышал о нем, что он был «нигилистом» и был очень популярен среди учеников так же, как и его ближайший друг, учитель истории Белогруд, тоже недолго остававшийся в нашей гимназии, но которого я еще застал, как учителя истории, в 4-м классе. Пользовался он у нас, мальчиков 4-го класса, некоторым уважением, наваянным, очевидно, учениками старших классов, среди которых он был весьма популярен. О Ковальском я только слышал, что в 1872 или 1871 г. часть выпускных учеников и он в том числе, не пожелала взять аттестаты для поступления в высшие учебные заведения, а взяла свидетельства на право преподавания в народных школах и определилась учителями в различные села. Это было, несомненно, движение «в народ». Помню некоторые фамилии: два брата Филиппские, Баранюк. Фамилии некоторых бывших учеников и учениц, выбывших из Каменца в то время, о котором идет речь, упоминались среди нашей молодежи с уважением: Кателянский, Штамер, работавшие в прессе писатели. Ваховская Варвара Ивановна, братья Мороз, Польгейм Идалия Осиповна и некоторые другие ***. Все эти лица, несомненно, ранее нас работали в Каменце, но у меня прямых связей с ними не было, и я не знаю, были ли у них с кем-либо из моих товарищей такие связи, через которые можно было бы руководить нашим кружком.

Нелегальная литература стала впервые доходить до меня через Гейсмана, который шел впереди меня на один класс, затем от Шполянского, который получал ее, кажется, от то-

* Трагически погиб в эмиграции в С. Америке.

** В 1872 году.

*** Упоминаю об этих лицах, думая, что это может помочь и другим вспомнить кое-что и таким образом дать материал для лиц, изучающих движение 70—80-х годов.

го же Гейсмана. Повидимому, Гейсман получал литературу через Роецкого, большого своего приятеля, у которого был брат, студент Киевского университета.

Роецкий не принадлежал к нашему кружку, но он знал о нас и мы знали, что он работает (будучи учеником 6-го класса гимназии) в кузнице молотобойцем, заводя таким образом связи с местными рабочими. Ясно было для нас: он готовился «идти в народ». Никто из нашего кружка не пошел в народ таким способом, но, тем не менее, все с уважением относились к Роецкому и его «подвигу». К сожалению, я не знаю, вышло ли что-либо у Роецкого из всего этого, так как, уехав по окончании гимназии в Питер, я его совершенно потерял из виду, знаю только, что аресты 1879 г. по делу Крыжановского, в которое были замешаны некоторые члены нашего кружка (Шпиркан, Шполянский и др.), не коснулись Роецкого.

Кружок наш, разумеется, сплотился не сразу. Переживая переломный период в своем мирозерцании, как я говорил выше; естественно, я сближался с теми товарищами, у которых происходил подобный же процесс в их духовном развитии. Теперь мне трудно с достоверностью утверждать состав той основной ячейки, с которой начался кружок. Может быть, кое-кого я и забыл; во всяком случае помню, что ближайшими моими собеседниками до основания кружка были: Недзельский, Урсынович, Шпиркан, Гейсман и Шполянский.

Довольно долго мы не думали и не говорили о какой-либо организации, довольствуясь тем общением и обменом мнений между собой и с другими товарищами по гимназии, с которыми каждый из нас мог сблизиться на идейной почве. Так, я очень сблизился с братьями Жукотскими и с Коновкиным, знал, что Гейсман и, кажется, Шпиркан очень близки с Роецким и т. д., но об общей связи речи еще не было.

Встречались мы для своих идейных разговоров в квартирах друг у друга, на гуляньях — летом и весной, зимой — иногда за стаканом бессарабского вина в укромных уголках некоторых «винярен» и трактирчиков, соблюдая, конечно, строгую конспирацию от гимназического начальства. Все это, конечно, стесняло своей неорганизованностью, и вот у Шполянского и у меня — я помню это очень хорошо — яви-

лась мысль внести некоторый порядок в эти всем, казалось, нужные и приятные отношения.

И. Шполянский был одним из самых юных среди нас, но, вместе с тем, несомненно, и самым способным (шел он первым учеником и окончил с золотой медалью). Начитанный, обладавший прекрасной памятью, он импонировал всем своими знаниями, которыми умел блеснуть в нужных случаях. Очень живой, он рвался к какой-нибудь общественной деятельности, хотя, благодаря своей неопытности и опрометчивости, мог попадать в неловкие положения. Так, вначале многие из начинающих мыслить юношей принимали его за обычного карьериста медалера, видя, как он добывается книг из фундаментальной (учительской) библиотеки, ведя разговоры с учителями и пр. Возможно, что Шполянскому первому пришла мысль в голову о создании кружка, но инициативную группу мы собрали вдвоем и ко мне на квартиру пригласили Урсыновича, Недзельского, Гейсмана, Шпиркана, — всего, с нами, шесть человек. Так мне помнится. Целью кружка выставлено было «самообразование», и только. В члены кружка принимался только тот, за кого все старые члены единогласно высказывались. Все члены регулярно должны были вносить установленную сумму на выписку книг, журналов и др. расходы кружка. Кружок выписывал книги и журналы, которые читались и обсуждались отдельно, группами и на общих собраниях, которые должны были происходить регулярно (раз в неделю). Нелегальные издания воспрещалось приносить на общие собрания, но говорить о них, передавать их содержание, вообще обсуждать, даже писать рефераты по поводу их поощрялось. На общих собраниях воспрещалось пить хмельные напитки, петь песни. Собрания, состав кружка и вообще все, касающееся кружка, должно было сохраняться в величайшей тайне. Устав кружка писать воспрещалось. Каждому новому члену устно сообщалось вышеизложенное и фамилии членов кружка, как строгая тайна.

Выработав этот «устав», мы тотчас же наметили к выписке еженедельный журнал «Неделя», месячник «Знание» и еще что-то, а в число членов единогласно решили принять несколько человек. Кого именно в этот раз мы приняли, я не могу вспомнить, но знаю, что кружок, постепенно рас-

ширясь, охватил ко времени окончания гимназии человек 15, а может быть и больше. Вот фамилии членов кружка, которые, я успел вспомнить: Шполянский, Шебалин, Урсынович, Недзельский, Гейсман, Шпиркан, Лозинский, Подневич, Блаудзевич, Коновкин, Гернштейн, Закржевский.

Не все товарищи, близкие нам по «духу» и по протестующему настроению, вошли в наш кружок. Некоторые знали о нашем кружке, но не хотели входить в него, как вышеупомянутый Роецкий, занятый своей ролью молотобойца; другие не попали в члены потому, что не все, принятые уже в кружок, знали их и поэтому не доверяли им. Так, я очень жалел, что не удалось ввести в кружок двух братьев Жуковских, Сонсецкого, Мартоса. Наконец, не могли быть членами нашего кружка гимназистки, так как среди членов была, к сожалению, группа лиц, державшихся мнения, что «баб» не следует принимать в виду их неконспиративности и из-за опасения, что некоторые члены кружка начнут «увлекаться» ими и станут «ухаживать» за ними. Это странное и дикое мнение держалось, к сожалению, во все время существования кружка, а между тем гимназистки — Роза Франк, две сестры Левины, Левенталь и Синцова — были очень развитыми девушками и близкими нам по идеям. Кроме только что упомянутых лиц, не попавших в кружок, но сочувствовавших нам, было много еще других, которые и составляли некоторую помогавшую и питавшую нас периферию, для которой каждый из членов кружка являлся источником нелегалщины, передатчиком мнений и воззрений нашего небольшого коллектива.

Нужно признаться, что стремление законспирировать себя, боязнь попасться с поличным жандармам в лапы, будучи вполне законными и понятными, — ведь об арестах, высылках и судах по делам политическим были мы хорошо осведомлены, — все-таки иногда заходили слишком далеко. Например, постановление не приносить на заседания кружка нелегалщины можно было еще понять, но не допускать женщин было нелепо, а между тем из-за этой чрезмерной конспиративности разыгралась, помнится, целая история, чуть не кончившаяся роспуском кружка. Началось дело с того, что один из членов кружка сказал, что Синцова (вышеупомянутая гимназистка) в разговоре с ним дала понять,

что она знает о существовании кружка. Он конечно, постарался замять разговор об этом, но, тем не менее, почел долгом доложить об этом кружку. Это известие сильно встревожило многих членов кружка. Пошли разговоры о том, что, значит, кто-то болтает, что так недалеко и до того, что о нас узнает и гимназическое начальство, и жандармы. Стали высказывать подозрения в болтовне на членов кружка, не избегавших знакомств с гимназистками. А были ведь между нами, как я уже говорил, и «женоненавистники», — они-то, главным образом, и взволновались. Высказывалось мнение, что следует распустить кружок. После долгих прений поручено было одному члену кружка, знакомому с Синцовой, дипломатично выведать от Синцовой, что она знает о кружке и кто ей о нем сообщил. После нескольких дипломатических ходов (ведь уполномоченный не должен был раскрывать все карты перед Синцовой) удалось узнать, что о существовании кружка Синцова узнала от своего родственника, Роецкого. Ничего, кроме того, что «существует какой-то кружок самообразования», Синцова не слыхала. После доклада в кружке об этом некоторые товарищи посоветовали, что Роецкий знает о существовании кружка и что «кавалеры», т. е. ведущие знакомство с гимназистками, подвергаются всегда опасности «проговориться», но, в конце концов, «дело» прекратили и успокоились.

Только что рассказанный эпизод необходимо было, по моему мнению, привести, чтобы показать, насколько мы были еще наивны и иногда комичны; но в общем кружок наш функционировал очень хорошо и успешно охранял свою безопасность «от преследователей всего живого». Собирались мы аккуратно каждую неделю, сначала у меня на квартире, а потом в комнате, специально наняемой нами во дворе того дома, где жил Шполянский. В эту комнату однажды нечаянно попал молодой, только что кончивший Киевский университет учитель, пришедший посетить по обязанности службы своей «общую квартиру» учеников младших классов, помещавшуюся в том же здании. Увидев нескольких взрослых гимназистов, смутившихся при его появлении не менее его самого, он, извиняясь, ретировался, узнав, что ему нужно войти в соседний подъезд. Это был единственный случай, когда наш кружок был застигнут на месте «преступ-

ления» посторонним случайным посетителем. И об этом случае все-таки наши конспираторы не упустили «поговорить», хотя немного, так как учитель, преподававший только в младших классах, внушал нам доверие. Конечно, мои родные так же, как и родные моих товарищей, знали, что мы сходимся, читаем, беседуем, но мы, разумеется, не открывая тайны кружка, объясняли, что собираемся для совместных занятий предметами гимназического курса, а попутно, конечно, и беседуем. Нужно сказать, что совместные занятия по классическим языкам и по математике действительно происходили очень часто, конечно, в другом составе групп, и это давало возможность законспирировать собрания нашего кружка и его цель.

На этих собраниях мы чаще всего «беседовали», обсуждая уже прочитанные каждым из нас в отдельности или в небольшой группе статьи и целые книги. Книжный и журнальный материал был у нас довольно большой. Кроме журналов, которые я мог доставать через отца («Вестник Европы», «Отечественные Записки» — статьи Михайловского), мы выписывали и на средства кружка «Неделю», «Знание» (статьи Зиберы) и, не помню, еще что-то. Читали мы Лаврова, Чернышевского, Флеровского, Михайлова. Писарев был для нас как бы пройденным этапом. «Мыслящий реалист», с его индивидуалистическим настроением, немногих из нас и недолго держал под своим обаянием. Мы шли глубже, хотели знакомиться с глубинами эволюции человечества. Читали Бокля, Дрепера, кое-что по истории культуры, кое-что по истории революционных движений. Как курьез, вспоминаю: первой книгой, которую я прочел о разгромленной тогда уже «Парижской Коммуне», была черносотенного направления, называлась, помнится, «Черная книга Парижской Коммуны» или что-то в этом роде. Но она имела совершенно обратное влияние, заставив только заинтересоваться и добиться более верного изложения этой истории. Удалось добыть какое-то заграничное издание. Из-за границы же мы получали «Вперед», Бакунина и еще кое-что.

Окружающая же нас обстановка в захолустном губернском городе, с его всеильной бюрократией, сосавшей жирную буржуазию, в свою очередь выжимавшую все соки из обездоленных трудящихся масс, давала прекрасные иллюст-



Дашкевич
Петр Григорьевич
С фотографии 1884 г.



Мартынов
Калиник Федулович
(Борисович Аполлинарий Алексеевич)
С фотографии 1884 г.

рации тому, что мы вычитывали со страниц оппозиционных и революционных изданий, и, наоборот, заставляла искать в книгах то, что облегчало бы нам найти выход из безобразного настоящего. Национальная пестрота этой окружающей обстановки сыграла тоже значительную и благотворную роль. Мне кажется, что легче было, лично мне, по крайней мере, отстать от своей внушенной семьей традиции религиозной и национальной, наблюдая чуждую традицию, уродливость которой резче била в глаза, ибо она была чужая. Невольно сравнивая, мыслилось: и у нас (русских) так же слепо веруют во что-то, завещанное отцами, и так же бормочут какие-то малопонятные слова и формулы, так же только себя считают людьми. При таких размышлениях нетерпимость сама собой испарялась, заменяясь понятиями и идеалами общечеловеческими. Невольно замечалось, что среди русских, украинцев, поляков, евреев имеются «богатые» и «бедные». Это считалось главным различием среди людей. Господа и слуги, угнетатели и угнетенные. И из всех бедных самыми бедными оказывались в условиях Каменец-Подольска именно евреи, которых русские, поляки и украинцы выставляли как нацию эксплуататоров. И думалось мне, юноше: бедный переплетчик-еврей, которого я заставлял в его убогой комнатке-мастерской рано утром, приходя за отданными ему в переплет книгами, — бледный, еле ворочающий языком от бессонной ночи, проведенной за работой, — кого он эксплуатировал? Да, вся обстановка современной жизни наталкивала мало-мальски мыслящего юношу на вывод, что такой строй не должен оставаться, нужен другой порядок.

И вот в своих «прениях» мы очень скоро покончили с сомнениями в религиозном и национальном вопросах: атеизм и равенство всех национальностей стали для нас аксиомой.

В политическом отношении мы были республиканцами: политическая власть должна принадлежать всему народу и осуществляться его избранниками. Но мы понимали, что из великой формулы, провозглашенной французской революцией, — свобода, равенство и братство — осуществлено было равенство только политическое, и поэтому неравенство экономическое отбросило, как клином, третий член формулы и

почти уничтожило и первый — самую свободу. Мы уже знали, что Парижская Коммуна пробовала восстановить формулу, создав экономическое равенство, но попытка не удалась.

Наши убеждения находились еще в стадии формирования. Сочувствовали мы народническому мировоззрению, были, пожалуй, ближе к лавристам, а не к бакунистам, но определенного плана нашей дальнейшей жизни и деятельности ни у кого из нас не составилось. Все мы добивались аттестата зрелости, чтобы получить высшее образование, и затем хотели быть полезными для «народа» деятелями, хотели бороться с деспотизмом, с угнетателями трудящихся масс, с собственниками земли и орудий производства, — называли мы себя социалистами.

Разумеется, насилия правительства, старавшегося подавить всякое даже оппозиционное направление, все, маломальски стремящееся к свободе и свету, а с другой стороны — страдания передовых людей, «радикалов», сидевших уже в тюрьмах, в каторгах и ссылке, — производили на нас должное впечатление. Помню, какое сильное впечатление произвело чтение в одном частном собрании прокламации, описывавшей положение заключенных в харьковских центрах: не только все приняли единодушное участие в сборе денег в пользу заключенных революционеров, но, я уверен, все готовы были и на более рискованную помощь действующим «радикалам».

Деятельность «кружка» благотворно влияла на всю гимназическую жизнь, даже на подготовку к экзамену на аттестат зрелости. Собственно не сам «кружок», как таковой, влиял в этом направлении, так как в «кружке», как было уже сказано, занятий по классным предметам не велось, а та спайка, тот навык к общественности, который развился у нас благодаря «кружку». Были по инициативе членов «кружка» организованы группы для усиленных занятий по латинскому языку, по греческому языку, по математике. Группы эти, конечно, не ограничивались членами кружка и работали настолько успешно, что из 16-ти учеников 8-го класса, державших экзамены на аттестат зрелости, 14 получили эти аттестаты.

Благодаря этой же спаянности, удалось нам, гимназистам старших классов, выйти победителями из одной «гимназиче-

ской истории», которая могла бы кончиться «исключением с волчьим билетом», как тогда говорились, т. е. исключением виновника без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Гимназист 7-го класса, не член нашего «кружка», доведенный какой-то издевательской речью учителя греческого языка до нервного припадка, ударил кулаком по кафедре так, что верхняя доска попитра лопнула, и закричал: «не смей, негодяй, меня оскорблять» (или что-то в этом роде). Учитель бросился бежать, товарищи удержали гимназиста от дальнейших действий, но по жалобе учителя было возбуждено дело об оскорблении учителя при исполнении обязанностей по службе. По инициативе членов «кружка» собрано было несколько совещаний учеников старших классов для того, чтобы защитить «виновного». Учитель, хотя и грек родом, не умел преподавать классический греческий язык, да, кажется, и не знал его по-настоящему. Его все не любили за иезуитизм; сам человек ничтожный, он любил поиздеваться над учениками старших классов, когда ловил их в чем-нибудь, а в младших классах был очень груб. На тайной сходке решено было послать к директору и к инспектору депутацию, состоящую из представителей старших классов. И директор, и инспектор, выслушав очень тактичные речи депутатов, обещали не допускать исключения «виновного» ученика. Слово свое они сдержали: ученик был только временно удален из гимназии, которую через год благополучно окончил.

Вспоминается еще одна история, проводившаяся с участием членов нашего «кружка». Среди еврейской молодежи Каменец-Подольска началось уже тогда довольно сильное стремление к просвещению, выражавшееся в том, что молодые люди стремились поступить в русские учебные заведения, но их отцы, зачастую очень зажиточные и даже богатые, погрязшие в религиозных предрассудках, не соглашались отпускать их учиться в русских учебных заведениях. Один из таких юношей обратился за помощью к Шполянскому, который и помог ему выработать и привести в исполнение план побега и сокрытия юноши до тех пор, пока изувер-отец, очень любивший, впрочем, своего единственного сына, не согласится, наконец, дать ему средства учиться в русском учебном заведении. «Дело» это длилось несколько недель.

Скрывание юноши, переписка с ним и с его отцом и прочая конспирация могли быть успешно проведены только через нас, членов «кружка», христиан, так как товарищи наши, евреи, были тотчас же окружены многочисленными шпионами и наблюдением, вплоть до перлюстрации писем и телеграмм через подкупленных почтальонов, щедро оплачиваемых богатым и знатным отцом.

Необходимо пояснить, что тогда, в 70-х годах прошлого столетия, евреям не был еще законом ограничен доступ в учебные заведения, но сама еврейская масса настолько еще была в подчинении у своих религиозных руководителей, что отрицательно относилась к учению своих детей в русских учебных заведениях, и евреев учеников гимназии было сравнительно мало; так, вместе со мною кончили гимназию только два еврея из 14 всех окончивших, тогда как город был почти исключительно населен евреями, среди которых немало было достаточно обеспеченных семей. Но младшие классы той же гимназии в мое время начали, как я говорил, наполняться еврейскими мальчиками не только из достаточных семей, но и из бедноты. Отношение к ним со стороны гимназического начальства не было тогда еще открыто враждебно: евреев-учеников ни в чем не выделяли от других — русских, украинцев, поляков. Оскорбление национальности преследовалось не только товарищеским мнением, но иногда и начальством гимназии.

Кончая свои воспоминания о гимназической жизни, я считаю не лишним привести характеристики некоторых из наших педагогов и рассказать о наших взаимоотношениях. Ни одного из них нельзя было назвать руководителем «дум наших», нашего общечеловеческого, а не казенного развития. Таковую роль обыкновенно в русской школе по традиции играли учителя словесности, и у нас один из преподавателей словесности, Беленький, очень недолго служивший в нашей гимназии, преподавал довольно содержательно, а главное, умел поставить себя так, что мы чувствовали, что он «наш», но в какие-либо «откровенности» мы с ним не вступали, и он не только руководить, но и сблизиться с нами не проявлял желания. Так же, если еще не холоднее, держал себя его преемник, Михалевич, недурной преподаватель и обходительный, деликатный человек, либерального образа

мыслей. В оправдание им нужно сказать, что «курс словесности» был в то время страшно урезан, а учителя уже были взяты в крепкие тиски наблюдения. С молодым учителем математики, Зефировым, только что кончившим Киевский университет, мы тоже не сблизились, хотя он производил очень хорошее впечатление и первый сделал шаги к нашему сближению: незадолго до нашего выхода из гимназии, значит весной 1878 года, он пригласил нас, человек 5 восьмиклассников, к себе на «кружку пива» после танцевального вечера, состоявшегося тогда в здании гимназии, в котором и он занимал комнату. Вел он себя с нами, как со студентами, поговорил о будущей нашей деятельности, даже о «народе», но очень осторожно. Повидимому, он стоял на платформе мирной, легальной пропаганды передовых идей. Так как все это произошло в конце нашей гимназической жизни, то связь не могла укрепиться и прошла бесследно. Других учителей можно было разделить на две группы: тех, которые хорошо преподавали и таким образом давали нам возможность получить желанный аттестат, и тех, которые плохо преподавали порученные им предметы. По личным своим свойствам, конечно, они представляли большое разнообразие, важное иногда в мелочах нашей ученической жизни, но первой категории мы склонны были прощать излишнюю строгость, придирчивость, вторым же не ставили в заслугу их в некоторых случаях мягкость и попустительство. Авторитетом среди нас они никаким не пользовались, да и сами по себе в лучшем случае были порядочными обывателями и исполнительными чиновниками.

Таким исполнительным чиновником был и инспектор Шолластер (большой любитель музыки и сам прекрасный пианист), но он был очень умным и тактичным человеком, хорошо знавшим психологию молодежи и избегавшим всего жесткого и жестокого, готовым на многое глядеть сквозь пальцы, лишь бы его не обвинили в попустительстве. Директор Должилов был, несомненно, добрый человек, хороший преподаватель истории, вероятно, находившийся прежде под влиянием идей 60-х годов, но после торжества реакции он сделался панически трусливым: боялся он и своего высшего начальства и жандармов. Благодаря склонности его к обществу, у нас ввелся обычай устраивать в гимнази-

ческом зале вечера с концертами и вечера с танцами. Устраивались такие вечера, разумеется, редко два, много три раза в год на зимние или пасхальные каникулы. Должиков же пробовал ввести в обычай «празднование весны», «маевки», когда «вся гимназия», т. е. буквально почти все гимназисты с многими учителями и надзирателями во главе, с музыкой, утром направлялись на целый день в ближайший лес, версты за три от города. В лесу уже было заготовлено несколько палаток, действовал выезжавший в лес по этому случаю один из лучших городских ресторанов, появлялись разносчики мороженого, пирожков, орехов, всякой снеди. Молодежь устраивала игры, танцы под музыку. Словом, молодежь веселилась на глазах и при участии своих педагогов. «Весь город», конечно, был очень заинтересован этими вечерами и маевками, бывало на них много публики и, казалось, они нравились кое-кому, но не всем. Должиков получил какие-то «замечания», испугался, и вечера и маевки прекратились; прекратились они уже без нас, когда мы были в университетах.

Вообще о директоре Должикове и инспекторе Шоластере вспоминаю я без горечи: в то тяжелое для средней школы время они вели себя очень тактично, избегали жесткости в применении нового устава и новых правил. По сравнению с порядками в других гимназиях, о которых мы знали по рассказам, порядки в нашей гимназии всегда отличались некоторыми вольностями для учеников и довольно удачным подбором учителей, которые в большинстве, за редкими исключениями, благожелательно относились к ученикам 8-го класса, державшим экзамен на «аттестат зрелости».

Вот и мы, весной 1878 года, 14 человек, среди которых было 6 человек членов «кружка» (Шполянский, Шебакин, Лозинский, Урсынович, Коновкин, Недзельский), получили аттестаты и сидим на завтраке (также обычай, введенный Должиковым) у директора, в присутствии инспектора Шоластера. Пьем шампанское за здоровье наших педагогов, они пьют за наши дальнейшие успехи, говорим взаимные любезности, а на душе у всех нас чертовски весело: «конец гимназической муштры, впереди университет — храм науки, воля!». В этом восторге было много наивного, и жизнь скоро показала суровые свои стороны.

Вечером нами, выпускниками, устроена была товарище-

ская пирушка, в которой приняли участие, кроме нас, выпускных, еще несколько гимназистов, близких к нам, из старших классов.

Все лето я не имел никаких обязательных работ, отдыхал от экзаменационных трудов, живя на окраине города, в том же Подзамче, в усадьбе с обширным садом; можно было наслаждаться чистым воздухом, прогулками в ближайший лес, катанием на лодке. Выезжал я на несколько дней из Каменца в местечко Жванец на Днестре, где проводил лето мой ближайший товарищ И. Шполянский. Разумеется, часто виделся я со всеми другими товарищами, остававшимися на лето в городе, много читал, но регулярные собрания нашего «кружка» временно прекратились, так как на лето в городе оставалось мало членов «кружка». Касса, библиотека, все «дела» кружка переданы были группе оставшихся в гимназии товарищей, во главе со Шпиркатном, который до августа тоже уехал к своим родным в деревню. Таким образом, непосредственная связь «кружка» с нами, отъезжающими в университетские города, прервалась, хотя, конечно, каждый из нас должен был приходить на помощь «кружку», если бы понадобилась эта помощь, для связи или для чего-либо другого.

В августе 1878 г. целая компания получивших в этом году аттестаты зрелости гимназистов направлялась в Питер (Ленинград), чтобы поступить в Медико-хирургическую академию (Лозинский и Недзельский) и в университет (Шполянский, Шебалин, Коновкин, Урсынович, Нагорничевский). К этой компании для выезда из Каменца до Проскурова присоединился и мой бывший репетитор, тогда уже муж моей сестры, И. Е. Курилко, ехавший в Москву (по окончании математического факультета в Питере) для поступления в Московское техническое училище на стипендию, чтобы потом быть учителем механики в реальном училище. К слову сказать, И. Е. Курилко своими рассказами об университетском учении помог мне ориентироваться в определении факультета, который я должен был избрать. Наиболее подходящим для своих способностей я считал математический не только потому, что математические науки шли у меня довольно легко и я ими очень интересовался, но и потому, что для изучения их не требовалось того напряжения памяти, которое нужно было для прохождения курса других факультетов, тоже мне симпатичных, например, медицинского или естественных наук. На этих факультетах предстояло заучивать, казалось мне, такую массу названий, терминов, что, я боялся, память моя не выдержит этого груза.

В один прекрасный день мы, восемь пассажиров, разместились со своими несложными студенческими чемоданами в двух прекрасных четырехместных фэтонах, запряженных каждый четверкой хороших лошадей (таковы были тогда извозчики в гор. Каменец-Подольске), и после торжественных и трогательных прощаний и пожеланий со стороны на-

ших родных, веселые, радостные, покатали по шоссе в город Проскуров, чтобы сесть там в вагон железной дороги, которая тогда не доходила до Каменец-Подольска на 90 клм.

Длинный путь от Каменца до Питера через Киев, Минск, Брест и Вильно, — так тогда приходилось ездить, — конечно, уже подготовил нас к впечатлениям, которые должен был на нас, молодых провинциалов, произвести Питер. И все же Питер с его широкими прямыми улицами, с толкотней, шумом, вонью, — тогда страшно воняло в больших городах газом и каменноугольным дымом, — ошеломляюще подействовал на нас. Немудрено, что по приезде в Питер случился на следующий же день смешной инцидент. Остановились мы временно, конечно, только чтобы переночевать, в каких-то «меблированных комнатах» на Невском проспекте, в которые завез нас с вокзала извозчик, и на следующее утро разошлись: одни, чтобы подыскать квартиру для нас, а другие — разыскать знакомых. Один из этих товарищей не записал и не запомнил точно адрес меблированных комнат и когда, выйдя от своих знакомых, сказал, чтобы извозчик вез его в «меблированные комнаты» на Невском проспекте, то извозчик, разумеется, задал ему вопрос: какие именно «меблированные комнаты»? На этот вопрос опрометчивый товарищ не мог ответить. Пришлось, к великому удовольствию извозчика, ездить по всем «меблированным комнатам», расположенным по Невскому, и узнавать их по «виду с подъезда». К счастью, швейцар наших комнат случайно стоял на крыльце, когда злосчастный товарищ уже вторично проезжал мимо, швейцар узнал нашего товарища.

После некоторых хлопот и переездов поселились мы вчетвером (Коновкин, Урсынович, Шполянский и Шебалин) в двух комнатах на 1-й линии Васильевского острова. Недзельский и Лозинский поселились где-то в районе Медицинской академии. До начала лекций мы успели бегло ознакомиться с Питером, по которому в то время было расставлено на углах улиц, кроме городских, много гвардейских солдат, — временная, но даже для нас, новичков, явно бестолковая мера охраны, принятая растерявшимся правительством после убийства шефа жандармов ген. Мезенцова. Успели мы осмотреть кое-что из достопримечательностей столицы: картинные галереи Академии художеств и Эрмитажа.

Начавшиеся лекции, конечно, сильно заинтересовали меня. Профессорское «чтение», а не объяснение «урока», новые научные темы лекций не могли не поглотить внимания новичка. Кроме своих лекций, я стал посещать некоторые лекции юридического факультета, пользуясь тем, что лекций по математике было немного: они не заполняли всех часов и занимали не все дни недели. Новая среда, — студенты, — и студенческие дела тоже захватывали и мысли и время.

В то время студенты Петербургского университета жили довольно свободно. Ректор А. Н. Бекетов благосклонно относился к «вольностям», принадлежа к категории людей «шестидесятых годов». Студенты сами заведывали библиотекой-читальней, столовой, выбирали представителей в «Комитет помощи студентам» (за точность названия не ручаюсь), состоявший из профессоров и распределявший денежные пособия среди нуждающихся студентов. От каждого курса полагалось выбрать двух библиотекарей (одним из библиотекарей от 1-го курса математиков выбран был я), которые по очереди дежурили в библиотеке, а все вместе составляли коллектив, ведавший всеми делами студенческой библиотеки-читальни. В это же время впервые появилась мысль об организации студенчества по «землячествам». Хорошо помню сходку человек в 15—20 на какой-то частной квартире и Бонч-Осмоловского (Анатолия Осиповича, теперь уже покойного), доказывавшего необходимость и удобства объединения студенчества всех высших учебных заведений по принципу «землячеств», для организации взаимопомощи материальной и идейной, а также для собирания средств в пользу ссыльных и заключенных. Кажется он, Бонч-Осмоловский, и был инициатором этой идеи: у него первого зародился такой план организации студентов всех высших учебных заведений в данном городе.

Но чисто студенческие дела, хотя бы в масштабе всего питерского студенчества, не удовлетворяли нас и не исчерпывали нашу мощную энергию. В первые же месяцы нашего пребывания в Питере, помню, прошло несколько сходок по поводу стачки рабочих какого-то большого питерского завода. Помню оратора на этих сходках — Гурвича Исаака Адольфовича (вскоре арестованного и высланного), и Шиловцева, тут же собиравших в шапку деньги для забастов-

вавших рабочих. Вспоминаю немногочисленную сходку и у нас на квартире; на сходке трактовался вопрос «о хождении в народ», точнее — о способах селиться среди сельского населения, и о работе среди городских рабочих. Из говоривших на этой сходке вспоминаю Антона Степановича Борейшо. С ним тогда я не познакомился и фамилии его не знал, но много лет спустя, встретившись с ним, вспоминали мы прошлое, и он допускал возможность своего присутствия и выступления на этой сходке. Устроителем этой сходки был Шполянский, который стремился связаться с активными революционными кругами. Может быть, и тогда уже он вступил в какие-либо обязательные отношения к активным народникам. Собирал он деньги, налаживал связи, распространял нелегальную литературу. Во всем этом я деятельно помогал ему. Так, например, взялся однажды отнести порядочный тючок литературы на квартиру студентов; где-то на Малой Дворянской улице, недалеко от домика Петра I. Шел я через Тучков мост и Петропавловскую крепость, через которую тогда свободно пропускали прохожих, обвитый под пиджаком связками литературы, одетый в приличное джентльменское пальто, тогда ведь формы у студентов не было, и штатский костюм мой, сшитый нашим каменец-подольским портным (венской школы), был еще свеж. Это была первая моя конспиративная экскурсия в Питере, — поэтому, должно быть, я ее так ясно помню. Пришлось потом довольно часто совершать такие походы, так как литература шла ходко среди студентов; в библиотеке Медико-хирургической академии ее почти открыто продавали дежурные библиотекари. Впрочем, это продолжалось только до разгрома библиотеки, который произошел после демонстрации студентов всех учебных заведений Питера, направившихся к дворцу наследника. Об этой демонстрации, думаю, не мешает вспомнить.

II

В Харькове произошли какие-то студенческие «беспорядки», кончившиеся избиением студентов полицией. Письма об этом возбудили у студентов других высших учебных заведений естественное желание протестовать и добиться, что-

бы таких избиений не происходило больше. Во всех высших учебных заведениях Питера по этому поводу устраивались сходки и совещания, но «общие» сходки с участием студентов по возможности всех учебных заведений происходили в Медицинской академии. Там были обширные аудитории, а порядки считались наиболее свободными и прочно установившимися. Сходки происходили очень часто, без всяких препятствий со стороны начальства; начальника академии генерала Быкова зачастую вызывали на сходку, и он давал свои объяснения. На этих сходках после длительных дебатов решено было выработать заявление от студентов всех высших учебных заведений, в котором нужно было указать на невозможность продолжения учения, если не будет ограничен произвол полиции. Петицию эту решено было подать тогдашнему наследнику (будущему Александру III), который должен был присутствовать на торжественном акте в Технологическом институте. Как ни странно может показаться это в настоящее время, но факт тот, что тогдашняя радикальная молодежь пошла на это бессмысленное, казалось бы, действие под влиянием активных революционеров. Защищали это мероприятие: Плеханов (уже нелегальный «Жорж»), которого я тогда впервые увидел, Поливанов, Марковский и другие. Против демонстрации сильнее всего говорил Чудновский.

Главная цель этой демонстрации заключалась в том, чтобы показать пример, необходимость коллективного протеста. Думаю, что многие участники, в частности и я сам, не были уверены, что нас не избыют и, наверное, не думали, что правительство во всем так и уступит. Хотелось только показать, что Россия живет в таком царстве бесправия, где даже простая просьба учащейся молодежи, чтобы с ней не расправлялись, как с уличными хулиганами, считается преступной. Нужно еще сказать, что относительно «наследника» ходили слухи, что он недоволен господством «немцев» при дворе царя, что вообще он не в ладах с отцом и не одобряет последние полицейские мероприятия правительства.

Атмосфера тогдашнего «общества» была довольно благоприятна для такой манифестации. Исход только что кончившейся войны никого не удовлетворил, а война вскрыла снова продажность, своекорыстие, вопиющие непорядки, ца-

рившие в русской бюрократии, и поголовное взяточничество — вплоть до великих князей. Самые умеренные круги столичного общества говорили о невозможности сохранять неизменными порядки самодержавия. Можно было надеяться, что пример молодежи заставит и общественные элементы, земские, например, и лучших из служащих в чиновничьих сферах произвести давление на царя и его присных. Мне кажется, что в огромном большинстве тогдашних граждан этот план возбуждал сочувствие, и только крайняя, холопская трусость, так присущая «российскому гражданину», готовому петь «боже, царя храни», когда его бьют почем-зря нагайкой, удержала массу от присоединения к нашей демонстрации.

Итак, было решено: «итти!» Всего собралось человек 400—500 студентов разных высших учебных заведений. Все мы толпой быстро вышли на улицу и, выстроившись в колонну по 4 в ряд, двинулись к деревянному разводному мосту, соединявшему тогда Выборгскую сторону с Литейной частью Питера. Полиция, которая, конечно, «все знала» и давно наблюдала за академией в лице самого полицеймейстера части с околоточными и десятком-двумя городовых, бросилась разводить мост. Очевидно, не желая заранее сосредоточивать около академии большие полицейские и военные силы (они, как потом оказалось, были сосредоточены около Технологического института), полиция рассчитывала задержать нас разводкой моста, но это не удалось. Должно быть, мостовые рабочие, разводившие мост, умышленно медлили (рабочие, несомненно, сочувствовали нам), и поэтому, несмотря на то, что городовики бросились помогать рабочим снимать настил, вертеть ворот и пр., мы успели всей массой навалиться на немногих городовиков, пытавшихся нас задержать при входе на мост, и, перескакивая через образовавшуюся трещину, перебежать мост, а затем стройной колонной пошли по тротуару, нигде не задерживая движения ни пешего, ни конного. Некоторые пешеходы, узнав из наших ответов на ходу о цели демонстрации, выражали сочувствие, другие настолько заинтересовывались, что начинали следовать за нами, так что скоплялась все большая и большая толпа.

На Литейном проспекте впереди нас вышла из какого-то

переулка целая рота солдат во главе с офицером, скорым шагом пересекла улицу и выстроилась поперек ее, преградив таким образом живую стеною вооруженных солдат все движение. Преграда была придумана ловко, и вряд ли бы нам удалось силою прорваться через эту живую стену, но, к счастью, дело кончилось без насилия. Колонна наша, подойдя вплотную к солдатам, остановилась, а один из товарищей (Л. В. Урсынович), подошел к офицеру, недостаточно, быть может, инструктированному начальством, и своим тактичным обращением к нему и объяснением нашего шествия совершенно его обезоружил: офицер согласился пропустить эту мирно и стройно идущую колонну студентов. Солдаты сдвинулись с тротуара, и мы снова быстро зашагали к Невскому проспекту. Неожиданно для полиции, которая, как я говорил, думала, что мы пойдем к Технологическому институту по Владимирской улице, мы вдруг повернули по Невскому к Аничкову дворцу, где жил наследник *. На Аничковом мосту была сделана еще одна попытка задержать нас цепью городовиков, но мы не церемонились с городовыми: навалились на них всей массой и прорвали их цепь в нескольких местах. На моих глазах, когда один усердный городской вцепился было в товарища Лозинского, тотчас же десяток рук схватил его самого и оттащил прочь. Должно быть, городовикам не велено было употреблять оружия и вообще прибегать к «крайним мерам».

Так подошли мы к железным воротам, которые с треском перед самым нашим носом захлопнулись, и за ними тотчас же появилась караульная рота с офицером. Откуда-то неожиданно появился и тогдашний петербургский градоначальник Зуров и вступил в переговоры с нашими депутатами. Уверял он, что наследника нет во дворце (и действительно его, кажется, не было в это время ни в Технологическом институте, ни во дворце), а наши депутаты настаивали на личной передаче петиции наследнику. Покончили тем, что Зуров обещал «честным словом офицера» передать петицию лично наследнику и сообщить студентам ответ на петицию, участников манифестации не арестовывать, а мы

* Поворот этот был сделан потому, что товарищи, приехавшие из Технологического института навстречу, сообщили нам, что наследника нет в институте.

обязывались мирно разойтись. Действительно, мы мирно разошлись и стали ждать ответа. Через несколько дней он и получился: на стенах университета, академии и других институтов было вывешено объявление, что петиция подана «незаконно и оставлена без последствий».

Мало того, через несколько дней библиотека Медицинской академии была окружена большим отрядом полиции, жандармов и казаков, в то время, когда в ней происходила большая сходка. Почти все участники сходки были арестованы и отведены в ближайший манеж *.

Только незначительное число студентов успело скрыться и избежать ареста, перебравшись через стену в соседний сад или скрывшись в прилегающих квартирах некоторых профессоров. Кстати, к таким профессорам принадлежал и знаменитый анатом Грубер, который в подобных случаях был всегда на стороне студентов, а не полиции. Арестованные просидели в манеже около недели, затем жандармерия отобрала несколько человек и выслала в северные губернии, несколько человек были исключены из академии, прочие выпущены без всяких взысканий.

Эта история, конечно, не могла не отразиться на других учебных заведениях, и вот опять стали собираться сходки, которые в университете кончились тем, что участники их были преданы университетскому суду. По старому уставу такой суд составлялся из профессоров и судил проступки студентов. Суд приговорил несколько человек к аресту при университете, десятка два студентов — к выговору, а остальных человек 200 — к замечанию. Ни полиция, ни жандармерия никакой добычи не получили. Приговором суда остались довольны и студенты, на первой же лекции встретившие апплодисментами председателя суда профессора Таганцева, который тогда пользовался репутацией либерала. Мне кажется, что профессура и студенчество в молчаливом согласии исходом этого дела в университете хотели подчеркнуть для широкой общественности преимущества самоуправления, хотя бы и куце, перед жандармско-полицейскими расправами.

* За точность и подробности этого события не ручаюсь, так как передаю по рассказам товарищей.

Таким образом, мы, новички, очень быстро на собственной практике ознакомились с бурями студенческой жизни. Этому ознакомлению очень способствовали наши «каменчане», раньше нас попавшие в Питер: Шполянский-старший и Колпакчи, которые свели нас с радикальным кружком саратовцев (Ченыкаева, Дубровина, Блёка, Федорчуковой и пр.), а с другой стороны (старался сблизить нас с радикалами брат нашего товарища Леонтия Урсыновича, Антон Владиславович Урсын *, о котором не мешает сказать подробнее.

Антон Урсын, будучи студентом Петербургского университета, уже в 1874 году был выслан из Питера на родину «за деятельное участие в студенческих беспорядках», а затем в Архангельскую губ., в г. Пинегу, за пропаганду революционных идей среди молодежи. Его жена, студентка фельдшерских курсов (у нее я познакомился с женой Степана Ширяева Анной Дмитриевной Долгоруковой), женщина очень энергичная, добилась у генерала Дрентельна разрешения на переезд Антона Урсына из Пинеги в Астраханскую губ. Проездом из Пинеги в Астрахань Антон Владиславович и прожил, конечно нелегально, у своей жены в Питере и успел не только свести нас с радикальной молодежью, но и познакомил с «студентскими трактирами», т. е. такими, где преимущественно бывали студенты. Побывали мы с ним и в «танцклассе» Марцинкевича, очень популярном тогда среди тех студентов, которые не прочь были потанцевать.

Из лиц радикальной среды, с которыми я познакомился тогда, помимо упомянутых раньше студентов университета, вспоминаю Лаврениуса, Якимова, Сахарова, Чугаева и Долгополова. С ними я сталкивался по студенческим делам (библиотечным) и по конспиративным делам (распространение литературы, сбор денег и пр.) и тогда, когда наша обшарпанная квартира распалась (Шполянский уехал в Каменец-Подольск, а я, Коновкин и Урсынович расселились в отдельные комнаты, чтобы лучше подготовиться к экзаменам).

* Фамилия обоих братьев была двойная: Урсын-Урсынович, но как-то так случилось, что старший Антон шел под фамилией Урсына, а младший, Леонтий (наш), под фамилией Урсыновича.



Дирдовский
Николай Петрович
С фотографии 1929 г.



Васильев
Макарий Николаевич
С фотографии 1925 г.

Вращаясь в периферии действовавшей партии, я, конечно, не принимал участия в разделе единой партии на две («Народная Воля» и «Черный Передел»), но о том, что такой перелом готовится, я слышал. Точно так же я не мог участвовать и в подготовке дела Мирского (13 марта 1879 г.) и Соловьева (2 апреля 1879 г.), но, занимаясь распространением нелегальной литературы, я, конечно, наблюдал, какое впечатление на широкие круги произвели эти акты. Покушение Мирского, его удачное бегство на всех производило импонирующее впечатление. Не помню ни одного отрицательного отзыва. Все понимали этот акт, как вынужденный насильями правительства акт возмездия и отпора. Точно такую же оценку получил и подвиг Соловьева среди огромного круга мыслящих граждан. Только определенно черносотенные слои мелкой буржуазии да дворянско-бюрократическая верхушка были определенно враждебны таким выступлениям против царя. Объяснение подобных актов дворянской злобой против царя за освобождение крестьян, распространявшееся, говорят, после каракозовского покушения, как-то выдохлось, благодаря, очевидно, своей нелепости, так как всякому и из «народа» видно было, что дворяне очень недурно живут, получив очень большие деньги в виде выкупных платежей. Самые темные умы ограничивались утверждением: «Студенты (или еще «поляки») бунтуют!» А почему же бунтуют? На этот вопрос мало-мальски мыслящий российский гражданин мог неожиданно даже для себя ответить: «Да что же? Разве хорошо живет-то в России? Порядки у нас аховые! Вот, например...» И приводились какие-либо примеры действительно возмутительных порядков. Такова была, по моим воспоминаниям, общественная атмосфера, в которой появилась и назревала террористическая тактика «Народной Воли».

IV

На лето 1879 г. я решил остаться в Питере и заняться уроками; ближайшие товарищи мои все выехали: кто на урок, а кто в Каменец-Подольск, где и разыгралось «дело Крыжановского», захватившее некоторых из наших товарищей по каменец-подольскому кружку. Никакого участия

в этом деле я не принимал и узнал подробности о нем только из рассказов бывших в Каменце в то время товарищей, а вообще это дело и теперь еще ждет подробного освещения по архивным материалам.

Как я уже упоминал, после отъезда нашей группы из Каменца дела нашего каменец-подольского кружка переданы были Маркелу Шпиркану, который осенью же 1878 г. развил большую деятельность. В кружок принято было много лиц, помимо гимназистов. Вступили в кружок бывшие семинаристы: Крыжановский, Турович, Стопневич; чиновники: Казачковский, Орловский и другие. Цели кружка расширились: кроме самообразования и распространения нелегальной литературы, выдвинута была, как главная цель, пропаганда среди народа через сельских учителей. Турович был сельским учителем. Сношения этого кружка с петербургской народнической организацией велись, несомненно, через И. Л. Шполянского, который и зимой наезжал в Каменец-Подольск из Питера и доставлял кружку революционную литературу. Замышлялась даже организация типографии. Для приобретения средств на революционные цели был выдвинут план экспроприации казенных сумм, пересылаемых по почте.

Такая экспроприация и была совершена Крыжановским в то время, когда в Каменце жил Шполянский, а Шпиркан, по получении аттестата из гимназии, временно уехал к отцу. Крыжановский почти тотчас же после налета был арестован вместе с деньгами. Начались аресты, захватившие многих лиц, так как некоторые из арестованных (Стопневич, Турович) давали очень откровенные показания. Шполянский успел скрыться за границу и спустя год застрелился в Париже при невыясненных для меня обстоятельствах. Крыжановский, Шпиркан, Казачковский и Турович попали на казнь, никто из старых членов нашего кружка, кроме Шпиркана, не были привлечены к этому делу.

Все лето 1879 г. я мирно прожил в Питере, имея несколько уроков, которые давали мне довольно значительный приработок к маленькой стипендии, которую я стал получать со 2-го курса. Из учеников моих того времени запомнился юноша Кошкаров, которого я готовил в Пиротехническое училище, и то потому, что мать его, по первому мужу Дубровина, была матерью офицера П. А. Дубровина, казненного

в том же 1879 г. (апрель). Болезненная женщина, совершенно подавленная гибелью своего сына, рассказывала мне, как она безуспешно умоляла великого князя Николая Николаевича пощадить жизнь сына, ссылаясь на его легкую ненормальную возбудимость, под влиянием которой он и оказал вооруженное сопротивление при аресте. Конечно, все было напрасно: Дубровин был повешен. Так совершенно случайно натолкнулся я еще раз на людей, на факты, которые заставляли задумываться и определить свое отношение к террору. Тогда ни сущности, ни подробностей дела Дубровина я еще не знал: официальное сообщение было очень кратко, но тем не менее сочувствие мое было на стороне этого совершенно неизвестного мне протестанта против существующих порядков.

V

Когда кончились каникулы, из Каменца приехала для того, чтобы поступить на медицинские курсы, Роза Франк, очень развитая, умная, энергичная, жизнерадостная девушка, наша общая любимица. К сожалению, ее постигло в Питере большое горе. Ее сестра вскоре после приезда Розы заболела и умерла. На ее похоронах я познакомился с бывшим каменецким гимназистом Штамером, тогда уже писателем. У жены его друга, тоже кончившего гимназию в Каменце, литератора Котелянского, тогда уже умершего, и поселилась Роза Франк. Запомнилось все это потому, что на квартире этой вдовы (по имени, кажется, Ольги Сергеевны), в каком-то переулке в конце Знаменской улицы, кроме Франк, поселились М. Шполянский, старший брат моего друга И. Шполянского, и его приятель медик Колпакчи, и организовалась своего рода штаб-квартира каменчан, где бывали все мои товарищи по гимназии, — спорили, обменивались сообщениями, брали нелегальную литературу. Хотя жил я далеко на Васильевском острове, занимая там комнату в счет платы за урок, но бывал в этой квартире очень часто. Усердно посещал я и университет не только ради лекций, но и потому, что опять-таки работал по выборам и в столовой, и в библиотеке. Товарищи мои, Конов-

кин и Урсынович, тоже жили на Васильевском острове, и у первого из них я познакомился со студентом Горного института Рысаковым, очень сдружившимся с моим товарищем Н. П. Коновкиным. У меня — особенной близости с ним не наладилось. Был он еще очень юным, года на 2, на 3 моложе меня, очень способным, блестяще окончившим реальное училище и благодаря этому был молодым человеком с большим самомнением. Это самомнение, может быть, и отталкивало меня от него, хотя я всячески и всегда готов был помогать ему, в особенности, когда узнал, что он довольно «деятельно помогает революционерам в очень рискованных делах». Таким только намеком дано было мне (из конспиративности!) понять о его роли. Он со своей стороны вполне доверчиво относился ко мне. Поручил мне (правда, впоследствии) свего приятеля по реальному училищу, сына богатого купца, в качестве как бы ученика в области общественных наук, пользовался моей квартирой для свиданий, о чем я расскажу потом подробнее, но близости у нас не было. Там же, на Васильевском острове, на квартире жены старшего брата нашего товарища Леонтия Урсыновича, познакомился я с женой Степана Ширияева — Анной Дмитриевной Долгоруковой. С самим Ширияевым я не встречался, хотя его лично знали по гимназии не только мои знакомые саратовцы, но и товарищ мой К. Лозинский.

С группой саратовцев (Блэк, Семенов, Федорчукова) вошли мы (Недзельский, Лозинский и я) в кружок изучения экономических вопросов. Целью этого изучения была подготовка к пропаганде в рабочей среде. Выработывали мы и обсуждали, что и как говорить и разъяснять по экономике в рабочей среде. Помню, что для этого кружка писал я реферат «О крестьянском землепользовании после освобождения». Помню и главный источник: книжку профессора Янсона по этому вопросу. Впрочем, занятия с этим кружком происходили уже тогда, когда я переселился на другую квартиру на Гагаринской улице, т.е. в начале 1880 года. Помню, что гул от взрыва в Зимнем дворце был хорошо слышен в доме на Гагаринской, так что я вместе с другими выбежал на двор, но, разумеется, ничего сразу не узнал.

Кажется, в этом же 1880 году произошла так называемая «Шаталовская история» в нашем университете. По ка-

кому-то поводу, — какому именно, я совершенно не помню, да в дальнейшем первоначальный повод совершенно не играет никакой роли, — студенты выработали на сходке петицию, подписали ее и через депутацию в 3—4 человека подали ректору. Хотя «сходки» по закону воспрещались, но в университете держался еще обычай терпимого отношения к «сходкам» и «коллективным заявлениям», если они не переступали известных весьма неопределенных пределов и норм. Так и в данном случае дело могло кончиться вполне мирно: ректор принял от делегатов нашу петицию; повидимому, не нашел ни в ней, ни в способе вручения ничего криминального, сказал даже, что, вероятно, совет удовлетворит желание студентов, но тут вышел казус... Присутствовавший при всей этой сцене декан факультета восточных языков (проф. Васильев), известный черносотенец, взяв из рук ректора лист петиции с подписями студентов, сказал: «А фамилии этих студентов будут интересны кое-кому». Не успел он договорить, как Шаталов, студент 4-го курса, математик, один из депутатов, стоявший ближе всего к декану, ухватился за листы, говоря: «Ну, нет! Вы лучше оставьте это»... и стал тянуть листы к себе. Васильев же с криком: «Вы не имеете права вырывать у меня из рук!» — тянул к себе... Не успели присутствовавшие профессора и студенты вмешаться в происходившую борьбу, как листы оказались разодранными, и Васильев с криком: «Это оскорбление в присутственном месте!»... — убежал в кабинет ректора, куда за ним ушли ректор и другие профессора. Студентам ничего не оставалось делать, как тоже удалиться.

На следующее утро было вывешено объявление, что Шаталов исключается из университета за оскорбление профессора «в присутственном месте». Конечно, в тот же день на всех курсах обсуждалось это дело, а на следующий день университет был полон, как никогда, и устроена была общая сходка в большом зале для выработки мер защиты Шаталова. Сходке хотел помешать инспектор студентов, но его не послушали. Появился ректор, сказавший, что дело Шаталова передается университетскому суду. Поднялись крики: «Судите всех нас! Мы солидарны с Шаталовым!» Тотчас же появились листы бумаги, которые и покрылись подписями. Судебный приговор был еще мягче решения рек-

тора. Никого не исключали и не арестовывали. Шаталова, правда, удалили из университета, но с правом осенью (а не весной) держать выпускной экзамен. Участникам сходки объявили выговор «за неисполнение распоряжения инспектора».

Это снисходительное отношение к «волнениям» студентов объясняется не только тем, что в Петербургском университете господствовало либеральное направление профессуры, но и тем, что тогдашний министр просвещения граф Д. Толстой возбудил против себя даже самые умеренные круги русского общества. Все надеялись, что с его удалением положение станет, хотя бы в гимназиях, а университетские профессора надеялись, что им дадут университетское самоуправление. Надежды эти тянулись целый год и, увы, как мы увидим, не сбылись...

Как известно, после взрыва во дворце диктатором назначен был Лорис-Меликов, человек с «диктатурой сердца» на языке, так он сам говорил, и с виселицей в руке, как оказалось на деле. Покушавшегося застрелить его Млодецкого он приказал повесить в 24 часа...

Рано утром 22 февраля вышел я зачем-то на Литейный проспект и натолкнулся на процессию, которая сначала показалась мне обычным шествием войск на парад; впереди ехала целая сотня казаков. Но тотчас же я рассмотрел, что за казаками, окруженная тесным кольцом пехотных солдат, медленно ехала черная колесница, на верхней лавке которой, привязанный к ручкам скамьи ремнями, покачивался человек, одетый в черный балахон, в безобразной черной шапке, из-под которой глядело бледное молодое интеллигентное лицо с небольшой русой бородкой и усами. «Это Молодецкий! — мелькнуло у меня в сознании. — Его везут вешать!» С этого момента я оказался как бы прикованным к этой процессии. Совершенно машинально я продолжал шагать за ней, несмотря на то, что мелькала мысль о бесцельности этого сопровождения. У меня в этот день была практическая работа в физическом кабинете университета, которой я очень интересовался и никогда не пропускал, но время для работы начиналось с 1 часу дня «Успею!» — мелькала мысль, и я шел и шел, страшно возмущенный и вместе с тем подавленный своим бессильем... Молодецкий пы-

тался, повидимому, говорить, но ничего невозможно было расслышать из-за барабанного боя, под звуки которого совершалось шествие. Толпа все нарастала, но в ней я не замечал ни возмущения, ни злорадства... На Николаевской улице я постарался обогнать процессию, надеясь попасть поближе к эшафоту, но напрасно: Семеновский плац был полон народа; попал я так далеко от эшафота, что не только нельзя было ничего слышать, но и видел я только верх эшафота, столб и виселицу... У столба привязанная фигура человека стоит несколько минут... Потом палач одевает ее в саван, подводит к виселице, и белая фигура, покачиваясь и вздрагивая, висит на веревке... Барабанщики бьют дробь, фигура вздрагивает... судорожно вытягивается и замирает...

Как только палач спустил тело вниз, я стал проталкиваться с Семеновского плаца и тихонько побрел к университету. Для чего я решился смотреть казнь, я и тогда не мог понять: было что-то похожее на «наваждение» по понятиям суеверных людей.

«Что с вами случилось?» Таким вопросом встретил меня мой товарищ по работе в физическом кабинете, когда я зашел к нему, чтобы немного отдохнуть. «На вас лица нет! Что такое?» — продолжал он расспрашивать. И когда я ему рассказал, где я был и что видел, он, качая горестно головой, долго журил меня. А между тем я не чувствовал, чтобы казнь через повешение произвела на меня устрашающее впечатление. «Смерть, как смерть, и довольно быстро!» — запечатлелось у меня в сознании. Впоследствии, помню, я иногда спорил, отрицая преимущества расстрела или гильотины перед веревкой.

VI

Выдержав экзамены на третий курс, на лето я уехал в г. Кинешму, чтобы по рекомендации учителя Пажееского корпуса Сербулова подготовить по математике сына начальника местной команды подполковника А. Подполковник был поразительно похож на Александра II (говорят, он был «незаконным» сыном Николая I), служил в молодости в кавалергардах, был богат, блистал в свете и при дворе, но скоро прожил не только свое наследственное состояние, но и при-

даное жены, дочери воспитателя Александра II, генерала М., бывшей до замужества фрейлиной у царицы. Человек недалекий, усвоивший только внешний лоск европейской культуры, не обладавший никакими знаниями, кроме французского языка и кавалерийской службы, он тем не менее считал себя обиженным судьбою и «высшим светом», занимая «жалкую», как он говорил, должность начальника местной команды. Жена его, некрасивая пожилая дама, типичная «смолянка», говорившая на трех языках и тем не менее поразительно невежественная во многих, казалось бы, обязательных для каждого интеллигента понятиях и фактах, была все-таки умнее своего мужа и с большим достоинством переносила удаление от «большого света», вспоминая с грустью, как она когда-то с «шифром» на плече присутствовала при приемах во дворце. Благодаря протекции ее братьев, оставшихся в «высших сферах», сын их «Жорж» (конечно, по-французски!) был принят в Пажеский корпус, а муж держался пока еще на службе.

В этой-то семье, довольно типичной разновидности русского барства, предстояло прожить мне лето. Прожил я недурно. «Парлэ франсэ», «не есть рыбы с ножом», «дансэ» и пр. и пр. я умел, а они оказались обыкновенными русскими обывателями, недурными в житейском обиходе. Через них познакомился я и с обывателями Кинешмы, которая только что начала разворачиваться в крупный промышленный центр. Строилась огромная фабрика купца Разореных. С доктором Шангиным на лодке мы побывали на строящейся фабрике, где для меня все было интересно: и владелец, бойкий, очевидно, умный купец, одетый в русский костюм, т. е. в косоворотку, плисовые штаны и высокие сапоги, и один из его помощников, Асфальт Иванович, как его звали рабочие, специалист по асфальтированию (тогда новому производству), и англичанин, монтер, привезенный вместе с машинами из Англии, ни слова не понимавший ни на каком языке, кроме английского, и крестьяне ближайших к фабрике деревень, все перешедшие в 61-м году на даровой надел, на труд которых и рассчитывал купчина, ставя свою фабрику.

А за речкой Кинешемкой, на горе, в большом хвойном лесу сохранились еще остатки старины глубокой: староверче-

ское кладбище (беспоповцев) и при нем небольшая избушка с крестом на коньке крыши, — остаток когда-то существовавшего тут «скита». В избушке жил, как говорили, «столетний» старец, седой, очень благообразный, довольно крепкий, хотя и с ослабленными слухом и зрением, грамотный, который «помнил» нашествие французов на Москву в 1812 г. Но ничего интересного узнать мне от него не удалось. Был он в 1812 году уже женат, имел детей и жил в «Зарядье».

Кроме А., давал я уроки по математике еще одному юноше, жившему у доктора Шангина, так что заработал я в это лето порядочно и решил после того, как ученик мой успешно сдал экзамен в Пажеском корпусе, съездить в Каменец-Подольск проведать родных.

В своей семье в Каменце нашел я большие перемены. Отец сильно дряхлел, брат Дмитрий бросил реальное училище, занялся слесарством и готовился в телеграфисты, младший брат тоже явно не хотел кончать гимназии и, очевидно, решил поступить вольноопределяющимся в юнкера, что действительно потом и сделал. Одна мать за эти два года мало изменилась. Из старых товарищей по кружку нашел я только Блавдзевича, тогда уже студента-медика Киевского университета. Прогостив в Каменце дней десять, я уехал снова в Питер.

Поселился я снова со своими товарищами-медиками, хотя квартиру они нашли в Литейной части, чтобы быть ближе к академии, и мне приходилось шагать в университет довольно долго (конками я пренебрегал), но это случалось далеко не ежедневно, т. к. я решил посещать только таких профессоров, как Чебышев, и практические работы, а больше занимался сидя дома, когда мои сожители слушали лекции в академии. Между тем среди студенчества во вторую половину 1880 года заметно было особое оживление. «Надежды» на лучшее будущее в обществе продолжали жить. Сабуров, новый министр просвещения, говорил либеральные речи. Профессор университета сообщил нам, что «высшие сферы» убедились в необходимости изменить существующий университетский устав в сторону расширения самоуправления, что правительство готово принять во внимание по этому вопросу не только мнения профессоров, но и студентов. Начались

сходки, и курсовые и общие, хорошо организованные, часто под руководством кого-либо из профессоров.

Помню хорошо одну такую сходку или «совещание» под председательством декана нашего факультета проф. Меншуткина. Присутствовали представители всех курсов физико-математического факультета для обсуждения объединения и утверждения проекта нового университетского устава, предварительно обсуждавшегося по курсам. Совершенно серьезно профессор Меншуткин руководил прениями и утвержденный собранием проект устава взял с тем, чтобы при выработке правительственного проекта принять во внимание этот проект, как желательный студентам, выражающий требования тех условий, при которых академические порядки наилучше обеспечивали бы учащимся возможность приобрести наибольшую сумму знаний. Надежды на успех этих пожеланий были у очень многих: ведь желаемая автономия академической жизни была не больше той, которая существовала в немецких университетах. Но самодержавие и тут не хотело уступить. К февралю 1881 г. все надежды были потеряны, и на университетском акте Сабуров получил пощечину от Подбельского, как возмездие за его гнусную роль и как протест революционно-настроенного студенчества против самодержавного строя.

В подготовке этого акта я не участвовал, так как не состоял членом Центрального студенческого кружка, основанного, как говорят, Желябовым. С ним я встретился однажды при других обстоятельствах. Тогда деятельность членов партии среди студентов и рабочих тоже оживилась. Происходили часто диспуты между народовольцами и чернопередельцами. На одном из таких собраний я и слышал Желябова. Помню еще какое-то собрание на квартире Тычинина, на Выборгской стороне, в каком-то переулочке вблизи академии, на котором я мельком видел Перовскую, которая, переговорив с Тычининыным, скоро ушла. В связи с знакомством с Тычининыным помню какой-то поход свой в рабочий район. Исполняя многие поручения, я формально ни к какой организации не принадлежал, хотя вполне примыкал по убеждениям к партии «Народная Воля». Такую же позицию занимали, как мне кажется, и ближайшие мои товарищи: Урсынович, Недзельский, Лозинский,

тогда как Коновкин уже в конце 1880 года вступил в организацию пропагандистов среди рабочих. Рысаков, его близкий друг, был тогда уже нелегальным. К Рысакову Коновкин относился не только любовно, а прямо с благоговением, что меня даже шокировало, так как Рысаков не нравился мне за то, что он проявлял большое самомнение. Из намерков Коновкина я понимал, что это отношение к Рысакову основано на том, что Коновкин считал Рысакова обреченным человеком, но Коновкина я очень ценил и считал его способным на самопожертвование не менее, чем Рысакова, поэтому досадовал на Коновкина за его преклонение и еще более отчуждался от Рысакова. Конечно, никто и мысли не имел тогда о том, на какую подлую измену был способен этот, казалось бы, такой прямой, талантливый, энергичный юноша.

VII

Не помню, у кого именно из нас и по какому поводу явись мысль встретить наступающий 1881 г. торжественно, в более или менее многолюдной компании. Многолюдных собраний у нас обыкновенно почти не бывало; сходились мы запросто, попить чайку, небольшими группками в 4—5 человек, причем отводили душу в приятельской беседе и обсуждали и налаживали кое-какие и конспиративные дела. А тут захотелось почему-то устроить, что называется, «бал». Приятелей у нас троих (Недзельский, Лозинский и я) было немало, да и квартиру мы случайно занимали подходящую. Втроем мы занимали две очень приличные большие комнаты, да хозяйка занимала тоже две комнаты, да еще большую светлую кухню. Все это помещение могло на ночь под новый год поступить в наше полное распоряжение, так что собрать мы могли довольно много народа. Решено было приглашать только хорошо известных, знакомых всем нам товарищей. Расходы, разумеется, раскладывались на участников. Предполагались угощение (чай, ужин), дружеская беседа (политические дебаты воспрещались), игры и танцы, для чего через нашу хозяйку приглашен был платный гармонист. Действительно, собралось у нас довольно много народу. Тут были, кроме нас, каменчан, саратовцы (Дубровин, Семенов, Фе-

дорчукова), студентки из кружка Розы Франк (Шатуновская, Рыковская, Горенко, Коган), моя ученица, казачка Кузнецова, кое-кто еще. С Коновкиным пришел Рысаков.

Вечер прошел весело и хорошо. Хотя, несмотря на запрещение, поднимались «идейные» разговоры: так, Дубровин поспорил с Рысаковым о программах партий «Народная Воля» и «Черный Передел», но такие споры скоро прекращались. Как будто все остались довольны. Встретили новый 1881 г. всякими пожеланиями, не зная, по всечеловеческому обыкновению, «что день грядущий нам готовит»... А готовил он, этот год, многое и важное, как в общественном отношении, так и в личном для многих участников этого вечера.

Вскоре после этой вечеринки мы, опять-таки трое, вместе с нашей хозяйкой переменили квартиру, переселившись на Кирочную улицу. На этой новой квартире мы выбрали себе одну очень большую комнату, в которой обыкновенно оставался я чуть ли не весь день в одиночестве. Мои товарищ-медики с раннего утра и до вечера работали в своей академии, а я, как уже говорил, ходил в университет не каждый день. Имея это обстоятельство в виду, я предложил не то через Коновкина, не то через Тычинина воспользоваться моей квартирой для дневных конспиративных свиданий, для которых она, по-моему, была очень удобна. Вход в квартиру был в глубине двора, ворота которого против окон квартиры никогда не запирались и при них не бывало сторожевого дворника. Во дворе был какой-то склад, около которого был сторож; во двор въезжало много извозчиков и ходило много народу; у подъезда нашей квартиры швейцара не было; хозяйка, прачка тоже были безопасны. Итак, условившись о днях недели, о часах дня, знаках безопасности и пароле, я разрешил пользоваться моей комнатой как местом конспиративных свиданий.

Однажды на свиданье с Рысаковым пришел ко мне высокого роста, крепкого телосложения молодой человек, — это был, как потом я узнал, Тимофей Михайлов. Поговорив между собой у меня, оба они ушли. Другой раз, придя ко мне, Тимофей Михайлов долго ждал кого-то, так что мы успели с ним закусить кислой капустой, колбасой и черным хлебом и довольно долго проговорили. Из этого разговора

узнал я, что он рабочий, что однажды должен был он скрыться из одного завода, после того, как разбил гайкой голову мастеру. Пospорили мы с ним о том, стоит ли употреблять такие аргументы, как «гайка», в споре с хозяевами и мастерами. Не дорого ли придется расплачиваться за такие действия? Нашли, что, пожалуй, все-таки стоит, но с осторожностью, имея в виду агитационное значение таких фактов на массу. Вообще показался он мне довольно хорошо продумавшим программу «Народной Воли» и крепко веровавшим в необходимость того пути, который был взят партией. Другой раз за Тимофеем Михайловым пришел среднего роста молодой блондин, с небольшой бородкой, с очень симпатичным лицом, кажется, это был Гриневицкий. Дождавшись Рысакова, они ушли, причем Гриневицкий перед уходом переоделся.

Утром 1-го марта я давал урок в доме на углу Невского и Казанской улицы. Выйдя из этого дома, я пересек Невский по набережной Екатерининского канала, дошел до Царицына луга и направился, как всегда я ходил, к Цепному мосту, чтобы дойти до Литейного проспекта, где я обедал в кухмистерской. Выйдя на Литейный проспект, я услышал два удара, как из пушки, разделенные друг от друга некоторыми промежутками времени. Не зная, чему приписать эти звуки, я все же насторожился и, не доходя до кухмистерской, направился к Невскому проспекту. Ничего определенно тревожного заметить в уличном движении нельзя было, хотя кое-какие признаки тревоги показались уже: замечна была некоторая нервность у постовых городских, проскакал какой-то казак. На Невском проспекте мы (ко мне присоединился случайно встретившийся товарищ) заметили уже необычайный поток людей, стремившихся к Аничкову мосту. Через несколько минут пронеслась целая сотня казаков. Появлялись мчавшиеся в ту и другую сторону верховые и пролетки. Тревога была в полном разгаре. Когда мы пришли к Екатерининскому каналу, то проход по Набережной к Царицыну лугу был прекращен сплошной стеной войск. С моста полиция гнала все нарастающую толпу. Потолкавшись тут, мы узнали: «Две бомбы!»... «Карета разбита!»... «Царь ранен».

Придя на Дворцовую площадь, мы нашли ее всю заполнен-

ной народом, стоявшим молча, иногда вполголоса переговаривавшимся.

Никакого возбуждения около нас мы не заметили. Один пьяненький, не то разносчик, не то посыльный, а, может быть, притворявшийся пьяным шпион, стал было приставать к двум солидным господам, когда один из них сказал «ранен, а не убит»: «А вы, господин, почему знаете? Были там?»

«Ничего я не знаю, я вижу: вон флаг висит, а не спущен, — значит царь жив!» — сказал господин и стал искать глазами городских, которые в большом числе прохаживались среди толпившихся людей.

Потом мы слышали, что какая-то группа студентов на этой же Дворцовой площади подвергалась оскорблениям со стороны толпы, но мы, оставаясь на площади до того времени, когда флаг спустили, не видели и не слышали ничего подобного и, мирно протолкавшись через все нарастающую толпу, пошли к себе домой. Недалеко от нашей квартиры встретили мы Штамера, который чуть не упал от радости, когда мы ему сообщили, что царь убит. «А, наконец-то!» Так встретили известие об этом факте не только мы, революционеры, но и либеральные круги. Все, насколько мне помнится тогдашнее настроение этих слоев русского общества, радовались, что революционная партия достигла того, что долго ей не удавалось: казнить царя. Этим она показала свою силу. Либералы «поздравляли», конечно тайком, революционеров с этим успехом. Они видели, какое впечатление произвел этот удар на правительство, которое начало колебаться, сомневаться, не преуменьшало ли оно в своих прежних представлениях силу революционной партии. Либералы, конечно, хотели воспользоваться такой растерянностью высших сфер. Им казалось, что напуганное террористами правительство пойдет на уступки им, земским деятелям, если они взамен будут поддерживать правительство в борьбе с террористами.

Но что последует тотчас же после казни царя? Не произойдет ли революционный взрыв? Были и такие, которые ожидали массовых выступлений, и правительство, повидному, тоже допускало возможность этого, потому что почти все военные части, квартировавшие в Питере, были в один день мобилизованы. Массовых выступлений не было, но не-

ужели событие 1-го марта никак не отозвалось в сознании масс рабочих и крестьян? На мой взгляд несомненным, но не единственным впечатлением от 1-го марта, в сознании масс осталось сознание силы революционной партии. Престиж революционеров очень поднялся в глазах всех — и начинающих мыслить, и черносотенных элементов. Это легко было заметить всякому при пропагандистской и революционной работе в массах.

Но, оставляя в стороне эти важные вопросы о том, что произойдет, мы хорошо знали, что, несомненно, произойдут обыски, а поэтому мы, конечно, «пообчистились», в особенности, когда на следующий же день узнали, что первую бомбу бросил Рысаков. Предосторожность эта с нашей стороны была очень своевременна. Третьего или четвертого марта, когда мои сожители мирно спали, а я еще лежал и читал, дверь нашей общей большой комнаты бесшумно отворилась, — мы ее никогда не запирали на ночь, — и я увидел полицейского пристава, а за ним трясущуюся в одном белье фигуру хозяина квартиры и прочую «эскадру».

— Вы господин Лозинский? — спросил меня пристав.

— Нет, — ответил я.

— Господин Лозинский будут они, — сказал хозяин, указывая на только что проснувшегося Лозинского.

— А позвольте узнать вашу фамилию? — обратился пристав к Недзельскому, который спросонья не успел еще разобраться, в чем дело.

Когда Недзельский сказал свою фамилию, пристав очень удивился, что нашел его здесь и, удостоверившись у хозяина квартиры, что он действительно живет здесь вместе с нами, сказал, что по его справке Недзельский остался в прежней нашей квартире.

Затем пристав объявил нам, что по предписанию ген. Комарова он должен сделать обыск у Лозинского и Недзельского, но так как Шебакин живет совместно с ними, то обыску подвергнется и он.

По окончании обыска, тянувшегося часов до 6—7 утра, пристав объявил, что хотя ничего предосудительного не найдено, но Лозинского и Недзельского ему приказано арестовать, а Шебакина он оставляет на свободе, так как приказа об его аресте не имеет.

Как потом оказалось, вся эта печальная история произошла оттого, что гармонистом на нашей новогодней вечеринке был писец участка. Он по фотографической карточке Рысакова (такие карточки были разосланы по всем участникам) узнал Рысакова и вспомнил, что видел его на вечеринке у Лозинского и Недзельского, а мою фамилию не упомянул или не знал.

На следующий же день я отправился разыскивать своих товарищей. Пристав, которому я объяснил, что я должен знать, где они, чтобы передать им их вещи и пищу, сказал, что оба мои товарища отправлены им к градоначальнику, а больше ничего он не знает.

Так как арест производился полицией, а не жандармами, то можно было надеяться, что дело не серьезно и моих товарищей скоро освободят, но все же узнать, где они сидят, мне долго не удавалось. Из градоначальства меня послали к ген. Комарову, которого, разумеется, мне сразу не удалось видеть, а его чиновники от всяких справок отказались, отвечая, что у них среди арестованных «нет таких фамилий». Генерал Комаров лично, наконец, объявил мне, что он требовал Лозинского и Недзельского, как свидетелей, и затем опять передал их в ведомство градоначальника, что с этого времени он ничего о них не знает и я должен справиться о них у градоначальника. Действительно, я после многих мытарств узнал, что товарищи мои сидят в Коломенской части и им туда можно сделать передачу. Не успел я сделать эту передачу, как они оба были выпущены «без всяких последствий» и скоро уехали из Питера в Каменец-Подольск. В Питере из моих близких товарищей остался только Урсынович, так как Коновкин, перейдя после 1-го марта на нелегальное положение, недолго работал в рабочих кружках и был арестован. Жил я тогда уже один в убогой комнатке на Петербургской стороне и усиленно готовился к экзаменам.

Не желая терять времени на далекий поход в университетскую столовую, стал я обедать в столовой, устроенной Пашковым, очень знатным и богатым баринном-миллионером. Уверовав в евангелие, которое он, впрочем, по-своему как-то толковал, стал Пашков это свое учение распространять сначала среди окружающих его знатных и богатых людей, а

затем пытался распространять его и среди других слоев населения. Последователи его получали название «пашковцев». В чем состояло его учение, я не могу подробно изложить, но знаю, что в евангельском учении он выдвигал идею братства, взаимопомощи. Обязывал он богатых помогать бедным не только материально, деньгами, но и лично общаться с бедными, помогать делом, советом. Так и его столовые обслуживались не только наемной прислугой, но и добровольными сотрудниками из обеспеченных слоев общества.

Столовая производила очень хорошее впечатление: чисто, светло... по стенам развешаны плакаты с евангельскими изречениями (!!). Тут же при входе, у кассы, продавались евангелие и другие «благочестивые» книги и брошюры, в том числе и сочинения самого Пашкова. Иногда видел я его самого, беседовавшего с посетителями. За кассой сидела пожилая дама в очень скромном платье, но, очевидно, добровольная сотрудница, так как у ворота ее коричневой кофточки предательски блестел крупными бриллиантами крестик-брошка, да и лицо ее, которому она старалась придать приветливое выражение, было очень надменное и холеное. Чай разливала, несомненно, тоже дама-добровольца, с очень милым, приветливым лицом, на холеной ручке ее, которой она любезно подавала мне кружку чая, блестел в перстне крупнейший изумруд.

Кушанья были простые (суп или щи с мясом, уха, каша гречневая или пшенная, мясо с картофелем), но свежие и хорошо приготовленные, а главное — очень дешевые. Подавали кушанья молоденькие девушки в белых передниках, таких же чепчиках и нитяных перчатках, в скромнейших костюмах, но, несомненно, из богатых и даже аристократических семей. Одна из этих подавальщиц, когда я, кончив обед, выходил на улицу, выпорхнула за мной из подъезда, уселась в великолепное ландо, запряженное парой вороных лошадей, и покатила домой, кончив, очевидно, свое дежурство.

Это оригинальное своего рода «хождение в народ», завлечавшее меня, недолго, к сожалению, продолжалось. «Незабвенный Вседавишь» (Александр III) скоро выслал Пашкова, кажется, за границу, а все его затеи прекратил.

На лето 1881 г., получил я через того же учителя Пажеского корпуса Сербулова урок у пажа С., которого нужно было «подтянуть» по математике. Отец С. был свиты его величества генерал-майор и командовал лейб-гвардии саперным батальоном. Женат был он также на урожденной С. (С—ов в питерской бюрократии было много). Было у них два сына и дочь. Старшего сына, мальчика лет 13—14, я и должен был учить все лето, живя у них в семье, за очень приличное вознаграждение. Зная несколько весь обиход наших российских аристократических семей, умея в «таком обществе» не выявлять своих политических да и всяких других убеждений и имея уже опыт в этом отношении, я смело взял этот урок и не раскаивался: никаких неприятностей и недоразумений не было. Мальчика я, конечно, подготовил как следует, с его матерью, пожилой, но молодящейся женщиной, и с гувернанткой младшей девочки, русской немкой, установил самые корректные, любезные отношения. Сам генерал, очевидно, считал меня прилежным «хорошим» студентом, не думающим о политике. Жили мы все лето на даче на берегу Невы против саперного лагеря близ г. Ижоры. Генерал, конечно, большую часть времени проводил в лагере, где у него был целый домик, «барак», часто там и ночевал, а мы все время проводили на даче, окруженной недурным парком, катались на лодке и на парусной яхте по Неве, купались, играли в кегли и на бильярде. Занятия мои с учеником отнимали часа 4—5 в два приема. Должен я был и помимо классных занятий исполнять при нем роль гувернера, но все-таки времени и для собственных занятий, чтения и для развлечений было достаточно.

Генерал в свободное от службы время тоже очень любил поиграть на бильярде, на котором играл, к слову сказать, очень слабо, хуже меня. Очевидно, он принадлежал к типу ученого офицерства и в молодости серьезно занимался науками, а не играми. Действительно, это был довольно образованный и развитый человек, пробивший сам себе карьеру и наживший состояние, так как по наследству он почти ничего не получил. На меня он произвел с самого начала очень хорошее впечатление: вежливо и даже ласково, по-интели-

гентски, а не по-барски, встретил он меня, познакомил с семьей и толково, со знанием дела ввел меня в обязанности по отношению к своему сыну. Впоследствии я узнал, что генерал в молодости в капитанском чине был воспитателем при каком-то из великих князей, — отсюда-то и знание воспитательного дела. В семье, с прислугой, с денщиками держался он опять-таки отменно корректно; строго, но вежливо. Даже голос у него был мягкий, звучный тенор. К дочке своей, прелестной девочке лет 5—6, он относился с трогательной нежностью. К сыновьям был строг, «но, как он признался мне во время бильярдной игры, нельзя быть расхлябанным с мальчишками», в чем я вполне был с ним согласен. Во время игры на бильярде он склонен был поговорить «душевно».

— Вы, Василий Денисович, — говорю я ему как-то во время игры, — чем-то озабочены; вот и сделали такой неудачных выход.

— Ах, знаете, Михаил Петрович, — говорит он, — какая мука быть начальством, палкой... А иначе нельзя!..

Другой раз он признался, что во время похода, — он переходил Балканы вместе с Гурко, — он «драл» солдат. «Солдат, — говорил он, — совершил преступление; если я его предам суду, его расстреляют, не лучше ли его только выдрать?».

Впоследствии, присматриваясь ближе к нему, я стал замечать, что все его домашние, начиная с жены, очень его боятся. Поблескивание его карих глаз из-под нахмуренных бровей производило магическое действие на всех, начиная с денщика и кончая женой, несмотря на медоточивый голос. В особенности его боялся мой ученик, когда-то, должно быть, баловень всей семьи, испорченный баловством, а теперь «подтягиваемый», весьма недалекий паренек. Мы с ним скоро сошлись настолько, что он как-то брякнул мне:

— А паша уехал!

— Кто уехал? — переспросил я.

— Папа! Я так папу называю. Его так все в гвардии зовут, — сказал он смеясь. — У, он строгий, — продолжал он, — «Свирепый паша». Знаете, Михаил Петрович, он и меня может выдрать... Прикажет денщикам взять меня, и все... И в его детских глазах светился ужас.

Еще больше раскрылась обратная сторона этого представителя нашей тогдашней правящей бюрократии из рассказов офицеров лагеря, приезжавших иногда к нам в гости на дачу, почти всегда в отсутствие генерала. Молодежь (поручики, корнеты) гуляла с нашими дамами, играла на бильярде и вскоре, познакомившись со мной, нашла возможным откровенно без прикрас охарактеризовать генерала С. Окаывается, он был не только строг, но страшно груб, жесток и несправедлив. Зачастую он, говорящий в обществе таким приятным тенором, орал «непечатные» ругательства перед фронтом, не щадя ни офицеров, ни солдат. Был очень корыстен и умел вести хозяйственные дела не без пользы для себя. Сходило ему многое благополучно благодаря тому, что его знал и любил Николай Николаевич, а С. умел очень хорошо подлаживаться к высшим чинам, в особенности из царской фамилии.

Один или два дня в неделю я бывал совершенно свободен и мог разъезжать куда хотел. Эти дни я употреблял для поездок в Питер, в дачные места по берегам Невы; посетил я также и Шлиссельбургскую крепость, в которой я хотел осмотреть камеру, где жил и был убит Иоанн Антонович. Высадившись с парохода на пристань города Шлиссельбурга, я пошел на другую пристань, откуда брали пассажиров на гребной баркас, ходивший через протоку Невы к острову, на котором расположена была крепость. Тогда в крепости был размещен дисциплинарный батальон, но посетителей для осмотра крепости пускали довольно свободно. Кроме меня, на баркасе оказался еще только один пассажир, одетый очень прилично, даже в цилиндре, желавший переехать в крепость, но он не интересовался камерой Иоанна Антоновича, а хотел, как он сказал, «увидеть то место, где она, матушка, явилась». На мои расспросы он рассказал целую легенду о «чудотворной иконе божией матери шлиссельбургской».

Во времена Елизаветы солдату Шлиссельбургской крепости стала во сне являться божия мать, которая открыла ему, что икона ее заделана в стену крепости. Солдату сначала не поверили, драли розгами, но потом решили осмотреть указанное место и действительно нашли икону. «Икона, — кончил свой рассказ пассажир в цилиндре, — стояла

сначала в церкви посреди крепости, но давно уже перенесена в часовню на берегу канала г. Шлиссельбурга, и там я ей уже молился, а теперь хочу поклониться тому месту, где она явилась».

Выйдя на берег острова, мы поднялись к башне над воротами которой красовалась золотыми буквами надпись: «Государева». Пройдя извилистый ход этой башни, вышли мы на двор крепости в сопровождении проводника — солдата местной команды и, повернув налево в галереи перед бывшими тогда казармами, увидели в небольшой нише старой крепостной стены привешенный к стенке образок с лампадкой перед ним. «Здесь!» — сказал солдат. Пассажир в цилиндре стал набожно креститься. После этого я попросил солдата показать мне башню Ивана Антоновича. Пассажир в цилиндре не пожелал идти с нами, и я с солдатом пересекли площадь налево от церкви, перешли довольно глубокий ров по подземному мосту и вошли в ворота, ведущие в «секретный замок» («старая тюрьма» — по терминологии шлиссельбургских узников 80-х годов). Секретный замок имел только один этот вход, который потом, в 80-х годах, был заложен, а новый ход проделан был в стене, перпендикулярной прежнему направлению ворот. Налево, в углу, поднималась башня Ивана Антоновича, как мне сказали, а через весь двор тянулось низенькое невзрачное здание, в котором тогда помещалась «швальня» батальона. В 80-х годах это здание было перестроено и называлось у нас «старая тюрьма». К сожалению, швальня и башня были заперты, так как время было праздничное, работы не производились, а человека, имевшего ключ, не удалось разыскать, так что, пождав некоторое время, мне пришлось ретироваться, не осмотрев внутренности этих помещений.

На пристани, за чайком, в ожидании парохода в Питер мы разговорились с пассажиром в цилиндре: он оказался одним из «купоров» погребов Зимнего дворца. Расспрашивая о сущности его профессии, я с некоторым интересом выслушал его простодушные рассказы о хозяйственных порядках в столь высоком учреждении, из которых следовало, что порядки эти не ушли далеко от тех, которые господствовали в крепостной дворне помещиков.

Летом 1881 г. был убит на Смоленском кладбище провока-

тор Преим, и к этому делу был жандармами притянут и мой товарищ Урсынович, оставшийся на каком-то уроке в Питере на лето. В продолжение лета я его несколько раз посещал, знал, что он имеет связи с рабочими, но был ли он прикосновенен к этому делу, — этого я совершенно не знаю. В конце лета, когда урок мой у С. окончился и ученик мой благополучно выдержал экзамены, я, заехав к Урсынову, узнал от хозяйки квартиры, что он арестован и даже в его комнате была устроена на некоторое время «ловушка», но мои вещи и книги, которые хранились у Урсыновича, переданы ей с ведома жандармов. Так как комната Урсыновича была свободна, то я и занял ее, когда окончательно переехал в Питер, причем ко мне вскоре вселился Макарий Николаевич Васильев. Познакомился я с ним гораздо раньше через своих товарищей-медиков, так как Васильев был студентом-медиком III курса. Человек очень талантливый, стремившийся к общественной деятельности, пописывавший в газетах, он отличался вместе с тем большой самостоятельностью и оригинальностью в своих воззрениях, ни к каким партиям принадлежать не желал, но явно был близок к нам, народолюбцам. В своих поступках он бывал не только оригинален, но подчас и непонятно-вспыльчив. Так, в то лето почему-то вдруг решил бросить Медицинскую академию и перейти на юридический факультет. Нужно сказать, что и прежде у него были такие же скачки. Так, кончив таксаторское училище и будучи уже землемером, он экстерном выдержал на аттестат зрелости и поступил в Медико-хирургическую академию. Забегая вперед, скажу, что юристом он не сделался, а снова поступил на медицинский факультет, но уже в Киеве, где и был осужден вместе со мной в 1884 г. в.-о. судом на поселение за принадлежность к партии «Народная Воля».

Но тогда, в 1881 году, он в нашем Петербургском университете развил самую кипучую деятельность по студенческим делам. Так, он, вступив как депутат от I курса юридического факультета в «Комитет помощи недостаточным студентам» (так, кажется, называлась эта организация), старался развить виды этой помощи, организовав при комитете «бюро для отыскивания занятий» нуждающимся студентам. С разрешения председателя этого комитета профессора Мил-

лера (Ореста) Васильев выработал и напечатал бланки анкеты, которую должен был заполнить студент, желающий получить урок или другое какое-либо занятие через «бюро». Так как заполнять и подавать такие анкеты в стенах университета осторожный профессор Миллер не разрешил до официального утверждения устава такого «бюро», то наш смелый и нетерпеливый Васильев самочинно вывесил в шинельной университета объявление, что заявления о желании получить какую-либо работу пока временно, до утверждения устава, принимаются там-то. Причем он сообщил адрес нашей общей квартиры, не сказав мне ни слова. Можно было предвидеть, что вызовет такое объявление при том количестве нуждающихся в работе студентов, тогда уже преимущественно принадлежавших к категории «малообеспеченных разночинцев». И вот, возвращаясь с лекции, я с изумлением заметил какое-то оживление на углу Среднего проспекта и 7-й линии, недалеко от которого помещался дом, в котором мы жили. Показалось мне, пока я тихонько подходил к Среднему проспекту, что к нашему дому и от него идет необычно много студентов одиночками и даже группами. Присел я на бульваре на скамеечке и тотчас же заметил фигуру околоточного, как бы «прогуливающегося» по бульвару, а затем заметил и нескольких городовиков, маячавших на тех местах, где их прежде не бывало. «Что тут делается?» — решил спросить я двух студентов, повидимому вышедших из ворот нашего дома. «Да там подают анкеты о желании получить урок», — ответили мне. Получив этот ответ, я бросился к себе на квартиру. Дверь нашей квартиры оказалась отворенной. Хозяйка, встретившая меня, с некоторым неудовольствием сказала:

— С 12 часов тут у вас труба нетолченная! Я уже и дверь не запираю, дежурю сама в передней; пристав приходил...

Наша очень большая комната была полна студентов.

— Что это вы наделали? — спросил я вполголоса Васильева.

— Ничего, ничего, — успокаивал он меня, принимая написанные уже анкеты, — приставу я все объяснил! Сейчас это прекратится: уже 3 часа, на сегодня достаточно.

Действительно, вскоре прием был прекращен, но еще дня

два продолжалась эта сутолока в нашей квартире от 12 до 3-х часов, хотя я и убедил Васильева тотчас же снять объявление со стены шинельной. Из всей этой возни ничего не вышло, так как организовать «бюро» высшее начальство не разрешило.

IX

Несмотря на то, что мне предстояло серьезно заняться своими математическими науками, имея в виду предстоящие весной 1882 г. выпускные экзамены, я все же нашел возможным повести занятия с кружком рабочих на Выборгской стороне. Кружок этот я получил от Е. А. Дубровина, с которым, как и с другими саратовцами, продолжал сноситься по разным конспиративным делам. Конечно, продолжал я посещать после возвращения с каникул всех прежних знакомых студентов и студенток, уцелевших от арестов, и не только в качестве доброго знакомого. С кружком студенток, центральной фигурой среди которых была Роза Франк, мы деятельно собирали средства на революционные цели и в частности на помощь ссыльным и заключенным. Одним из способов собирания денег было устройство «помолвок» или «свадеб». Тогда в Питере существовали предприниматели, которые под вывеской «Кухмистер» брали заказы не только на изготовление ужина, обеда или какого-либо другого угощения на какое угодно число персон, но и отводили очень удобное помещение из нескольких прилично меблированных комнат для устройства такого праздничного угощения, по желанию с танцами и музыкой. Люди среднего достатка, не располагавшие просторными квартирами, постоянно пользовались услугами таких «кухмистеров»; поэтому ничего подозрительного не было, когда мы, уговорив какую-либо студентку разыграть роль «невесты», устраивали торжественную «помолвку». Нареченный «жених» отправлялся к полицеймейстеру за получением разрешения, с этим разрешением нанимал помещение в недорогого «кухмистера», заказывал ему угощение, музыку и проч., как полагалось при настоящей помолвке или свадьбе. Но, конечно, «пригласительные билеты» не рассылались по знакомым, а продавались, и не де-

шево, а стоявшие за столами с угощением в виде хозяек студентки старались побольше брать за «рюмки» и «закуски». Таким образом очищалось в пользу дела рублей 200—300. Полиция одно время довольно снисходительно смотрела на такие вечеринки, считая, может быть, что студенчеству «полезно» потанцевать, попить, повеселиться, но потом получать разрешение на такие вечеринки сделалось все труднее и труднее.

Нам, каменчанам, особенно приходилось заботиться о приобретении средств, так как два наши товарища, Коновкин и Урсынович, «засели», как тогда говорилось, «крепко» и впоследствии оба были высланы: Урсынович — в Западную, а Коновкин — в Восточную Сибирь. И тому и другому я не только носил продукты и книги, но и ходил на свидания, познакомившись таким образом на деле со всеми порядками такого милого учреждения, как «Предварилка». К этому времени, т. е. к концу 1881 г. и началу 1882 г., относится и мое знакомство с группой студентов-горняков (Эраком, Кляусом, Широковым) тоже на почве конспиративных дел. Из них Широков, как человек, располагавший довольно большими средствами, делал на революционные дела значительные взносы. К сожалению, моя связь с кружком рабочих на Выборгской стороне длилась недолго (до конца 1881 г.), так как молодой рабочий, через которого я входил в кружок, заболел и был положен в больницу, с его товарищами же у меня связи не было. К тому же 2 февраля 1882 г. был арестован Ев. Дубровин и началась серия новых арестов в связи, с выдачей Мирским организации сношения с Нечаевым, сидевшим в Алексеевском равелине, о чем мы узнали только после Октября. Приходилось несколько сжаться, держаться поосторожнее, чтобы через какую-либо нить не попасть в руки жандармов.

Жил я тогда, правда, в очень хорошей, не только вообще, но и в конспиративном отношении, квартире. Мой бывший ученик, паж А., опять пригласил меня порепетировать его по математике, предложив в счет вознаграждения отдельную комнату в их квартире. Квартира А. была не из богатых, но со всеми удобствами; ход в мою комнату был отдельный от общего парадного. Там я и прожил до самой весны 1882 г., усиленно занимаясь и своими математически-

ми предметами. Незадолго же перед экзаменами другой мой ученик, тоже паж, Петя С., стал нуждаться в моем руководстве его учением. Отец его, генерал С., о котором я выше писал, приехал ко мне и рассказал, что Петя очень слабо учится этот год, и поэтому без радикального «мероприятия», по его мнению, не перейдет в следующий класс. Радикальная мера состояла в том, чтобы изъять Петю из семьи, поселить его в пансион, а для руководства и наблюдения за его занятиями поселить в тот же пансион и меня. После подробного обсуждения этого плана я согласился на него, разумеется, за очень приличное вознаграждение.

Таким образом, поселились мы с Петей в пансионе барона Н. В этом частном пансионе готовились молодые люди к экзаменам в военные учебные заведения. Отбывать воинскую повинность в качестве рядовых, хотя бы и вольноопределяющихся, никому из богатых и знатных юношей не хотелось, и вот этот пансион, несмотря на очень большую плату, был всегда полон и давал возможность, попадая в военные учебные заведения, легче отбывать эту всенародную повинность. Все учившиеся в этом пансионе прошли уже курс средней школы (гимназию, реальное училище и пр.) и были в возрасте 18—20 лет, за исключением некоторых (вроде моего ученика), которые не прошли еще полного курса средней школы и имели особое положение и расписание занятий. На таком особом положении, как сверхштатный воспитатель и учитель одного только ученика, и поселился я с Петей в этом дорогом пансионе. И начали мы оба двигать науку: я, один, свою высшую к выпускному университетскому экзамену, а он, с моей помощью, низшую — для поступления в старшие классы Пажеского корпуса.

В мае оба мы успешно кончили экзамены, и он с восторгом поехал куда-то на дачу к родным, а мне директор пансиона предложил, как уже кончившему университет, имеющему право преподавать математические науки в средних школах, занять место учителя на летние повторительные курсы до конца августа, когда преимущественно держались экзамены в юнкерские, артиллерийские, инженерное и пехотные училища Питера. Так как условия были очень выгодные, то я согласился прожить все лето в Питере, отда-

вая часа четыре ежедневно урокам и дежуря через два дня в третий.

Таким образом, прекрасно устроившись в материальном отношении и заработав деньги даже про запас, я в силу окружавшей меня тогда обстановки жизни не мог поддерживать никаких конспиративных знакомств. Швейцар дома, где помещался наш пансион, и лакей пансиона, оба служили «осведомителями», кажется, разных ведомств и со-ревновались между собой. Да и большинство моих связей со студенчеством, как обыкновенно, порвалось на время каникул. Благодаря этому положению я совершенно не был затронут тем потоком арестов, которые были произведены летом 1882 г. по делу Грачевского, Прибылевых и пр. Не будь этой временной изолированности, продолжая я связи с периферией действующей партии, вероятно, меня захватили бы широко и искусно расставленные сети Судейкина.

Окончив к сентябрю 1882 г. свою службу в пансионе барона Н., поехал я для отдыха в Минск к сестре, которая была замужем за учителем математики и механики в Минском реальном училище. Там же жила в то время и матушка моя, овдовевшая в 1881 г.

Зять мой предложил подать прошение о зачислении меня на службу в Минское реальное училище, говоря, что уроки математики найдутся в гимназии, но я решил пока пожить еще в Питере, надеясь на частные уроки. И, действительно, приехав в Питер, я скоро вполне обеспечил себя уроками и, живя в очень удобной комнате на Знаменской улице недалеко от Невского, возобновил свои партийные связи, стал попрежнему посылать народо-вольцам, затем формально и организационно примкнул к петербургской группе «Народная Воля», как я об этом рассказал в своей очерке «Петербургская организация «Н. В.» и «Летучая типография» в 1882—1883 гг.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НАРОДОВОЛЬЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1882—1883 гг.

Предлагаемые воспоминания отнюдь не претендуют на исчерпывающую полноту описания народovolьческой организации в 1882—1883 гг. в Петербурге. Восстановить картину всей организации, хотя бы в главнейших чертах, автор не берется, он хотел только в добавление к тому, что сообщалось о петербургской организации «Народной Воли» А. Н. Бахом, И. И. Поповым, В. И. Сухомлиным и другими мемуаристами *, рассказать о тех событиях, которые лично были ему известны. Конечно, время многое стерло из памяти, многое не было известно автору, поэтому, повторяю, о полноте очерка не может быть и речи.

В конце 1882 года, окончив университет, я жил в Петербурге, занимаясь частными уроками. Я отказывался от предложений службы в провинции, не желая порвать с той средой (народовольческой периферией), в которой я вращался последние четыре года моей жизни в Петербурге. Мне хотелось поехать в провинцию только тогда, когда связи мои с организацией «Нар. Воли» прочно наладятся. К сожалению, именно в это время, т. е. во второй половине 1882 г., эти связи у меня сильно ослабели вследствие ареста моих

* См. в прим. «Библиографическая справка».

личных знакомых: Коновкина, Урсыновича *, Дубровина, через которых я всегда мог связаться с действующей революционной организацией. Но на Песках был еще у меня знакомый кружок студенток-медичек, группировавшийся около Розы Федоровны Франк, моей давнишней гимназической еще приятельницы **. Этот кружок имел связи не только с подпольным Красным крестом, но и с активной революционной организацией. Этими связями я и намерен был воспользоваться.

К этому времени относится и мое первое знакомство с Петром Филипповичем Якубовичем, скоро перешедшее в близкую дружбу. Не помню, по какому поводу мне надо было с ним повидаться. Кажется, по делам помощи заключенным. Он тогда был болен. Помню хорошо, что первое наше свидание произошло в клинике, где он тогда лежал уже выздоравливающим. Свел меня с ним один из братьев Шаталовых, математик; другой Шаталов, филолог, был однокурсником и приятелем Петра Филипповича. Вскоре Якубович сделался главным звеном, связывавшим меня с действовавшей в Питере революционной организацией.

Чрезвычайно живой, деятельный, он, повидимому, тогда уже решил весь отдаться революционному делу, не оставляя своей работы в легальной журналистике. Помимо стихотворений, которые и тогда уже завоевали ему, молодому поэту, солидную известность, он писал статьи в журналах, в особенности в тогдашнем «Русском Богатстве» ***. Это был не-большой журнал, приобретенный у Бажиной артелью писателей, близких к «Отечественным Запискам» и пожелавших поставить свой журнал независимо от всяких издателей. Если не ошибаюсь, журнал выходил под редакцией Бажиной. Участвовали в нем и Успенский, и Златовратский, и др., а также молодые писатели, среди них Якубович и Шаталов. Вниманию к журналу со стороны писателей с известными именами скоро остыло, и молодым, а главнейшим образом Якубовичу, пришлось вести журнал самостоятельно, наполняя его статьями под разными псевдонимами. Несмотря на

* «Из памятной книжки семидесятника-народовольца». См. Альманах № 2. «Красная Новь», 1925 г.

** См. прим. «К биографии Р. Ф. Франк-Якубович».

*** См. прим. «П. Ф. Якубович в «Русск. Богат.» 80-х гг.».

Загруженность этой журнальной работой, Петр Филиппович вел чисто партийную работу агитатора и организатора. Связи его в обществе и литературных кругах, его популярность среди студентов университета, обаятельность его личности делали эту его работу чрезвычайно успешной и плодотворной.

Всех кружков и лиц, с которыми вел сношения Якубович, я, конечно, и тогда не знал, а из тех, которых лично знал и о которых слышал от него, многих позабыл, несмотря на то, что в 1907 г., после отбытия нами обоими каторги и ссылки, я имел возможность многое снова освежить в памяти при личной встрече. Во всяком случае, думаю, что не лишне будет привести те фамилии, которые сохранились в памяти. Тут на первом месте приходится вспомнить Р. Ф. Франк и целый кружок медичек, организовавшийся около нее. Это были: Рыковская, Коган, Шатуновская, Горенко и др. В этом кружке вращался нелегальный интеллигент, который вел работу среди рабочих. Ни фамилии, ни клички его я не помню. Знал этот кружок и Василий Андреевич Караулов через свою жену Прасковью Федоровну Личкус, студентку медицины. Из студентов, встречавшихся тогда мне в связи с этой группой, вспоминаю студентов-горняков — Широкова, Кляуса, студентов-технологов — Эрака, Арнольда. Вся эта публика представляла собою часть интеллигентской периферии, активной организации, питавшей последнюю, по мере возможности, как материальными средствами, так и людьми. В январе 1883 г. или в декабре 1882 года П. Ф. Якубович устроил собрание, на котором присутствовали некоторые из вышеупомянутых лиц, а также и другие лица, фамилии которых я забыл. Собрание происходило в помещении редакции журнала «Русское Богатство» на Знаменской улице, недалеко от угла Невского проспекта, в доме, в котором была и моя квартира. Целью собрания было ознакомить нового представителя Исполнительного Комитета «Народной Воли» Комарницкого с этой группой и, конечно, взаимно Комарницкий сообщил кое-что по «текущему моменту», как принято теперь выра-

* См. прим. «И. И. Попов и В. Н. Фигнер о И. Н. Комарницком».

жаться. Никаких программных вопросов, мне помнится, не выдвигалось. По организационным делам ограничилось взаимной информацией, не касаясь принципов организации.

Мы с удовлетворением узнали, что, несмотря на страшные провалы 1881 и 1882 гг. (последние аресты Богдановича, Прибылевых и др.), все-таки сохранились в России члены Исполнительного Комитета и с одним из них Комарницкий имел непосредственную связь. Фамилий и кличек он, разумеется, не называл, и только впоследствии мы догадались и узнали, что он был послан к нам Верой Николаевной Фигнер. Сообщил Комарницкий нам и о том, что уцелели организации в Москве, Харькове, Одессе, Киеве и других местах; правда, говорил он, старых испытанных работников очень мало, но молодежи — и хорошей — везде вполне достаточно, чтобы вести революционную работу. Поэтому он и нам предложил энергичнее приняться за дело, поставив на первый план несколько конкретных заданий, именно, насколько помнится: 1) поставить как следует «технику», т. е. типографию, и 2) упорядочить и усилить сбор денег. Принцип организации остался прежний — строго централистский: все мы должны были и лично, и от кружков обращаться с предложениями своих мероприятий и услуг по проектируемым делам к Комарницкому, который и должен был все объединять.

Собрание это, несомненно, подняло дух и внесло оживление в те кружки, которые с ним соприкасались, и усилило их работу.

II

К сожалению, это оживление вскоре было омрачено известием об арестах вначале в Одессе (типография Дегаева), а потом в Киеве и в Харькове (В. Н. Фигнер). Комарницкий уехал из Питера и вскоре также был арестован, кажется, в Москве. Разумеется, эти аресты сильно всполошили и нашу питерскую группу, хотя они не коснулись нас, если не считать Комарницкого. Затем, осмотревшись, мы начали с новой энергией прерванную работу. Ни растерянности, ни подавленности в нашей группе не ощущалось. Личная связь с центром после ареста Комарницкого была порвана, да в России после ареста В. Н. Фигнер и не оставалось никого

из членов Исп. Комитета. Однако, Комарницкий, уезжая, оставил связи с границей и с другими организациями; следовательно, мы могли продолжать дела пока совершенно самостоятельно, а потом, связавшись с остальными организациями, постараться объединиться для совместных действий. Таково было настроение тех лиц петербургской группы, с которыми я главным образом встречался.

В центре группы в то время были: братья Карауловы, Николай Андреевич и Василий Андреевич, С. Е. Усова, С. Н. Кривенко. Сносился я с ними чаще всего через Якубовича или через Н. А. Караулова. С Кривенко лично ни разу не виделся. У этих лиц были сосредоточены все оставленные Комарницким связи с границей, с другими местными организациями, с литературными кругами, с военными, с рабочими, с молодежью, с нелегальными («профессионалами», как потом говорили). Из нелегальных, помню, я встречал М. П. Овчинникова, Сергея Андреевича Иванова и еще двоих, фамилии и клички которых забыл. Словом, это была центральная группа нашей питерской организации, но Исполнительным комитетом она никогда не называлась. Прозвание «Соломенный» * Исполнительный комитет могло возникнуть у Г. А. Лопатина разве только потому, что Дегаев, как потом выяснилось, втирая очки Судейкину, представлял этих 4 лиц членами Исп. ком. «Нар. В.» В общем, у нашей организации имелись достаточные средства для того, чтобы содержать «профессионалов» и «технику», которая была пока неустроена. Были связи среди рабочих, среди молодежи и в так называемом обществе, словом, было все, что необходимо, для пропаганды и агитации, для революционной работы, — и она у нас закипела. В особенности энергично работал П. Ф. Якубович, сблизившийся тогда с нашей центральной группой.

В марте 1883 г. П. Ф. Якубович сказал мне, что петербургская организация «Народной Воли» нуждается в людях, которые могли бы взять на себя содержание конспиративной квартиры или типографии.

Давно уже я вполне разделял взгляды и программу партии «Народная Воля»; будучи знаком с некоторыми из

* См. прим. «Г. А. Лопатин о «Соломенном» комитете».

членов партии, участвовал в кружках, оказывал некоторые услуги, но определенного положения в организации не занимал. И вот, узнав о нужде в людях, я решил предложить свои услуги по части устройства конспиративной квартиры. Петербургская организация приняла мое предложение, и решено было поселить меня пока одного в такой небольшой квартире, которая была бы удобна для несложных конспиративных дел. О типографии пока не было еще и речи, потому что существовал план устроить ее вне Петербурга. У Петербургской организации было, несмотря на множество провалов, некоторое количество шрифта и других типографских принадлежностей, достаточное для оборудования небольшой «летучей», как тогда говорили, типографии. Был и человек — опытный наборщик Андржейкович *, но удобной, постоянной квартиры не было, и пока не хотели ее и устраивать, а необходимые небольшие произведения Андржейкович печатал, кочуя с одной квартиры на другую, поистине летучим способом. Он являлся на квартиру к какому-либо студентам или знакомым из других кружков, располагался в наиболее удобной комнате, куда хозяева могли под каким-либо предлогом не пускать посторонних, вынимал из карманов своих и карманов тех лиц, которые помогали ему перекочевывать, складную кассу со шрифтом и все нужное ему и начинал набирать. Проработав таким образом где ночь, где две, а где день или два, он собирал пожитки и уходил на другую квартиру, так как, очевидно, долго шила в мешке не утаишь.

Покончив с набором, Андржейкович сверстывал небольшую форму и в наиболее удобной квартире самыми примитивными способами оттискивал несколько сот экземпляров.

Итак, мне предстояло найти небольшую, удобную квартиру. До этого я жил в меблированной комнате от хозяев, теперь же нужно было мне самому сделаться хозяином. Вид у меня был подходящий: я жил по свидетельству, выданному университетом в том, что я окончил математический факультет и имею право быть учителем во всех средних учебных заведениях. Таким образом, в глазах дворян

* См. прим. «Карманная типография Андржейковича».

ка и участка я был учителем, занимающимся частными уроками (как оно и было на самом деле). Таких много в Питере и такому лицу занимать, хотя бы одному, отдельную квартиру — вещь недиковинная.

Отыскал я квартиру из двух комнат на Таврической улице, с мебелью и всеми удобствами, переехал туда, но жить там пришлось очень недолго, так как аресты снова изменили положение дела. Андржейкович был арестован, план устройства типографии вне Петербурга был оставлен, решено было устроить ее в самом Петербурге и поставить меня в роли хозяина. Но я был одинок, а для содержания довольно большой квартиры самым подходящим хозяином, т. е. таким, который бы не возбуждал подозрений у полиции, считался человек женатый. И вот предстояло найти мне «жену», т. е. женщину — члена партии, которая пожелала бы и была бы способна играть роль хозяйки тайной типографии, а для видимости должна была вступить в законный брак со мной, — словом, предстояло устроить «фиктивный брак».

Вскоре мне объявили, что «жена» нашлась; это была Прасковья Федоровна Богораз, студентка Бестужевских курсов. Мы познакомились.

Прасковья Федоровна была человеком очень сдержанным, быстро сходиться с людьми не умела, и потому тот, кто ее мало знал, мельком видел, мог составить о ней совершенно ложное представление. Довольно начитанная, она любила теоретические разговоры и споры и относилась с некоторого рода пренебрежением к обычным разговорам, развлечениям, шуткам и веселью. Это придавало ее поведению колорит некоторой суровости, хотя на самом деле она непрочь была (правда, в очень близкой компании) и побалагурить, и посмеяться. Вообще, настоящей суровости в ней не было: она замечательно мягко, даже любовно-мягко относилась к людям, скрашивая иногда шуткой какой-либо свой неодобрительный отзыв о том или другом человеке, о том или другом поступке. Этим шутливым отношением она как бы говорила, что все мы грешны и что данный человек не теряет ее доброго расположения. Если же какой-либо человек или факт заслуживали ее осуждения, то она высказывала это и на словах, и в поведении очень катего-

рично, но без резкости. Характерна была настойчивость и аккуратность, с которой Прасковья Федоровна выполняла всякое дело, важное или неважное.

Так, например, ей, жившей прежде в иной обстановке, пришлось научиться вести хозяйство по-буржуазному. Пришлось заказывать обеды кухарке, причем давать наставления, как готовить кушанья, самой стряпать, ходить на базар за провизией, беседовать с дворниками о разных хозяйственных заботах и пр., словом, играть роль хозяйки, и эту роль она в совершенстве усвоила в очень короткое время. Набор ей очень трудно давался, и ей приходилось чуть ли не целыми ночами сидеть за кассой. В партийном отношении Прасковья Федоровна была очень ценным, преданным человеком, подчинявшимся беспрекословно партийной дисциплине.

Так как Прасковья Федоровна была еврейкой, то ей до свадьбы предстояло выполнить еще одну довольно неприятную процедуру, именно — крещение. В то время миссионером в Петербурге состоял протоиерей Брянцев. У него легче всего, т. е. с меньшими формальностями, можно было креститься. Крестились у него очень многие студентки, вступившие в настоящий, а не фиктивный брак с христианами. Обратилась к нему и Прасковья Федоровна. Он начал ее просвещать «светом учения Христова», назначив для этого, кажется, один час в неделю.

Приходит однажды ко мне после сеанса у попа моя нареченная «невеста» явно взволнованная и сердитая. По ее словам, миссионер сильно ее угнетал молитвами, катехизисом и разного рода нравоучениями. Попросту, он привязался к ней. Недовольный ее успехами, грозил оттянуть крещение довольно надолго, между тем шла пасхальная неделя, а после пасхи у нас решено было, повенчавшись, переселиться на новую квартиру и начать дело. Я тотчас же заподозрил в поведении почтенного протоиерея корыстные мотивы, но Прасковья Федоровна, совершенно не зная наших попов, запротестовала против такой догадки. Поп, по ее словам, раньше еще говорил ей, что за «принятие в лоно церкви Христовой» он никогда и ни за что не возьмет денег. Кроме того, он жил в такой роскошной квартире и, повидимому, в таком достатке, что, по ее мнению, смешно

было бы предлагать ему какие-то десять, двадцать рублей. Словом, она думала, что мы имеем дело с искренним фанатиком, поэтому наотрез отказалась предложить ему денег и, вообще, «поговорить начистоту». Очевидно, мне нужно было самому вмешаться в дело и прийти на помощь Прасковье Федоровне.

В ближайший же день, назначенный для сеанса, я явился вместе с ней к протоиерею. Он был очень любезен, очень рад был познакомиться со мной. После первых же обычных фраз и расспросов я прямо приступил к делу.

— Прошу вас, батюшка, — сказал я, — не очень мучить мою невесту разными молитвами, катехизисом и т. п.

— Что вы, что вы! — запротестовал он. — Ничего лишнего я не требую. Конечно, я обязан преподать ей начатки нашей святой веры, необходимые молитвы... и на то нужно время...

— Ну, батюшка, — прервал я его, — пожалуйста, не оттягивайте крещения. Какие там начатки, катехизисы, молитвы... Ведь крестят же детей и дикарей, которым никаких катехизисов не втолкуешь. Нам нужно обвенчаться тотчас же после пасхи; если это сопряжено с некоторыми расходами, то я за этим не постою.

— За крещение я ничего не беру.

— Но ведь после крещения мы просим вас обвенчать нас; сколько будет это стоить?

— А это, смотря по тому, какая будет свадьба: нужно ли зажигать паникадило, будет ли хор певчих...

— Свадьба самая скромная, — прервал я его, — студенческая: ни паникадила, ни хора не нужно. Скажу, батюшка, откровенно, я человек небогатый, но порядочно зарабатываю уроками; могу вам предложить 25 рублей за венчание.

— Ну, хорошо, хорошо... Только нужно, чтобы документы были в порядке, свидетели...

— Все документы я вам доставлю, будут и свидетели: по два шафера от меня и невесты; петь будет ваш псаломщик; за венчание я заплачу вам 25 рублей, только вы не задерживайте и повенчайте тотчас после пасхи. Ну, там на свежи, в кружку на храм нужно будет положить...

— Хорошо, хорошо, молодой человек. Все устроим; в

первый же свободный день окрестим и повенчаем. Эх, как у вас загорелось... Ха, ха, ха!

— Теперь, батюшка, я думаю, моей невесте и ходить к вам незачем. Будет она моей женой и я уж ее научу, как сам верую.

— Ах, нет, нельзя же так... Нужно еще хоть один раз...

— Ну, один раз мы еще придем перед самым крещением.

— Вот и прекрасно. И документики тогда же представьте.

Мы расстались, повидимому, очень довольные друг другом. Дня за два за три до крещения пришли снова к попу, причем я принес и документы. Никаких нравоучений, разумеется, он уже не говорил. Разговор вертелся на обстоятельствах крещения и венчания. Посмотрел он мои документы и вдруг спрашивает:

— А где же свидетельство об оглашении? Вы оглашение-то делали ли?

— Да я думал, что вы, батюшка, сами прикажете огласить; свидетельство о говении я представил...

— Я не имею права делать оглашения; я — настоятель домово́й церкви, а оглашения делаются в приходских церквях. Вам нужно обратиться в свой приход.

— Да, может быть, вы это устроите без меня? Я человек занятый; экзамены скоро будут у моих учеников.

— Нет, нет, не могу. Да и времени мало осталось, а нужно три оглашения.

Посмотрел я на него, подумал, что, должно быть, хочет прибавки, но торговаться как-то не хотелось, и я сказал:

— Ну, ладно, я добуду свидетельство об оглашении.

Условились мы с ним окончательно о дне крещения и о том, что он повенчает нас тотчас же после крещения, и снова расстались друзьями.

Поехал я к приходскому священнику, тот послал меня к своему псаломщику. Псаломщика я «очень просил», а потом «поблагодарил» и получил требуемое свидетельство об оглашении.

Настал и день крещения. Прасковья Федоровна со своей крестной матерью, одной почтенной старушкой, и крестным отцом, сыном этой старушки, студентом, отправились в церковь. Крещение сошло благополучно, меня известили, и я явился в церковь, чтобы венчаться, но, к великой доса-

де, протоиерея не застал там, он после крещения уехал домой. Еду к нему на квартиру, застаю его беседующим с псаломщиком и говорю:

— Что же это, батюшка, вы же обещали нас повенчать тутчас после крещения Прасковьи Федоровны?

— Обещать-то обещал,— начал он тянуть,— да вот сейчас, пожалуй, не успеем: на молебен ехать нам нужно...

— Да полноте, батюшка, поедemте сейчас. Долго ли обвенчать? Вы ведь согласились со мной и о расходах,— говорю я и, вынув 25 рублей, вручаю ему.

— Ну, что с вами поделаешь, поедem уж, поедem,— сказал поп, смотря на псаломщика и пряча бумажку. Потом вдруг спохватился: — А свидетельство об оглашении?

— Вот оно,— говорю я, вынимая из кармана бумагу и вручая ему.

Он взял свидетельство, прочел и, подмигнув мне, спросил: — Дорого дали?

Я сказал, сколько. Он слегка вздохнул и, снова подмигнув мне, сказал:

— А ведь и без этого я мог бы обойтись.

— Так отчего же вы, батюшка, мне прямо не сказали? Я бы вас так же, как того псаломщика, поблагодарил.

— Ну, бог с ним. Всякому жить нужно.

Наконец мы поехали в церковь. Там меня уже ждали два моих шафера (офицеры). Скоро приехала и невеста со своими шаферами, двумя студентами, и брак был совершен по всей форме.

III

Со следующего же дня мы с Прасковьей Федоровной начали искать новую, удобную для типографии квартиру. Нашли мы ее на углу Кукушкина переулка и Екатерининского канала. Дом был старый, без водопровода, но в других отношениях квартира была удобна: достаточно изолирована, окнами выходила на две улицы, а дом имел выходы на три улицы. Приобрели мы приличную мебель, даже зеркало, чтобы создать по возможности буржуазную обстановку. Очень кстати удалось добыть довольно много комнатных растений от знакомых Прасковьи Федоровны, уезжавших в про-

винцию на несколько месяцев. Они рады были отдать на сохранение кому-либо свои растения, и мы украсили нашу квартиру пальмами, фикусами и проч. На первое время мы наняли кухарку. Предполагалось, что около месяца работы в типографии не будет, а мы сами, пользуясь этим временем, будем обучаться типографскому искусству, в котором оба мы ничего не смыслили. Наши учебные занятия легко можно было скрыть от кухарки, а между тем она служила хорошим громоотводом перед дворником и полицией. Дворник и полиция могли удостовериться в нашей благонадежности и, так сказать, привыкнуть к нам за это время.

Доставили нам немного шрифта, верстатку и учебник типографского дела. Для кассы я заказал два небольших ящика и сам по учебнику разгородил их на отделения. Кухарку мы приучили без спроса не входить во внутренние комнаты. Это было довольно естественно, принимая во внимание наш «медовый месяц», о котором кухарка имела, конечно, понятие. Таким образом, мы по вечерам долго и спокойно могли упражняться в наборе.

Конечно, на нас и на нашу квартиру был положен самый строгий карантин, т. е. никто из прикосновенных к революционным делам, хотя бы самые близкие наши личные друзья, не имели права являться к нам и мы не могли к ним ходить в гости. Посещения же знакомых из безразличных поощрялись настолько, насколько это не могло мешать работе. В глазах всех я должен был играть роль учителя, очень занятого частными уроками. Сношения с организацией мы должны были вести только через одного человека, именно через покойного Николая Андреевича Караулова.

В самом начале мая или конце апреля, когда еще типография не была налажена, наша группа решила еще раз воспользоваться методом Андржейковича, напечатать небольшой «Листок «Н. В.»». Было очень важно как можно скорее проявить таким образом свое существование и очень хотелось огоршить правительство появлением нелегального «Листка» после стольких арестов. Момент был очень важный, и этим объясняется нетерпение, нежелание дожидаться окончательного оборудования нашей типографии и решимость опять рискнуть печатать «по способу Андржейковича», который ходил из одной квартиры в другую, имея

в карманах шрифт, набирал гранки, оставаясь в каждой квартире иногда несколько часов, иногда ночь — две. Верстка гранок и печатание были более сложным делом и требовали особой просторной квартиры, но все-таки время от времени удавалось выпускать маленькие листки. К сожалению, на этот раз дело сорвалось. Явившийся ко мне Якубович с огорчением сообщил, что в квартире литератора М. А. Протопопова* лежит отпечатанная только с одной стороны гряда «Листка». что продолжать печатать нельзя, ибо Андржейкович** либо арестован (не помню точно), либо должен скрыться, а никто другой не возьмется окончить это дело. Тотчас поехали мы к Протопопову, где застали С. А. Иванова, уже нелегального и вызванного, кажется, из Минска для помощи Андржейковичу. Семья Протопопова была на даче, поэтому и можно было воспользоваться для печатания его квартирой. Сам Протопопов присутствовал при наших разговорах: «как быть с этой бумагой?» Сохранить ее до того времени, когда возможно будет отпечатать и другую сторону, мы нашли нестоящим делом, а поэтому решили свезти ее ко мне и сжечь в кухонной плите. Сергей Андреевич помог мне доставить эту бумагу на квартиру, и я целую ночь жег ее, благо кухарку мы в то время рассчитали. Трудность работы заключалась в том, что бумага была влажная и ее приходилось сначала подсушивать на плите. Как-никак, первым делом нашей типографии было сожжение нелегальной литературы.

Так прошла часть мая месяца. Кажется, во второй половине мая Ник. Андреевич привел к нам С. П. Дегаева. Представил он его под псевдонимом Петра Алексеевича и сказал, что отныне Петр Алексеевич будет играть роль связующего звена между нами и организацией. Наедине он сообщил мне, что Петр Алексеевич — видный революционный деятель, уцелевший от разгрома прежней организации. Вскоре от другого товарища я узнал фамилию Дегаева и то, что он бежал из-под ареста в Одессе. Конечно, ни Н. А. Караулов и никто другой из петербургской организации и не подозревали той роли, какую играл уже Дегаев в

* См. прим. «Литературная деятельность М. А. Протопопова».

** Андржейкович с Паули были арестованы 6 июня 1883 г. вместе с ручной типографией.

охранном отделении под фамилией Яблонского. Помнится, что мое первое впечатление, несмотря на лестную рекомендацию, было не в пользу Дегаева. Мне как-то не понравились его глаза, и вообще его поведение в первое свидание мне показалось немного странным. Как будто он не знал, как и с чего начать, какого тона с нами держаться. Это неблагоприятное впечатление скоро совершенно сгладилось, когда мы начали часто видаться, устраивая типографию и работая в ней*.

В первое же свидание с Дегаевым решено было как можно скорее приступить к печатанию «Листка «Народной Воли», материал для которого был уже готов; типографию решено было называть «летучей». Необходимо было окончательно оборудовать ее. Для этого через Дегаева мы должны были получить откуда-то печатный станок. Кухарку, конечно, пришлось, как я уже писал, рассчитать, а вместо нее у нас должна была поселиться одна курсистка — М. П. Кулябко. Сначала хотели поселить ее в виде кухарки, переведя на нелегальное положение, но это, не помню почему, не наладилось, и она поселилась у нас в виде подруги моей жены под своей настоящей фамилией.

Марья Павловна была пресимпатичной девушкой, с веселым, милым характером певуньи и хохотуньи. Это не мешало ей далеко нелегкомысленно относиться к нашему революционному делу, которому она отдалась с полным самоотвержением. Она была из тех натур, которые не могли, просто в силу своей отзывчивости, стоять в стороне от революционного движения. Репрессии вызывали в ней страстное негодование. Сердечное и страстное отношение замечалось и в том, что впоследствии она не могла хладнокровно набирать хроники арестов и известий из тюрьмы и каторги. Часто я замечал, что в таких случаях она убегала от кассы, стараясь скрыть навертывавшиеся слезы жалости и гнева. Суровые условия нашей конспиративной деятельности, необходимость постоянной осторожности тяжело ложились на эту впечатлительную и живую душу и в какие-нибудь два-три месяца уничтожили значительную долю ее непосредственной веселости.

* См. прим. «Историч. параллели к дегаевской провокации».

*Станок для печатания был доставлен в таком невозможном виде, что из всех его частей пришлось воспользоваться одним дубовым валом, хотя и тот был весь в трещинах. Приходилось устраивать станок своими средствами. Существенные части всякого ручного печатного станка, говоря схематически, состоят, во-первых, из совершенно ровной поверхности (обычно, шлифованной чугунной доски), на которую кладут полосу набора; во-вторых, из чугунной или железной рамы, в которую закрепляют посредством особых зажимов полосы набора, т. е. так называемую форму, и, в-третьих, из приспособлений для накладывания на набор бумаги и для печатания или посредством пресса, или посредством вала. И вот все это нам пришлось создать «своим средством». Небольшую железную раму мы заказали слесарю, не говоря ему, конечно, о значении заказа, и получили очень удовлетворительную вещь, но никаких приспособлений для закрепления в ней шрифта не достали; пришлось забивать «форму» в эту раму с помощью деревянных клиньев. О заказе чугунной шлифовальной доски и думать было нечего, мы просто купили толстое корабельное стекло и стали его подкладывать под форму. Все это вместе, т. е. полосы набора, закрепленные в раме и лежащие на стекле, мы положили на обыкновенный деревянный стол, а по обе стороны рамы укрепили шурупами две деревянные планки, которые должны были служить рельсами для вала, обтянутого резиною. Для смазывания шрифта типографскими чернилами отлили валик из массы, сходной с той, которая употребляется для гектографа. Больше никаких приспособлений у нас не было. Бумагу приходилось просто руками накладывать прямо на шрифт, руками же двигали и вал по рельсам.

Такая самодельная печатная машина вначале буквально никакого оттиска не давала, но постепенно я приспособил ее и приспособился сам настолько, что оттиски стали получаться и быстро, и довольно удачные. В конспиративном отношении эта «машина» была очень удобна: достаточно было 10 минут, чтобы ее разобрать. Клинья, планки, все деревянное бросалось в печь, вал занимал место невинной тумбы под горшком с ползучими растениями, и от печатного станка оставалось только воспоминание.

Пока я возился со станком, Прасковья Федоровна и Марья Павловна набирали. Роль Дегаева заключалась в том, что он добывал некоторые нужные вещи и давал советы, не всегда удачные, впрочем; так, благодаря тому, что он прибавил скипидару в краску, многие оттиски № 1 «Листка «Народной Воли» вышли очень неудачными. Вообще с печатанием первого номера мы возились очень долго. Между тем хотелось поскорее выпустить «Листок», чтобы, так сказать, дать знать, что, несмотря на провалы, мы все-таки живы. Поэтому решено было некоторые статьи, заготовленные для № 1 «Листка», отложить до следующих выпусков, чтобы не задерживать выхода № 1. Только к 20 июня были готовы 1000 оттисков «Листка». Затем был объявлен перерыв в работе, и мы несколько дней могли отдыхать.

IV

Кажется, к этому времени относится довольно печальный эпизод с печатанием прокламации по поводу еврейского погрома, разразившегося на юге. Однажды пришел к нам Дегаев и сказал, что нужно немедленно напечатать прокламацию, которую он нам тут же и прочел. Прокламация так не понравилась мне и Прасковье Федоровне, что мы запротестовали. Содержание прокламации точно я не в состоянии передать, но помнится, что в ней причиной погрома выставлялась эксплуатация евреями трудящейся массы: факты были изложены неверно; правительство осуждалось за то, что войска стреляли в погромщиков; выставлялось на вид, что правительство в данном случае, как и всегда, защищало эксплуататоров.

Дегаев попробовал сначала воздействовать на нас авторитетом, но, когда это одно не помогло, стал с нами обсуждать, изменять и сокращать текст прокламации. Написанная и раньше скверно, она в урезанном и измененном виде в сущности сделалась не лучше, и мы продолжали протестовать против издания ее. Тогда Дегаев сказал, наконец, что он берет все на себя, что он согласен не выставлять на этой прокламации подписи «Летучая типография «Народной Воли», но что он уполномочен потребовать от нас напечатания этой прокламации от «группы рабочих» хотя бы в ко-

личестве одной сотни экземпляров. Не помню хорошенько, как он назвал эту группу и как еще мотивировал свое требование. Чувство партийной дисциплины и мысль, что у «центра» могут быть какие-либо особые тактические соображения, одержали, в конце концов, верх над нашим личным убеждением и отвращением. Дегаев уговорил-таки нас, и мы напечатали эту прокламацию без подписи «Летучая типография «Народной Воли» и в очень ограниченном количестве (чуть ли не меньше сотни). Прокламация вышла очень коротенькая: десяток или дюжина строк. Она занимала небольшую часть одной стороны почтового листа малого формата. Впоследствии на юге я слышал, что эту прокламацию местные группы партии «Народная Воля» просто уничтожили, считая ее провокаторской.

В первый номер «Листка», как я уже сказал, не вошли все статьи, для него заготовленные, и вот эти статьи с новым накопившимся материалом решено было выпустить под заглавием «Приложение к № 1 «Листка «Народной Воли». Когда мы начали набирать это издание, нам дали на помощь еще одного работника, некоего Трусевича. Тихий, неразговорчивый, он производил впечатление человека «со странностями». Сначала он стал учиться набору, но это дело шло у него очень медленно, и потому мы поручили ему держать корректуру; это дело он выполнял медленно, но образцово.

Все работы мы производили исключительно днем в одной небольшой комнате. Остальное помещение квартиры (2 комнаты, кухня, передняя и проходная комната) содержалось в строгом порядке и туда ничего типографского заносить не позволялось. Одна из дам, дежурная, должна была открывать двери дворнику, почтальону и посетителям. Дежурная готовила и обед на трех человек. Типографской работой дежурная занималась постольку, поскольку это не препятствовало ей вести хозяйство и являться во всякое время к случайному посетителю в приличном, не возбуждающем подозрения виде. Спрашивающим меня, смотря по обстоятельствам, говорили: «ушел на уроки», «спит», «дома», «сейчас выйдет». Таким образом, все шло гладко и спокойно; один раз, впрочем, пришлось пережить несколько тревожных мгновений.

Это случилось в связи с переменой квартиры. В том же

доме рядом с нашей освободилась квартира, которая была дешевле, а по удобствам не уступала нашей. Вот мы и решили перебраться в эту квартиру, для чего пришлось заранее предупредить хозяина, чтобы он не сдал ее другим; сами же мы тотчас в новую квартиру не могли перебраться: нужно было подождать несколько дней, чтобы кончить работу по изданию «Приложения». Приходилось эти несколько дней работать особенно настороже, так как хозяин, конечно, вывесил билетик о сдаче нашей квартиры, и могли явиться наниматели для осмотра ее. Чуть ли не в первый день, как появился билетик, часов около четырех, когда у нас шла работа во-всю, раздался звонок. Прасковья Федоровна побежала открывать двери; дворник привел квартиранимателей. На просьбу дворника показать квартиру, Прасковья Федоровна сказала, как было условлено, что «хотя муж спит, но квартиру все-таки можно осмотреть». В рабочей комнате остались я, Марья Павловна и Трусевич. Я подошел к двери и положил руку на дверную ручку: дверь не запиралась на замок. Через дверь было слышно, как прошли несколько человек, разговаривая вполголоса. Затем послышались снова шаги, и вдруг я почувствовал, как кто-то взялся за ручку двери и хочет ее отворить; я, конечно, не пускаю и тотчас же слышу восклицание Прасковьи Федоровны: «Туда нельзя; я же вам сказала, что там мой муж спит». Затем слышно было, как дворник извинялся, как описывали посетителям эту небольшую комнату; потом шаги стали удаляться к передней; наконец, выходная дверь хлопнулась, и к нам вошла Прасковья Федоровна. По ее словам, дворник был «выпивши» и только поэтому толкнулся в затворенную дверь.

Дня через три после этого инцидента, закончив печатание «Приложения» и уложив все типографские принадлежности так, чтобы заметить их не было никакой возможности, мы пригласили дворников и попросили их перетаскать наши пожитки в соседнюю квартиру. Дворники быстро перетаскали горшки с цветами, ящики с книгами и кухонными принадлежностями, комод и шкаф с бельем и платьем и прочую мебель, не подозревая, что переносят летучую типографию «Народной Воли». Ящики комода и шкафа нарочно были незаперты, и вообще все имело самый обычный вид

вещей, как-нибудь сложенных, чтобы перетащить через одну площадку лестницы.

Новая квартира была гораздо меньше прежней, так что мы стали жить в ней только вдвоем с Прасковьей Федоровной, а Марья Павловна поселилась где-то в меблированной комнате и так же, как Трусевич, стала приходить к нам на работу. Довольно часто приходил и Дегаев. Передавая, что было нужно, он иногда оставался у нас подолгу, помогая в чем-нибудь по типографской работе, а то просто беседуя с нами. Мне казалось, что за это время я его хорошо узнал. Прежнее неблагоприятное впечатление рассеялось и, хотя мы и не сделали друзьями, отношения были самые хорошие, товарищеские.

Казался мне Дегаев человеком очень умным, умеющим узнавать людей и пользоваться ими. В практической жизни это был человек замечательно находчивый и ловкий. При разговорах о политике я в нем встречал собеседника, здраво смотревшего на русскую жизнь, на задачи революционной партии и верившего, казалось мне, в непобедимость революционного движения и в конечное торжество революционного идеала.

Впоследствии мне приходилось слышать от товарищей по революционной работе, что многие планы и проекты Дегаева поражали их своей непрактичностью. Мне кажется, это объясняется не бестолковостью самого Дегаева, а, наоборот, его ловкостью. Ведь ему, провокатору, совершившему уже вторую измену, приходилось уже умышленно держать людей в бездействии и именно таких людей, которых он всего более боялся, инициатива и энергия которых могли скоро или обнаружить его роль провокатора, или сразу погубить его в глазах правительства. Вот он и путал этих людей. Я же ему был не опасен: я был занят в специальном деле, в другие дела я не имел права даже вмешиваться и был изолирован от товарищей. Поэтому в разговорах со мной он, мне кажется, мог быть более искренним, не касаясь частных конкретных революционных дел, а высказывая только свои мнения об общем ходе революционной работы.

В обыденной жизни, в обыденном разговоре Дегаев, мне казалось, был человеком обходительным, мягким, симпатичным. Некоторая доля эгоизма и сибаритства в его характе-

ре бросалась в глаза мне и тогда, но во всяком случае не в той мере, чтобы это могло испортить общее впечатление. Одно несимпатичное качество я отметил уже и тогда — это его трусость. Потом, когда я узнал, что Дегаев изменник и предатель, мне пришлось, конечно, проверить свои впечатления, пересмотреть, так сказать, свое понимание этого характера. Я должен был признать, что большую и роковую роль в представлении о характере Дегаева сыграла та лестная рекомендация о нем, как о видном революционном деятеле, которую мне сообщили при знакомстве с ним. Но я не мог все-таки признать, что вполне ошибался в характеристике этого человека. «Как? — быть может скажут мне, — предатель, погубивший столько жизней, — и симпатичный, мягкий характер? Это ли не грубейшая ошибка?». Но, мне кажется, это соединение возможно. Дело в том, что симпатичность, мягкость характера, это — внешние качества, не касающиеся глубины души человека. Поэтому люди часто расходятся в определении симпатичности: одному человек кажется симпатичен, другому — нет. Мне кажется, в этом вопросе бывает больше разногласий, чем в вопросе, достоин ли человек уважения. Часто ведь слышишь: «Этого человека я уважаю, но он мне антипатичен». Эта внешняя симпатичность, мне кажется, помогла Дегаеву приобрести доверие революционных деятелей, скрывая за собой глубокие, конечно, отрицательные черты, сделавшие его изменником и предателем.

Дегаева сделали предателем глубокий эгоизм и страшная трусость. Глубину его эгоизма я, конечно, тогда увидеть не мог. О его предшествовавшей нашему знакомству революционной деятельности, в которой было много опасности и нужна была готовность на самопожертвование, я слышал самые лестные отзывы. Поэтому я ему приписывал только некоторую, так сказать, мелкую житейскую эгоистичность и в этом, конечно, ошибался, но трусость его меня поражала тогда же и я не мог ее никак соединить с представлением о революционере, каким являлся для меня Дегаев. Проявлялась она в нескольких случаях.

Беседуя о разных материях, мы коснулись как-то террора, и Дегаев признался мне, что, будучи убежденным террористом, он, тем не менее, не мог бы совершить терро-

ристического акта, так как вид крови его пугает, при виде крови он может упасть в обморок. Он говорил, что косвенное участие в террористических актах он может принимать, но так, чтобы он не видел неизбежных при этом страданий и крови людей. Такие признания сами по себе, конечно, не указывали на трусость, они указывали только на слабую, чувствительную, нервную организацию, но такая слабонервность могла служить физиологической основой трусости.

В другой раз был у нас спор о смертной казни. Дегаев говорил, что смерть через повешение его очень страшит, что он предпочел бы расстрел. Я возразил, что тот род смерти наилучший, который сопряжен с наименьшими страданиями, и что, как я читал, при повешении бессознательное состояние наступает почти мгновенно, страдание, следовательно, кратковременное, тогда как при расстреле, в большинстве случаев, бессознательности, повидимому, не бывает, а смерть наступает не моментально. Дегаев не соглашался с этим и с таким ужасом и горячностью отстаивал свое мнение, что мне тогда же показалось, что он вообще боится смерти, чувствует панический ужас перед нею. Это дало уже мне повод заподозрить в нем трусость. Вскоре некоторые факты опять мне это подсказали.

Однажды, часов в двенадцать дня, когда у нас шла работа и Дегаев стоял как раз против меня у станка, раздался звонок. Прасковья Федоровна вышла отворять дверь, и вот мы, сидя в своей запертой и занавешенной портьерой мастерской, услышали, как в соседнюю комнату вошли, что-то громко говоря, несколько человек. Дегаев страшно изменился в лице, оно у него как-то перекошилось; он зачем-то полез в боковой карман своего пиджака, порывшись там и как бы хотел ринуться к двери, но остановился... Вообще, он обнаружил такую страшную и странную тревогу, что я ему шепнул: «Если бы была опасность, она ведь предупредила бы». Он ответил: «Конечно», схватил шило, которое лежало на станке, и, зажав его в кулак, принял комично-оборонительную позу. Эта выходка, очевидно, была сделана с тем, чтобы маскировать предшествовавшие трусливые и странные движения. Дегаев пришел, так сказать, в себя, но все же, хотя эта сцена продолжалась всего не-

сколько мгновений, выражение трусости было так ярко, что я недоумевал и не мог отделаться от очень тяжелого впечатления. Через несколько минут пришла Прасковья Федоровна и объяснила нам, что приходил управляющий домом с архитектором. Дом был очень старый, и задуман был генеральный ремонт, и вот управляющий и архитектор обходили квартиры, что-то отмечая на плане. Прасковья Федоровна сказала им, что за дверью, завешенной портьерой, находится наша спальня, которую она не покажет им, так как там не убрано. Они вполне удовлетворились общим обзором квартиры с порога нашей залы и ушли во-свои.

Мне и другой раз пришлось наблюдать у Дегаева выражение какой-то заячьей трусости. Как-то во время перерыва в работе к нам зашел совершенно мирный знакомый, юнкер одного военно-учебного заведения, мой бывший ученик. Посидев некоторое время, он стал прощаться; мы вышли проводить его в переднюю. Я отпер уже дверь, она немного открылась, а мы все еще стояли в передней, кончая какой-то разговор. Вдруг дверь распахнулась. Обернувшись, я увидел Дегаева, который, войдя на порог и окинув нас взглядом, сделал движение, как будто собирался убежать обратно, потом спохватился, снял фуражку, опять ее надел... На лице его было то же выражение трусости. Я ему крикнул: «Милости просим, Петр Алексеевич». Тогда Дегаев стал затворять дверь, и я видел, как его рука тряслась, и он никак не мог попасть крючком в петлю. Все же он моментально оправился настолько, что еще у двери сказал: «Что это у вас двери не только не запираются, но даже не затворяются». — «Да вот гостей провожаем», ответил я ему.

Когда юнкер ушел, Дегаев признался, что, увидя военную форму рядом со мной, он вообразил, что меня уже уведут арестованного. Чего в подобных случаях пугался Дегаев, будучи агентом Судейкина? Трудно на это ответить определенно. Возможно, что о нашей типографии знал только Судейкин; известно, что у Дегаева с ним были подобные секреты от департамента полиции. Возможно даже, что и Судейкин не знал или не все знал о нашей типографии; Дегаев очень ловко обманывал Судейкина. Словом,

обнаружение нашей типографии, очевидно, грозило какими-то неприятностями, расстраивало планы Дегаева и, должно быть, ставило его, по крайней мере, в неудобное положение. Нужно заметить, что в это время, как потом мне сделалось известно, он уже совершил обратную измену и дал слово принять личное участие в убийстве Судейкина.

Как бы то ни было, трусость его мне тогда бросилась в глаза, а потом, узнав о его измене, я этой трусостью и боязнью смерти объяснил и его измену. Как умный и ловкий человек, он сумел не только купить свою жизнь ценою жизни других, но и занять очень видное положение при Судейкине. Последний вполне доверился ему, сблизился до дружбы. Дегаев, выдав все самое крупное в тогдашней организации «Народной Воли» и укрепившись на своей позиции, думал, должно быть, что ему удастся сохранить свою жизнь, скрывая свою измену, или, когда она, наконец, обнаружится, убрать с своей дороги всех тех, которые способны были ему отомстить. Но вскоре он с ужасом увидел, что его измена может сделаться известной не сегодня-завтра даже петербургской организации, где он крепче всего, так сказать, забаррикадировался. Он мог думать, что, несмотря на разгромы, новые нарастающие революционные силы могут выставить сколько угодно мстителей. Кроме того, даже совершая измену, он, мне кажется, продолжал верить в силу революционного движения, он не надеялся подавить его чисто полицейскими мерами и казнями. И вот, зная, что революционеры существуют и будут существовать в России, что его измена делается известной, он опять почувствовал панический ужас пред лицом смерти и решил совершить вторую измену. Свойственным ему лукавством и умом он обманул Судейкина. Только в последние дни Судейкин начал как будто сомневаться в Дегаеве, до этого он вполне ему доверял. Нелегко было Дегаеву играть иудину роль. Мне довелось видеть его незадолго до убийства Судейкина. Приехав из Москвы на сутки, я виделся с Дегаевым и провел с ним часа два-три. Не зная ничего об его роли, я был просто поражен его видом: бледное, осунувшееся и искаженное лицо, бегающие глаза с болезненным выражением. В простоте своей я сказал ему: «Вы, Петр Алексеевич, совсем больны; вам бы полечиться да по-

отдохнуть». На это он со смехом ответил, что он просто страдает мигренями. Смех совершенно не оживил его лица, а придал ему какой-то отталкивающий вид. Это мне запомнилось потому, что в прежнее, более спокойное время, беседуя с ним в нашей типографии, иногда за рюмкой вина, я замечал, что улыбка и смех придавали его лицу, как и всем лицам, симпатичный, душевный колорит.

Теперь, когда прошло уже много, много лет с того времени, можно без жгучей ненависти пожалеть, что в даровой натуре Дегаева не было тех внутренних устоев, которые дают человеку смелость смотреть смерти в глаза и не позволяют ему мириться с жизнью, купленной ценой измены и предательства.

V

Но вернемся опять к типографии. В сентябре мы выпустили «От мертвых к живым» — письмо о положении заключенных — и листок «И. С. Тургенев».

Гроб с телом Тургенева привезен был из Парижа в Петербург, устроена была торжественная встреча и проводы на кладбище при громадной толпе народа. Поэтому-то поводу и выпущен был листок, в котором, между прочим, было впервые напечатано одно из стихотворений в прозе под заглавием «Порог».

В октябре мы напечатали второе письмо о положении заключенных, под заглавием «Каторга и пытка в Петербурге в 1883 г.», небольшую шуточную сказку в стихах «Царь Ахреян» (А. П. Барыковой) и, наконец, № 2 «Листка «Народной Воли».

Я упоминал уже, что, когда было приступлено к печатанию «Приложения к № 1 «Листка «Народной Воли», мы получили в помощники некоего Трусевича, за которым водились странности.

Эти «странности» были слишком мелки, чтобы бросаться посторонним в глаза, и мы тоже не придавали им большого значения. Но вот однажды (помнится, мы кончали работу по печатанию № 2 «Листка») разыгралась совершенно неожиданная история.

Работа подходила к концу: мы занимались складыванием

листов, разноской и уборкой типографии; мне приходилось отлучаться из дому. Прихожу я однажды домой и застаю такую сцену. На диване сидит Трусевич с платком в руках, бледный, сильно расстроенный, со слезами на глазах. Около него суетятся обе дамы: одна дает ему что-то нюхать, другая держит перед ним стакан с водой. Оказалось, что Трусевич пришел прощаться, так как решено было уже, что мы с ним расстаемся. Прощаясь, он сильно расстроился, стал говорить какие-то несообразности, наконец, перед моим приходом почти потерял сознание, впал в обморочное состояние. Все это прямо уже указывало на психическое заболевание. Привели мы его немного в себя. Не помню точно своего разговора с ним, но, помнится, он, кроме обычных товарищеских прощальных слов, говорил о каких-то «высших силах», об особой опасности, которая грозит ему, о недостаточности своих сил, причем он как бы извинялся, что покидает нас. Трудно было его понять, и мне сделалось ясным его болезненное состояние, о котором я и решил сообщить людям, близко к нему стоящим.

Дня через четыре мы получили сведения о дальнейшем поведении Трусевича. Он приходил к своим знакомым, вел у них странные речи, разговаривал сам с собой, словом, вел себя, как психически больной человек. Всем стало ясно, что необходим за ним известный уход, но, к сожалению, не успели во время принять меры, и он скрылся с своей квартиры и где-то бродил. Потом только узнали, что он был ночью взят полицией в одном из скверов Петербурга. Арестованный, он продолжал разговаривать сам с собой, пел, нес какую-то околесицу, и связных речей от него добиться не было возможности, так что полиция скоро поместила его в психиатрическую лечебницу. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Положение хозяев типографии заставило нас совершенно «уединиться», и поэтому я очень мало встречался с товарищами и с друзьями в период с марта 1883 года по ноябрь того же года, когда типографию решено было убрать, а самим нам скрыться из Питера в виду предполагавшегося террористического акта над Судейкиным. Благодаря этому «уединению», мешавшему моему общению с близкими товарищами, я о многом за это время узнавал только пост

factum, а между тем время было интересное и тяжелое. Это было время «дегаевщины».

Дегаев явился к нам в Питер, как я говорил, делегатом от В. Н. Фигнер и, конечно, был соответственно принят. В. Н. была уже арестована. О его предательстве у нас никаких даже намеков тогда не было. Центр наш передал ему тотчас же все, в том числе типографию, в которой, как было уже сказано, мы с П. Ф. Богораз начали уже работать. Судейкину Дегаев, должно быть, не выдал нас, или сообщил, да и то не о всех, в порядке «секретных сведений», которые они оба не сообщали официально охранному отделению, а таили между собой и для себя, как об этом рассказывал потом покаявшийся Дегаев. Во всяком случае после убийства Судейкина арестованы были, как отмеченные Судейкиным в охранном отделении, Н. А. Караулов, Усова и Кривенко, и только. О типографии же и вообще о нашей деятельности в Питере ни мне, ни моей жене не предъявлялось ни одного вопроса ни на предварительном следствии после нашего ареста, ни на суде. Отсюда можно заключить, что Дегаев не все выдавал Судейкину даже и тогда, когда он еще не покался перед парижскими членами Исп. Комитета. Уехал он в Париж в конце июля или в августе 1883 г. тайно от Судейкина, под влиянием страха, что его предательство будет обнаружено *. Дело в том, что, хотя петербуржцы продолжали относиться к нему с полным доверием, юг и в особенности Одесса были очень встревожены **. Одесса совершенно прекратила сношения с нашей группой, Харьков очень осторожничал, Киев тоже. Питерцы не могли, конечно, догадаться, в чем тут дело, но все-таки Дегаев, в руках которого были все нити сношений, чувствовал все большее и большее недоверие со стороны провинциальных организаций и видел, что недалеко то время, когда и питерцы заподозрят его, разоблачат с помощью южан и убьют. Тогда-то он и решил поехать в Париж, покаяться и договориться с парижанами об убийстве Судейкина.

Парижане наши ничего не сообщали питерцам об этих

* См. прим. «Хронология дегаевского покаяния».

** См. прим. «Дегаевская провокация и провинциальные группы».

переговорах, так что мы были в полном неведении и считали положение своей организации очень хорошим. В самом деле, нельзя было не считать хорошей организацию, в которой была поставлена, хотя и маленькая, но деятельно работавшая типография, был паспортный стол, были деньги, были люди... Например, исполнителями будущего акта над Судейкиным намечались сначала 2 члена питерской организации, 2 морских офицера, а затем, по рекомендации, кажется. Розы Франк, — В. П. Конашевич и Н. П. Стародворский, правда, южане-подольяне, но связанные именно с нашей организацией. Наконец, у нас были связи с другими организациями, прекрасные способы перехода через границу, благодаря связям с поляками, очень близким личным, и с Каменец-Подольском. Правда, аресты продолжались, атмосфера недоверия все надвигалась. Как я уже говорил, мы стали замечать растущую тревогу и недоверие со стороны провинциалов, но мы не теряли надежды при возобновлении более тесных личных сношений побороть это недоверие. Для осуществления этого мог послужить съезд или конференция представителей существовавших организаций, очень желательная и вообще для подсчета сил, для выяснения дальнейшего направления нашей деятельности, для издания, наконец, очередного номера «Народной Воли».

Дегаев был сначала противником такого съезда. Потом и мы узнали, что парижский центр запретил ему устраивать такой съезд, и, помнится, он очень настаивал, чтобы съезд был отложен до окончания дела с Судейкиным. Но он не мог нас убедить, не раскрывая своей роли в этом деле, и наша группа настояла на созыве такого совещания до ликвидации дела Судейкина. Г. А. Лопатин тоже не мог при всем своем желании помешать этому съезду, так как он опасался, да и не должен был, вращаться в среде членов нашей группы. Присланный парижским центром с тем, чтобы следить за выполнением Дегаевым его обязательств*, он виделся, кажется, только с Дегаевым и с исполнителями — Стародворским и Конашевичем — на квартире, которую специально для этого дела наняла Руна Кранцфельд. К слову

* См. прим. «Роль Г. А. Лопатина в убийстве Судейкина».

сказать, роли Дегаева исполнители совершенно не знали. Каким образом Судейкин будет завлечен в ту квартиру, где они должны будут вместе с Дегаевым убить его, они понятия не имели; это мне говорили оба — и Стародворский, и Конашевич, причем прибавляли, что они убили бы на месте и Дегаева, если бы знали о его предательстве.

Итак, по настойчивому желанию нашей группы было решено созвать представителей уцелевших организаций на конференцию с целью укрепить связи, обсудить дальнейшую деятельность и пр. Представителем парижского центра у нас на этой конференции считался Петр Алексеевич, т. е. Дегаев. При обсуждении списка участников этой конференции я не присутствовал, а поэтому и не знаю, кто был приглашен, могу только довольно точно вспомнить тех, кто присутствовал на ней. Из нашей питерской группы участвовали в ней Н. А. Караулов (В. А. был уже спроважен Дегаевым в Париж), Усова, Якубович, П. Ф. Богораз, я, Дегаев и К. А. Степурин. С последним я впервые на первом собрании и познакомился. Из Киева был один только России. Зато от поляков-пролетариатцев было трое: С. Ч. Куницкий, Ф. Ю. Рехневский и А. Н. Дембский. Бросалось в глаза отсутствие представителей из Москвы, Харькова, Одессы и других мест. Дегаев объяснял это арестами, невозможностью во-время приехать и пр., но не только мне, но, должно быть, и другим стало ясно, что конференция обращается в совещание питерской группы с представителями «Пролетариата» и Киева. Тем не менее мы собирались раза 2—3, не больше. Не все вышеперечисленные лица посещали аккуратно собрания; но Дегаев, Степурин* и Куницкий были, насколько помнится, на всех, на которых я был.

На собраниях наших споров по программным вопросам не происходило. Для нас, петербуржцев, программа Исполнительного Комитета оставалась основой нашей деятельности. Рехневский, от имени «Пролетариата», не оспаривая нашу программу, изложил программу «Пролетариата». Никто ему не возражал; прения, насколько помню, велись в духе осведомительности и обмена мнений. Относительно

* См. прим. «К характеристике общественно-политических взглядов К. А. Степурина».

тактики, действительно, выявилось нечто новое, а именно высказано было мнение о необходимости приблизить террористический метод к массам. В подкрепление этого мнения приводился пример Желябова, который посылал Рысакова для совершения террористического акта (в Новгородскую губ., кажется) над каким-то незначительным чиновником, совершившим возмутительное насилие над целой деревней. Словом, на этом нашем совещании проявилось уже то, что впоследствии в полемике между «старыми» и «молодыми» народовольцами фигурировало под названием «аграрный» и «фабричный» террор. В организационном отношении высказывались за желательность большой самостоятельности местных групп. Все эти обсуждения были как бы предварительными, никаких решений категорических, окончательных я не помню. Твердо было установлено только следующее: 1) считать «центральной» группу из Дегаева, Н. Караулова, Росси и Степурина, как секретаря, 2) центральная группа должна окончить дело с Судейкиным, 3) после благополучной ликвидации Судейкина, связавшись с парижским центром и с его согласия, созвать съезд из представителей уцелевших организаций и, наконец, 4) подготовить и выпустить очередной номер «Народной Воли».

В таком виде припоминается мне эта конференция, участники которой, за исключением Куницкого, и не подозревали о роли Дегаева, о его тождестве с агентом охраны Яблонским*. Все это сделалось для нас ясным только после убийства Судейкина, в частности, я и П. Ф. Богораз узнали все подробности этого акта уже в Киеве из рассказа Конашевича, а затем из рассказа приехавшего из Парижа Караулова. Куницкий посвящен был в эту тайну, так как он должен был перевести и сопровождать Дегаева через границу после совершения акта, со строгим наказом в случае опасности ареста сначала застрелить Дегаева, а потом действовать по обстоятельствам. Дегаев знал об этом и боялся Куницкого, — сделалось это для меня ясным только впоследствии, в результате одной сцены, которая запомнилась мне, но была для меня тогда очень загадочна.

Дело было в конспиративной и очень укромной квартир-

* См. прим. «К истории российской дегаевщины».

ке, куда я пришел по приглашению Дегаева, который, кажется, и дверь отворял на мой звонок. В квартире я застал еще только одного, кажется, Степурина, а Куницкий вскоре пришел, когда я с Дегаевым уже завели какой-то разговор, сидя у маленького столика друг против друга. Не прерывая разговора, мы поздоровались с Куницким, который, постояв около меня, слушая, что говорил Дегаев, сделал тихонько 2 — 3 шага, как бы для того, чтобы встать сзади стула Дегаева. Дегаев вздрогнул, лицо его побелело и перекошилось; он привстал и вполоборота взглянул на Куницкого, который, спокойно взяв ближайший стул, сел опять ближе ко мне. В эти мгновения я внимательно слушал Дегаева, смотря ему в лицо, поэтому хорошо заметил эту мимолетную игру его физиономии, которую Куницкий, возможно, и не заметил. Думается мне теперь, что у Дегаева мелькнула мысль, не намеревается ли Куницкий встать сзади, чтобы удобнее застрелить его. Все это, повторяю, пришло мне в голову потом, а тогда все мы были в весьма доверчивом настроении, хотя и были очень озабочены предстоящим террористическим актом.

Вскоре после этой конференции в конце октября 1883 г., в виду того, что в Петербурге можно было после террористического акта ожидать большого переполоха, нам предложено было убрать и сдать типографию и уехать из Петербурга. Дегаев предлагал мне уехать, хотя бы на время, за границу. Мне за границу ехать не хотелось, да я и не видел в этом никакой надобности. Тогда он предложил мне перейти на нелегальное положение и уехать куда-либо в провинцию. Но я и против этого плана стал спорить. Свой паспорт я считал вполне чистым и потому думал, что могу продолжать жить под своей настоящей фамилией. Дегаев долго меня уговаривал и, наконец, уговорил-таки взять паспорт на имя отставного офицера. Рассмотрев внимательно, после ухода Дегаева, этот паспорт, я нашел его крайне неудовлетворительным, но сообщить ему об этом не успел, и мы уехали в Москву.

Еще раз обсудив с женой вопрос о том, по какому виду нам жить в Москве, мы решили предпочесть свой настоящий вид заведомо плохой фальшивке. Очевидно, доводы Дегаева в пользу перехода на нелегальное положение не ка-

зались нам неопровержимыми, и впечатление от них быстро испарилось. Таким образом, когда мы приехали в Москву и остановились временно в гостинице, я отдал в прописку свой собственный паспорт, по которому жил в Петербурге. Прожили мы таким образом благополучно в гостинице несколько дней и наняли затем квартиру, уже уверенные в благонадежности своего вида.

Прошло некоторое время, и вот в Москву является Дегаев. Когда он услышал, что я живу по собственному паспорту, то, помню, был страшно поражен и даже раздражен, хотя и старался, как мне казалось, скрыть свое негодование. Напал на меня за то, что я «по капризу», как он выражался, рискую своей свободой, нужной для дела. На все мои доводы, что за нами незаметно никакой слежки и что данный им мне фальшивый паспорт очень плох, он повторял одно, что мне нужно скрыться, что, во всяком случае, нам невозможно оставаться в Москве и необходимо уехать подальше. Затем, в конце разговора об этом деле, он очень хладнокровно, как бы мелком, сообщил мне, что виды отставных офицеров обязательно проверяются в Москве, так что, пожалуй, я и хорошо сделал, что не прописался по фальшивке, так как подлог обнаружился бы при первой же проверке. Это заявление и тогда меня поразило: ведь паспорт я получил от него же, Дегаева... «Впрочем, — думал я, — когда он вручал мне его, то, наверное, не знал еще об обязательной проверке в Москве». Таким только соображением я мог объяснить эту историю, но вполне разъяснить не успел, так как Дегаев затер разговор и перешел на другие темы. Впоследствии, когда я узнал уже о роли Дегаева при Судейкине и его обязательстве перед эмигрантами (которым он в конце лета покался в своем предательстве) не выдавать уцелевших членов организации, я понял, почему он так усиленно домогался, чтобы я перешел на нелегальное положение или уехал за границу. Но почему он дал мне такой паспорт, по которому я наверняка был бы арестован в Москве? Не потому ли, что мой арест при таких условиях он мог бы объяснить моей собственной неосторожностью? Я должен, однако, оговориться, что будь я арестован до убийства Судейкина (16 декабря 1883 г.) или вскоре после этого события, мне не гро-

зила бы никакая серьезная кара, и Дегаев (повидимому, с искренней симпатией относившийся ко мне и жене) мог иметь это в виду: его патрон унес с собою в могилу все сведения о петербургском периоде моей революционной жизни...

Питерская же организация, несмотря на то, что акт над Судейкиным удался и непосредственные участники — Дегаев, Стародворский, Конашевич, Руня Кранцфельд — успели скрыться, все же сильно пострадала. Были арестованы по записи у Судейкина: Н. Караулов, Усова, Кривенко, а на похоронах Судейкина — Росси и, как говорили, по его указанию, Мар. Пав. Кулябко, напечатавшая прокламацию о Судейкине и раньше работавшая в моей типографии.



КИЕВСКАЯ НАРОДОВОЛЬЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Конец 1883 и начало 1884 гг.

В начале ноября 1883 г. мне и жене моей (Прасковье Фед. Богораз) предложено было петербургским комитетом «Н. В.» после конференции, описанной мною в предыдущем отрывке воспоминаний, выехать в Москву для того, чтобы не подвергаться риску провала при той тревоге, которая, как мы, конечно, ожидали, будет вызвана террористическим актом над Судейкиным.

Ни я, ни моя жена не знали еще тогда главной подкладки и подробностей организации этого акта, но мы знали, что «Петр Алексеевич» (псевдоним С. П. Дегаева) примет активное участие в деле убийства Судейкина, и так как в нашей помощи не было нужды, то естественно было уехать из Питера. Москва выбрана была потому, что там предполагалось снова развернуть нашу типографию. Помнится, говорили, что после тех передраг, полицейских строгостей, обысков и даже высылки, которыми начальство подготовляло Москву к коронации, там наступило «успокоение», обычная московская жизнь с полицейским надзором, не столь строгим, как в Питере. Мы с женой должны были, вступив в сношения только с одним лицом из местной организации, ознакомиться с местными условиями, найти квартиру, обжиться в ней и помаленьку, разыгрывая роль обывателей, наладить типографию.

Так мы и начали свою уединенную жизнь в Москве, делились с одним или двумя лицами из местной организации,

да и то очень редко, так что ни фамилий, ни кличек их теперь я не вспомню. Стали уже готовиться к постановке типографии, как вдруг приехал Дегаев, сказал, что типографию в Москве решено не устраивать, и предложил нам уехать за границу с тем, чтобы вернуться для устройства типографии после совершения акта над Судейкиным. Оба мы категорически отказались ехать за границу, так как считали и себя, и наш паспорт абсолютно «чистыми». Дегаев был очень недоволен нашим упорством, но согласился, чтобы мы выехали из Москвы в Киев. Итак, мне пришлось сняться с квартиры, ехать в Киев, где мы должны были, опять-таки по уговору с Дегаевым, нанять хорошую, годную для типографии квартиру, с местными членами организации поддерживать только самые необходимые связи, не пускаться в местные дела и ждать распоряжений из Питера.

Приехав в Киев и заняв временно комнату «от хозяйки», мы узнали от Корниенко, явившегося по паролю, что недавно произошел большой «провал» — арестованы Присецкий, Малеванный и другие. Это заставило нас быть сугубо осторожными: Мы не только не стремились к встречам с местными деятелями, но и с моими личными знакомыми, которых было довольно много в Киеве среди студентов и студенток, так как я окончил Каменец-Подольскую гимназию, мы решили по возможности не встречаться.

Так очень уединенно жили мы, пока, вскоре после официального известия об убийстве Судейкина, к нам не явился Конашевич, непосредственный участник этого акта, приехавший в Киев тотчас после его совершения. Конашевич, во-первых, сообщил нам, что он пришел к нам вместо Корниенки, который недавно арестован, во-вторых, рассказал, как было организовано дело с Судейкиным и как оно совершилось. Рассказывал он долго и подробно; повторять его рассказ здесь не стоит, так как дело Судейкина достаточно освещено в исторической литературе. Но тогда мы впервые из его рассказа узнали о близости «Петра Алексеевича» (Сергей Петрович Дегаев) к Судейкину. Чем куплена была эта близость, мы еще не знали, а могли только догадываться. К сожалению, это первое свидание с Конашевичем было и последним: 3 января 1884 года он был арестован.

Арестованы были еще Дорожинский, Лаппо и др. Захвачено было при этих арестах много вещественных доказательств: шрифт, корзинка с материалом для приготовления динамита, принадлежности цинкографии и пр.

После этих арестов, переехав на новую квартиру, я увидел, что продолжать изолированную жизнь стало для меня невозможным уже по одному тому, что в Киеве не оказалось лица, которое могло бы объединить оставшиеся связи, а между тем в Киеве было трое нелегальных, именно: Щулепникова, Стародворский и Руня Кранцфельд. Приезжал в это время в Киев и А. Н. Бах, как он пишет в своих воспоминаниях (см. «Былое» за 1907 г.), но он не нашел меня; ему сказали, что я временно выехал из Киева. Должно быть, тут вышло какое-то недоразумение, ибо я, помнится, из Киева никуда не выезжал. Был проездом Сергей Андреевич Иванов, работавший тогда преимущественно в Харькове, который меня знал по встрече в Питере на квартире литератора Мих. Ал. Протопопова при неудачной попытке напечатать «Листок «Н. В.».

Если не ошибаюсь, во второй половине января 1884 г. мы с женой решили пригласить Сергея Иванова, пользуясь его случайным приездом, и Стародворского — подсчитать вместе с нами оставшиеся после последних арестов силы и спланировать дальнейшую нашу работу. Оказалось, что хотя аресты и сильно опустошили народолюбческие ряды, но все же кое-что сохранилось в виде отдельных группок или в форме связей. Так, сохранилась связь с духовной академией через Дашкевича, другая — с некоторыми студентами через Степанова, еще — через Затворницкого, еще — через Вадзинского и т. д.; всех теперь я уже и не вспомню. Были у меня и личные связи. При этом в нашем распоряжении оказалась, если не готовая типография, то все-таки довольно много шрифта и прочих типографских принадлежностей, из которых при некоторых затратах и хлопотах можно было, пополнив недостающее, создать довольно порядочную типографию. Мало того, были некоторые материалы для паспортного бюро, где-то (со временем это можно было определить) сохранились материалы для приготовления динамита и бомб. Денежные средства я на первое время рассчитывал получать из Питера, с которым у нас была тес-

ная связь. Кроме Харькова, другие местные организации непосредственно не были с нами связаны. Мы понимали, что переживаем момент дезорганизации, произведенной «дегаевщиной», что нужно связаться с общим центром, который был за границей, и другими местными организациями. Мы знали, что дело Судейкина — Дегаева вызвало в Питере не только аресты и известную растерянность, но и тревожное недовольство заграничным центром, который руководил этим делом и был ответственен за все последствия. Разделяя отчасти это недовольство, мы все-таки признали, как, впрочем, и питерцы и все прочие группы, первой задачей момента — выпуск № 10 «Народной Воли», редактированного именно заграничным центром. Из этого и из того, что все мы ожидали приезда агентов из-за границы, видно, что авторитет старого Исп. Комитета «Нар. Воли», оставшиеся члены которого жили за границей, всеми признавался. В частности, я тогда уже знал, помнится, что в Киев ко мне должен приехать из-за границы Василий Андреевич Караулов, которого так же, как и брата его Николая, я знал по Питеру. Сидеть, сложа руки, ожидая распоряжений, мы считали тем не менее невозможным, а потому решили помаленьку приступить к местной работе, а именно: 1) укрепить и наладить существующие связи среди молодежи и рабочих, 2) попытаться устроить типографию, если не для «Народной Воли», то для местного листка, 3) попытаться осуществить экспроприацию казенных денег на почте, для чего имелись уже некоторые предпосылки, например, «свой» человек в почтамте, имелись и исполнители. Так прекратилась наша изолированность, и решено было действовать.

II

Хозяйкой квартиры для типографии становилась Щулепникова, у нее должен был поселиться Борисович (Мартынов), который вместе с В. Панкратовым перебрался к нам из Харькова. Прасковья Федоровна (моя жена) и я должны были руководить устройством типографии и научить в ней работать других, но жить мы должны были на своей квартире. Предполагалось еще, что из Харькова придет человек, который тоже будет работать в типографии. План этот

был выполнен: нанята была довольно хорошая квартира во 2-м этаже небольшого домика, стоявшего во дворе. Помаленьку перенесли туда все принадлежности типографии, хранившиеся в различных местах, и начали работать, т. е. учить набору и печатанью Шулепникову и Мартынова. При организации этой типографии самыми деятельными работниками были, помнится, Дашкевич и Панкратов. Первым опытом была прокламация об убийстве в Харькове предателя Шкрябы.

В этих хлопотах, в которых принимали участие, конечно, и другие члены нашей группы, мы провели остаток января и начало февраля. Не упускали мы и другие нужные дела. Панкратову, умевшему недурно резать печати, мы думали поручить паспортное бюро. Помню хорошо одно собрание, правда, очень немногочисленное, где-то на Подоле, состоявшее из учащейся молодежи и рабочих, на котором мне пришлось выступить с информацией «по текущему моменту», как сказали бы теперь. Были, конечно, такие же «выступления» у Стародворского и других. Словом, мы вели местную работу обычным порядком.

В конце января 1884 г. приехал к нам П. Ф. Якубович. Он сообщил, что № 10 «Народной Воли» будет печататься в другом месте, поэтому с его согласия мы решили использовать налаживавшуюся уже нашу типографию для печатания местного листка под названием «Социалист». «Объявление» об этом органе киевской группы «Народной Воли» было написано М. Н. Васильевым и поступило в набор в нашу типографию. «Объявление» это излагало всю программу «Н. В.», как эта программа понималась нами.

П. Ф. Якубович рассказал нам о том, что делалось и творилось в нашей питерской организации. Несмотря на недовольство заграничным центром из-за судейкино-дегеевской истории, в Питере все же старались теснее сорганизоваться около этого центра; элементы для пополнения революционных рядов и средства имелись налицо, велась работа по всем линиям, несмотря на разгром и растерянность некоторых кружков. В дальнейшем плане организационной работы Якубович выражал желание дать местным организациям большую самостоятельность, автономию, а террор приблизить, как теперь сказали бы, к массам, т. е. не огра-

ничиваться применением этого способа только к главным заправилам государства, но употреблять его и против других угнетателей народа, если, разумеется, они того «заслужат» при очень строгой оценке. В этом мы были с ним согласны, и эти два пункта: «автономия» и «фабрично-аграрный террор», как их тогда окрестили, были главными разногласиями в спорах между Лопатиным и «молодыми народовольцами», происходивших уже после нашего ареста и о которых я узнал гораздо позже. Тогда в Питере еще не успел побывать никто из заграничных агентов, и, помнится, Якубович не знал еще всей подоплеки дела Судейкина — Дегеева, о котором нам рассказывал Караулов, приехавший, кажется, после того, как Якубович благополучно уехал в Питер.

Караулова, приехавшего в Киев прямо из Парижа, привел ко мне, помнится, Е. Д. Степанов, принявший Караулова по своей явке.

Караулов подробно рассказал о предательстве Дегеева, о планах Судейкина, о самом акте, об обстоятельствах совершения которого мы знали уже от Конашевича, наконец, о судьбе Дегеева, т. е. что его отправили на парусном судне в Южную Америку. Все это, всем известное, теперь не стоит повторять. Относительно организационных дел никаких разногласий у нас с В. А. Карауловым не было. Хорошо помню, что я стал ему передавать все киевские связи и дела, так как он должен был остаться в Киеве, а мы с женою должны были уехать. Предполагалось, что, наладив типографию и закончив дело с экспроприацией, мы оставим его в Киеве представителем центра, а сами уедем, перейдя на нелегальное положение.

Экспроприация, для которой приезжали товарищи из Харькова, не удалась, но попытки совершить ее, к счастью, остались необнаруженными: ни на следствии, ни на суде о ней не было сказано ни слова.

Устройство типографии, подготовка к экспроприации, конечно, требовали довольно большой сметы, которая и дала возможность жандармам развить наблюдение за нами. Откуда началась слежка, ни я, ни мои сопроцессники не могли определить*; но в конце февраля 1884 г. мы эту

* См. прим. «Откуда началась слежка за киевлянами?»

слежку заметили и стали принимать меры к «сокрытию» лиц и «вещественных доказательств». Первым делом нужно было снести типографию, очистить квартиру Шулепниковой. К сожалению, я не мог найти спешно хорошего безопасного места и, думая, что моя квартира может еще временно просуществовать, стал сносить в нее все и отовсюду, надеясь успеть помаленьку в 3—4 дня рассовать все это по другим местам. К несчастью, мы не успели даже очистить совершенно и квартиры Шулепниковой. Мартынов (Борисович), живший в этой квартире, пытался скрыться, нанял новую квартиру, но снова заметил слежку, снова пытался скрыться, но не успел, оказал вооруженное сопротивление и был арестован 3 марта. Стародворский успел скрыться, уехал в Питер и был арестован в Москве гораздо позже нас. Руню Кранцфельд мне удалось накануне своего ареста устроить (свою квартиру она бросила), кажется, на квартире Клары Левенталь, но она снова чуть не попала в лапы жандармам при аресте Панкратова. Он, Панкратов, приехав из Харькова, куда мы его посылали за подмогой людьми, оставил двух приехавших товарищей на вокзале, а на другой день после нашего ареста встретился где-то с Руней; они заметили «хвосты», попробовали убежать на извозчике, но были окружены переодетыми жандармами. Панкратов стрелял, ранил (слегка) жандарма, но был взят*, а Руня Кранцфельд благополучно скрылась. Товарищи, приехавшие из Харькова, тоже скрылись и уехали обратно. В ночь с 3-го на 4-е марта были арестованы Шебалин, Васильев, Затворницкий, Дашкевич, Степанов, Завадовский и Шулепникова. Позже Караулов, Дирдовский и другие. Так как среди арестованных оказались четверо нелегальных, а у нас на квартире и у Шулепниковой нашли много шрифта, оружие, документы и шифрованные письма, Новицкий придал большое значение нашему делу и всем ранее арестованным в Киеве (Малеванному, Присецким, Лаппо, Дорожинскому и комп.), из которых некоторым он угрожал военным судом, объявил, что их дела будут решены административно, а наше пойдет на суд. Это же вскоре он сказал и нам.

* См. прим. «Вооруженное сопротивление В. С. Панкратова».



Ведя дознание по столь «важному», с его точки зрения, делу, Новицкий старался изолировать нас четверых, а именно: Караулова, Панкратова, Борисовича (Мартынова) и меня. Содержал он нас при Старокиевском участке, где у него был изолированный коридор с 6 или 8 камерами; всех прочих он держал в тюрьме, где были тогда довольно сносные порядки. Но, несмотря на его старания, мы скоро стали сноситься друг с другом не только стуком и записочками, а и прямо разговаривать между собою в открытые форточки дверей. От скуки я стал даже давать уроки геометрии и алгебры Панкратову и Мартынову*. Но, разумеется, этой возможностью мы главным образом воспользовались, чтобы сговориться о нашем «деле», о нашем поведении и наших показаниях на суде.

Ясно, что мне, Панкратову и Мартынову незачем было отрицать свою принадлежность к партии «Народная Воля»**, а дальнейшие показания давать постольку, поскольку это могло быть полезно для других наших сопроцессников, которым обстоятельства дела позволяли защищаться, не признавая свою принадлежность к революционной партии. Так, Караулов, несмотря на то, что был арестован нелегальным, только что приехавшим из эмиграции, мог не признавать свою принадлежность к партии, объясняя свой отъезд из Питера, где он работал только в политическом «Красном кресте» (как он утверждал), интригами Дегаева, за которым стоял Судейкин, а возвращение—желанием легализоваться, так как за границей он не мог и не желал оста-

* Главное затруднение при этих уроках, заключавшееся в том, что мои ученики не могли видеть чертежа, который я делал, мы побороли следующим образом. Нужную фигуру (треугольник, угол и пр.) я делал из палочек или пальцев и показывал в открытой форточке двери. Тень же проекции этой фигуры, падавшую на противоположную стену (все камеры были по одну сторону коридора, а по другую была глухая стена), видел из своей форточки Панкратов, делал в свою очередь такую же фигуру, тень которой видел уже Мартынов. Они записывали эту фигуру в свои тетради, и я мог объяснить теорему, так как она и та же фигура была перед нашими глазами.

** См. прим. «К истории киевского процесса».

ваться. Все это он, разумеется, излагал не в двух словах, а давал подробные объяснения, причем вел их очень умело, не вредя никому, многое приписывая провокационной, двойственной работе Дегаева, прикрываемого Судейкиным. Могу удостоверить это потому, что он давал мне (разумеется, конспиративно) читать свои показания, которые он писал с дозволения Новицкого у себя в камере*.

Всего меньше улик было против Степанова и Завадовского. Их уличали исключительно показания жандармских унтер-офицеров, следивших за ними переодетыми в штатское платье. Показания эти были примерно таковы: «Такого-то числа Степанов и Затворницкий встретились на такой-то улице с Шебалиным или со Стародворским», или — «Стародворский приходил такого-то числа на квартиру, где жили Степанов и Завадовский». Подобного же рода улики были и против Затворницкого, с тою, впрочем, существенной разницей, что ему вменялось в вину еще то, что Стародворский жил одно время в Киеве под фамилией студента Мицкевича, который показал, что матрикул свой, уезжая на зимние каникулы, он оставил у своего товарища Затворницкого, — следовательно, заключало обвинение, Затворницкий передал матрикул Стародворскому, значит он его укрывал, значит, Затворницкий член партии и т. д.

К счастью не только тех лиц, против которых были такие улики, но к счастью и всех нас, у следователей не было «внутреннего освещения» по нашему делу, не было ни откровенных, ни провокаторских показаний. Таким образом, следствие не имело ни малейшего понятия о настоящей роли даже таких лиц, как Щулепникова, против которой были улики, что она жила нелегально и на квартире ее найдены некоторые типографские принадлежности, или Дашкевича, против которого приводился факт обнаруженного в духовной академии под лестницей склада нелегальных вещей. Не было у следователя показаний, что действительно этот склад устроен Дашкевичем, а не другим кем-либо, что Щулепникова действительно сама хотела, как и было на самом деле, быть хозяйкой типографии, а не при-

нуждена была, как мы старались уверить следствие, семейной неурядицей и деспотическим отцом жить нелегально и подчиниться предложению лица, давшего ей паспорт, сохранить некоторые типографские принадлежности.

Только одному нашему товарищу, именно Дирдовскому, очень не посчастливилось: его двоюродный брат Д.*, юнец, напуганный Новицким, рассказал, что Дирдовский давал ему нелегальные издания, что у Дирдовского ночевал Панкратов; из этого следовало по обвинительному акту, что Дирдовский принадлежал к киевской группе «Народной Воли». Н. П. Дирдовский придумал объяснение всем этим фактам, но, к сожалению, довольно сложное и поэтому неудачное, так что положение его было довольно тяжелым. Против М. Н. Васильева самая важная улика состояла в том, что у него найдена была рукопись, писанная его рукой, — упомянутое выше «объявление» об издании местного органа «Социалист», — с корректурным оттиском набора, который найден был у меня. Пришлось ему признать свое авторство с оговоркой, что писал он как бы по заказу одного своего знакомого, обратившегося к нему за помощью, как лицу, работавшему в газетах. Наконец, жена моя заняла позицию «жены» обвиняемого, которая может по закону ничего не говорить о своем муже и его деятельности, не подвергаясь обвинению в знании и недонесении.

Несмотря на недостатки предварительного следствия, не давшего внутреннего освещения роли каждого из нас, прокурор нашел возможным к нам троим: Борисовичу (Мартынову), Панкратову и Шебалину, признавшим свою принадлежность к партии «Народная Воля», присоединить и остальных 9 человек, т. е. Караулова, Щулепникову, Дашкевича, Шебалину, Дирдовского, Васильева, Степанова, Завадовского и Затворницкого, и, обвиняя всех нас в том, что мы составляли южно-русс. группу партии «Н. В.», подводил всех под 249 ст., грозившую смертной казнью, а Борисовича (Мартынова) и Панкратова еще под 279 ст. свод. воен. пост. за вооруженное сопротивление, также грозившую смертной казнью.

* См. прим. «Жандармские легенды ген. Новицкого».

* Данилевский, ехавший к отцу в деревню. См. у В. С. Панкратова в «Былом», кн. II за 1907 г., стр. 301.—Ред.

Рано утром 1 ноября 1884 г. всех двенадцать подсудимых из Лукьяновской тюрьмы, в которую незадолго до того перевели и четырех сидевших в Стапокиевском участке, повезли в суд. Перевозили с большой помпой: по одному в карете с двумя жандармами внутри, карету конвоировали шесть конных жандармов. Все подсудимые были одеты в тюремные арестантские костюмы.

В здании военно-окружного суда (на Бибиловском бульваре), где подсудимые прожили все восемь дней судебного разбирательства, для мужчин была отведена большая комната с десятью приличными кроватями и при них столиками и стульями. В этом помещении подсудимые ночевали, проводили время перерывов, обедали, пили чай и пр. В эту комнату ход был через другую большую комнату, в которой помещался караул, а по другую сторону была маленькая комната для дежурных жандармских унтер-офицеров, постоянно наблюдавших за подсудимыми. Конечно, у обеих дверей стояло по 2 часовых из караульной роты, которые без жандармов не пропускали из комнаты никого из заключенных. В таких же условиях в комнате через коридор помещалась П. Ф. Шебалина с грудным ребенком, родившимся в тюрьме, и В. В. Шулепникова. Днем женщины могли бывать и в комнате мужчин.

Все здание было окружено кольцом часовых; по Бибиловскому бульвару, по стороне здания военно-окружного суда, движение публики было прекращено; дежурила, сменяемая ежедневно, целая рота пехоты с двумя офицерами. Несмотря на эти строгости, рассчитанные на пресечение всех возможных попыток к побегу, обращение с подсудимыми и пища были вполне приличными. Это последнее, несомненно, зависело от председателя военно-окружного суда генерал-майора Кузьмина, который молодым офицером был осужден по делу петрашевцев* к разжалованию в солдаты и к этому времени снова дослужился до генерала. Дряхлый старик, он внимательно относился к заявлениям защиты и подсудимых и, видимо, старался быть беспристрастным, чего нельзя было сказать о другом судье, генерале Конис-

* См. прим. «О роли ген. Кузьмина среди петрашевцев».

ском, явно показывавшем враждебное настроение и к подсудимым, и к защите*. Остальные судьи (4—5 человек) были армейские полковники. Защита была представлена лучшими силами киевской адвокатуры; тут были: Куперник, Гольденвейзер, Линтфорс, Баженов, Извеков и др.

После оглашения обвинительного акта и долгого, скучного чтения некоторых документов, писанных и печатных (была прочитана целая брошюра «Подпольная Россия» Степняка)**, приступлено было к допросу свидетелей.

Главной задачей подсудимых и защиты при допросе свидетелей-жандармов было поколебать достоверность показаний шпииков, так как на этих показаниях основывалось обвинение в принадлежности к «сообществу» всех 12 подсудимых. Жандармы в своих первоначальных показаниях, приведенных в обвинительном акте по данным предварительного следствия, конечно, много путали невольно, а в некоторых случаях вралли умышленно, чтобы скрыть от начальства свою небрежность («упустил такого-то!!!»). На суде же, после того как прошло много месяцев после их беготни за подсудимыми, естественно путали еще более. Некоторые жандармы делали даже ошибки в опознании подсудимых, причем, конечно, большое значение имело и то обстоятельство, что всех подсудимых они видели одетыми в арестантские халаты, небритыми и нечесаными (выдумка Новицкого, как мера против предполагаемого побега), а на воле они видели их одетыми прилично. Новицкий, возлагавший огромные надежды на показания своих унтеров, бесился страшно: выдумал устроить «репетицию» унтерам и «показ» подсудимых, за что получил отповедь защиты и нагоняй от суда***.

Достоверность показаний значительно была поколеблена, в некоторых случаях фактически опровергнута, а «внутреннего» освещения не было.

При допросе других свидетелей — дворников, квартирных хозяев и свидетелей защиты — удалось еще более сбить обвинение. Так, напр., Якову Затворницкому вменялось в

* См. прим. «Подсудимые о судьях».

** См. прим. «Справки о «Подпольной России» Степняка».

*** См. прим. «Жандармы ген. Новицкого в роли свидетелей».

главную вину знакомство с Стародворским (обвиняемым в участии в убийстве Судейкина), которому он передал матриккул студ. Мицкевича. Затворницкий же утверждал, что с Стародворским он незнаком, а матриккул Мицкевича передал студ. Васильеву, который просил ему дать этот документ, чтобы, пользуясь им, его знакомый, окончивший университет, мог посетить несколько лекций известного киевского профессора. Все это подтвердили свидетели и сам Васильев, не называя, впрочем, фамилии знакомого, да это и не требовалось. На суде, повидимому, судьи догадывались, что это был Шебалин, но, разумеется, повредить ему это не могло. Положение Н. Дирдовского было гораздо хуже. Хотя он и придумал объяснение того, что у него, по показаниям Данилевского, бывали нелегальные издания и связи с нелегальной средой, но это объяснение было очень слабо. Он утверждал, что случайно в вагоне железной дороги познакомился с неким Олениным (настоящей фамилии которого он не знает), который и давал ему читать эти издания. Никого из подсудимых он за Оленина не признал и никаких улик против кого-либо из подсудимых, что он именно «Оленин», в дознании не было; судебским же подозрениям был широкий простор. Впрочем, и в этом случае некоторый успех защиты был: прокурор готов был согласиться, что Дирдовский «новый», только что примкнувший член упомянутой «группы».

Утверждение, что в состав этой группы входили все обвиняемые, удалось на судебном следствии значительно подорвать. Что же касается «съезда», то, так как судебное следствие не дало никаких данных о нем, даже прокурор отказался ставить его в вину подсудимым, а один из защитников в пику Новицкому, указывая, что многие лица, по данным самой жандармерии, успели выехать из Киева в этот период, сказал, что, по его мнению, речь идет скорее о «разъезде», чем о съезде.

Несмотря на все это, по окончании судебного следствия прокурор в своей речи продолжал настаивать на применении тех же статей ко всем подсудимым, излагая вкратце тот же обвинительный акт с некоторыми новыми украшениями в виде утверждений, что члены партии «Народная Воля» — это «герои кинжала, револьвера и динамита», что,

по его глубокому убеждению, «всякий знакомый Шебалина — погибший человек».

Защита и подсудимые решили попытаться вывести все дело из-под ст. 249. Эту задачу взяли на себя Куперник и Гольденвейзер. Оба они совместно разработали дело, речь же произносил Куперник. Он доказывал, что ст. 249 была создана после восстания декабристов 1825 г.; что она имеет в виду именно вооруженное восстание, т. е. «бунт войск», тогда как «Народная Воля» хотя и «стремится к изменению существующего строя насильственным путем и пр...» и озаменовала свою деятельность покушениями и т. д., но никогда ни разу не применяла восстания войск, а потому к лицам, принадлежащим к этой партии, нельзя применять этой статьи. Аргументация была подробная, с ссылками на различные издания законов, с предъявлением подлинных кодексов, с подробным юридическим анализом и пр.

Адвокаты, защищавшие Панкратова и Борисовича (Мартынова), указывали, что статья свода воен. пост. имеет в виду сопротивление «караулу», под которым ни в коем случае мы не можем понимать переодетых в штатское жандармских унтер-офицеров, которых обвиняемые могли считать обыкновенными гражданами, с какими-то целями нападающими на них. Ссылались адвокаты и на психологический эффект, естественный у человека, подвергающегося внезапному нападению. Защита требовала: полного оправдания студентов Степанова, Затворницкого, Завадовского и Дирдовского; применения ст. 250 к Шебалину, Панкратову и Мартынову, признавшим свою принадлежность к партии «Народная Воля»; признания виновными только в хранении нелегальных вещей Дашкевича, Васильева, Шебалину, Щупленникову и Караулову, причем двух последних еще и в проживании под чужой фамилией. В своих «последних словах» все подсудимые старались резюмировать результаты судебного следствия, свидетельствовавшие в их интересах.

Так, Караулов утверждал, что он не принадлежит к партии «Народная Воля», хотя, напуганный Дегаевым, и эмигрировал, боясь, что его арестуют за деятельность в революционном Красном кресте. Рукопись, писанная его рукой, не им составлена, а только переписана, что доказывается

тем, что в ней имеются пропуски неразобранных им слов *. Приехал он в Россию, чтобы легализоваться, и после встречи с давно знакомым ему Шебалиным был арестован. Далее Караулов хотел объяснить свое сочувствие идеям народоулучшения и коснулся «реформ Александра II», но был остановлен председателем и дальше не продолжал.

Васильев, не отрицая своего сотрудничества в «Социалисте» по приглашению Шебалина, доказывал, что членом партии он не был, между прочим, тем, что, как выяснилось на суде, год или два тому назад он хотел отправиться в кругосветное плавание. Затем Васильев назвал какие-то утверждения прокурора «шантажем» и был лишен слова.

Шебалин, признав свою принадлежность к партии «Народная Воля», сказал, что в Киев он приехал для осуществления целей этой партии и работал действительно в местной организации, из членов которой видит здесь только Панкратова и Мартынова. Подтверждая некоторые факты и знакомства, которые полезно было подтвердить в целях защиты, Шебалин указал на смехотворность утверждения прокурора: «кто знаком с Шебалиным, тот погибший человек», и утверждал, что косвенная прикосновенность к каким-либо действиям партии не дает права причислять прикосновенного человека к членам партии. Наконец, Шебалин категорически отверг определение прокурором народоулучшителей, как «героев кинжала, револьвера и динамита», на основании хотя бы того, что каждый террорист, идя на террористический акт, прежде всего обрекает самого себя на смерть, убедившись после длительной душевной борьбы, что это необходимо для дела революции. Закончил Шебалин утверждением, ссылаясь на читанную на суде литературу, что на террор толкает революционеров само правительством.

Панкратов, объясняя, как он стал революционером, коснулся положения рабочих и крестьян в России, но был лишен слова, когда стал доказывать, что правительство ставит препоны всякой легальной работе на пользу трудящихся.

* См. прим. «О рукописи, найденной у П. Г. Дашкевича».

Что касается речей других подсудимых, то они не сохранились ни в архивных материалах, ни в мемуарах.

На восьмой день процесса, после долгого совещания, суд вынес резолюцию (по которой Панкратову была назначена смертная казнь, правда, с оговоркой о смягчении), а 12 ноября был объявлен приговор в окончательной форме, по которому трое — Степанов, Затворницкий и Завадовский — были оправданы (они были выпущены на волю еще 8 ноября); двое ссылались на жительство: Шебалина в Тобольскую и Дирдовский в Олонецкую губ.; трое — Дашкевич, Васильев и Щуленникова — шли на поселение в Сибирь, и четверо были приговорены к каторжным работам: Панкратов — на 20 лет, Шебалин и Мартынов — на 12 лет каждый, Караулов — на 4 года.

В продолжение всей судебной процедуры все 12 подсудимых держались солидарно, ни у кого не появлялось ни малейшей тени неудовольствия на показания или на поведение другого товарища. Адвокаты, сразу понявшие и оценившие позицию подсудимых, старались не нарушать этот ансамбль и очень много помогали нам. Некоторые мелкие недоразумения между адвокатами и подсудимыми можно все-таки отметить. Так, защитник Васильева, великого спорщика, просил его не опровергать доводы, которые он намерен для оправдания Васильева привести в своей защитительной речи, а Мартынов очень было рассердился и не хотел разрешить своему защитнику рассматривать его вооруженное сопротивление как результат аффекта. Один из адвокатов старался вину своего клиента свалить на плечи другого, более зрелого и ответственного обвиняемого. Но все улаживалось благополучно, так как была полная возможность договориться.

Все промежутки между заседаниями суда мы проводили все вместе в описанной выше общей комнате. Защитники беспрепятственно входили к нам и беседовали не только о нашем деле, но и о том, что делалось на воле.

Вообще, несмотря на тяжесть обвинения, грозившую некоторым обвиняемым очень серьезными карами, несмотря на общую озабоченность провести процесс с достоинством и наименьшими жертвами, все подсудимые чувствовали себя очень бодро, жизнерадостно, иногда весело хохотали.

Обсуждая во время перерывов различные перипетии судебного следствия, показания свидетелей, жандармов, подсудимых, вероятные выводы, которые сделают судьи, подсудимые иногда переходили на комическую почву, и, к великому удивлению не только стражи, но и адвокатов, поднимался молодой здоровый смех. В особенности бывало весело, когда Васильев и Затворницкий начинали оценивать только что окончившееся заседание и предсказывать перспективы дальнейшего хода судебного разбирательства. Оба они не признавали себя виновными, защищались очень ловко, поэтому свое обсуждение начинали как будто совершенно серьезно, один (Затворницкий) — с украинским юмором, другой — с тонкой казуистикой. Но незаметно затем они переходили на шуточный тон, и тогда начинался такой смех, что мы долго не могли заснуть, причем серьезная часть их переговоров все-таки имела место и часто достигала цели.

Итак, защита и обвиняемые одержали немалую победу над обвинением: все дело было выведено из-под ст. 249, и трое были оправданы. Не только генерал Кузьмин, но и судьи-полковники согласились с доводами защиты, должно быть, потому, что и для их совести было невыносимо ставить одинаково под виселицу, напр., Шебакина и Затворницкого, Панкратова и Дирдовского: ведь был не 1906—1907 год, когда военные суды действовали с точностью пулемета.

Этот приговор очень разгневал высшие сферы. Из переписки киевского ген.-губ. Дрентельна видно*, что министр внутренних дел граф Толстой запрашивал о причинах столь «мягкого» приговора. Дрентельн оправдывался тем, что предварительное следствие было ведено так, что не дало данных для осуждения оправданных и для более сурового приговора остальным. Этот отзыв был, наверное, очень огорчителен для Н. Новицкого, который много хвастал этим делом и, кажется, получил какую-то награду за него. Затем Дрентельн, продолжая оправдываться, писал, что «каторжные работы, хотя бы на 4 года, он не может считать мяг-

* См. ниже, в отделе документов: «Военный министр Ванновский о «мягкости» приговора». Ред.

ким наказанием. Что касается судей из армии, то все они заслуженные офицеры: два командира полков, один командир саперного батальона и один старый батарейный командир».

Неизвестно, были ли какие-нибудь неприятности по поводу этого дела Дрентельну, но генерал Кузьмин был смещен с должности председателя суда, а главный военный суд издал циркуляр, который предписывал военным судам не выводить из-под 249 ст. дел о социально-революционной партии «Народная Воля» и ей подобных. Поэтому-то дело партии «Пролетариат», разбиравшееся в Варшаве в 1885 г. (дело Куницкого, Бардовского и др.), кончилось приговором всех к повешению; только потом приговор этот был детализирован и для многих смягчен, оставаясь в общем весьма свирепым. Относительную мягкость приговора по делу 12-ти можно приписать еще тому, что приговор по предыдущему делу В. Н. Фигнер и военной организации был очень жесток и, как говорили адвокаты, его свирепость вызвала в общественных кругах волну возмущения, что в свою очередь могло отразиться на настроении военных судей.

Как бы в утешение огорченных этим приговором высших властей края, министерство внутренних дел письмом за подписью Оржевского от 4 декабря 1884 г. за № 5188 сообщило генерал-губернатору «для сведения», что признано необходимым Панкратова, Борисовича, Шебакина и Караулова заключить в Шлиссельбургскую тюрьму*.

V

После объявления приговора в окончательной форме мы, разумеется, ничего еще не знали о нашем назначении в Шлиссельбург и, отвезенные снова в тюрьму, стали готовиться в отправке в Москву и даже в Сибирь, порадовавшись за оправданных и выпущенных на волю, которых, впрочем, Новицкий на следующий же день снова приволок в тюрьму, чтобы, продержав день-два арестованными, выслать их из пределов генерал-губернаторства.

В этих приготовлениях прошли недели три, и в это время

* См. прим. «Угрозы ген. Новицкого Шлиссельбургцам».

У нас возник вопрос о «бритье». Мы знали, что нас, каторжан и ссыльно-поселенцев, по закону должны обрить (полголовы) и заковать в ножные кандалы. Мы решили заковке в кандалы не противиться, а брить половину головы не давать. Мотивировали мы это тем, что бритье головы не может быть препятствием к побегу, каким, несомненно, являются кандалы. Бритье головы легко скрыть, оно является плохой предупредительной мерой против побега; как пережиток старины, оно представляется просто издевательством над личностью. Поэтому, подчиняясь силе, мы признаем заковку, как целесообразную меру против нашего стремления убежать, но бритью, как бесцельному издевательству, не подчинимся.

Не помню уже, устно или письменно сделали мы это заявление начальству, но оно, конечно, не согласилось с нами, ссылаясь на закон и правила этапной службы. Лично я был убежден, что наши мотивы не убедят начальство, что нас силой обреют и выйдет только большой скандал и шум. Но это тоже могло ведь быть полезно, в особенности при тогдашней обстановке в тюрьме.

Дело в том, что летом того же 1884 года Киевский университет праздновал свой юбилей, и все высшее начальство, начиная с министра, присутствовавшего, кажется, на юбилее, обставило это празднество так, что студенчество, и так раздраженное введением нового устава, чуть не поголовно взбунтовалось. Толпы студентов в дни юбилея ходили по улицам с пением украинских и революционных песен, выбили окна у ректора, устроили кошачий концерт перед университетом, куда их не пускали, и пр. Конечно, заработал Новицкий со всем «православным воинством»; вызваны были казаки и пехота; много студентов было арестовано. Кроме того, было много арестованных и по чисто политическим делам в связи с делом Лопатина, «Пролетариата» и пр. Вот для такого населения тюрьмы, в связи с настроением на воле, мне думалось, не вредно было устроить некоторую демонстрацию.

9-го декабря нам предложили идти на заковку и бритье, мы отказались. Потаскили нас из камер в канцелярию тюрьмы силой. Избиения, помнится, не было: тащили, взяв за руки и за ноги. Мы тоже не дрались, а только сопротив-

лялись. Все наши товарищи той части тюрьмы, где это происходило, стали бить стекла, ломать двери, кричать, стучать и проч., как водится в таких случаях *. Нас, конечно, силою обрили и опять перевели в камеры. Все успокоилось.

На следующее утро нас стали выводить, чтобы присоединить к этапу, шедшему в Москву. Как только вывели нас на большой двор, посыпались снова стекла из разбиваемых окон, послышались приветственные крики... — это протестом с нами та часть тюрьмы, которая, благодаря изолированности, не участвовала в протесте накануне.

На этапе в вагоне мы встретили, кроме наших сопроцессников, еще Клару Левенталь и Козловского, шедших в административную ссылку. До Москвы ехали мы вполне благополучно и даже весело, наслаждаясь обществом близких людей. По приезде в Москву от нас тотчас же отделили жену мою, Шулепникову, Левенталь и Козловского, а нас, остальных, посадили в одну большую камеру, откуда были удалены уголовные арестанты. На следующий день под вечер внезапно мы — четверо каторжан и Дирдовский — были вызваны для сдачи на этап, шедший в Питер. Тогда только мы стали догадываться, что нас хотят запереть в Шлиссельбург; Дирдовский же шел в Олонецкую губернию на жительство.

В Питере меня поместили в нижнем этаже Трубецкого бастиона. Камера была холодная, сырая, почти темная. Одежда — старое, драное белье и старый арестантский халат. Подкандалники и кандалный ремень отняли, так что кандалы волочились при ходьбе по полу, производя неистовый шум и натирая ноги. Гулять не водили. Постель, пища — все было как бы нарочито скверно.

В такой обстановке невесело прожил я дней 10—14, как вдруг 23 или 24 декабря 1884 г., на рассвете, ко мне в камеру ввалилась большая свора жандармов во главе с смотрителем. Меня раздели донага, обыскали, одели в арестантское платье, в котором я приехал, заковали руки и под руки повели из камеры. Все делалось почти в абсолютном молчании. Я ничего не спрашивал, а смотритель ограничи-

* См. прим. «Письмо современника о тюремных насилиях».

вался короткими фразами: «Нужно раздеться...», «нужно надеть полушубок и шапку...», «заковать руки»... Привели меня в какую-то большую комнату недалеко от выхода, где я увидел еще жандармов в походной форме, офицеров и даже двух генералов. Один из генералов подошел близко ко мне и как будто что-то хотел сказать или спросить, но, остановившись в двух шагах от меня, взглянул мне в лицо, посторонился и бросил: «Принимайте». Подскочил офицер с папкой бумаг в руках, спросил: «Шебалин, Михаил Петрович?» — «Да», ответил я. Он посмотрел в папку, повидимому, на карточку, сделал знак, и два жандарма, одетых по-дорожному, взяли меня под руки, вывели из бастиона, посадили в закрытую кибитку, сели со мной вместе, и мы тронулись в путь.

Было еще совершенно темно, да и полог кибитки был спущен, но я, зная хорошо Питер, скоро понял, что мы выезжаем на Шлиссельбургский тракт. Все-таки, когда мы были уже за городом, полог кибитки жандармы откинули и на меня глянуло бледное северное зимнее утро, я вдруг спросил: «В Шлюшин едем?» — «Точно так!» — выпалил невольно старший жандарм, страшно смутился и поглядел на двух других. Кроме двух, сидевших со мной на облучке, оказался еще один. Всю дорогу они молчали, изредка, и то вполголоса, почти шопотом переговариваясь друг с другом. На середине дороги нас встретил офицер, который, очевидно, нашел все в порядке; жандармы сделались более развязными, но я с ними не разговаривал. На одной из станций меня, не снимая ручных кандалов, угостили чаем с булкой и колбасой.

Около полудня наша кибитка въехала в крепостные ворота, над которыми мне удалось прочесть золотую надпись: «Государева», — так называлась входная башня Шлиссельбургской крепости, которую я посетил еще в 1881 г. летом, как турист, когда в ней был расположен дисциплинарный батальон. Через эти ворота вышел я снова только через 12 лет, в ноябре 1896 года.

Вместе со мною попали в Шлиссельбург Борисович (Мартынов) под № 17 (я под № 18), Караулов под № 19 и Панкратов под № 20.

Все они уже умерли. Мартынов, вывезенный вместе со

мною в Вилуйск в 1896 г.; переехал в Якутск и застрелился в 1902 году. Панкратов прибыл к нам в Вилуйск в 1899 г., в 1904 г. бежал в Россию, принял активное участие в революционном движении, в частности принимал деятельное участие в московском восстании 1905 г. Это обстоятельство, к счастью, осталось неизвестным царскому правительству, которое, снова арестовав его, сослало опять только в ссылку в Якутскую область. В ссылке и после революции он работал в научных экспедициях и как революционер. Умер в Ленинграде в 1926 году. Караулова увезли из Шлиссельбурга в 1888 г. в Сибирь, он долго жил в Красноярске, от которого и попал депутатом в III гос. думу. Умер в 1910 году.

Из моих сопроцессников Васильев и Дирдовский давно отбыли свой срок, и Васильев жил в Москве и умер в августе 1928 г., а Дирдовский — в 1930 г. в Ростове. Петр Григ. Дашкевич бежал из Тунки, долго жил в эмиграции, а теперь работает доктором в Калужск. губ. Жена моя, Прасковья Федоровна, не дошла до ссылки, умерла вскоре после смерти ребенка в Московской пересыльной тюрьме*. О Щулепниковой я слышал, что она вышла замуж в Сибири за Малеванного, возвратилась с детьми в Россию, а теперь уже умерла. Из оправданных по нашему процессу остался в живых, насколько мне известно, только Евг. Дмитр. Степанов. Он, после освобождения из тюрьмы, некоторое время жил, не оставляя революционной работы, в России, потом вынужден был эмигрировать в Париж, привлекался по делу о бомбах (провокация Гартинга) и был осужден к кааторжной тюрьме. В настоящее время живет в Ленинграде.

* См. прим. «Официальные документы о П. Ф. Шебалиной-Богораз».

ИЗ ШЛИССЕЛЬБУРГА В ВИЛЮЙСК

ШЛЮШИН — ПЕТРОПАВЛОВКА

Летом 1896 года министр внутренних дел Горемыкин посетил Шлиссельбургскую тюрьму, в которой я отбывал назначенный мне военно-окружным киевским судом каторжный срок в 12 лет. Обходя камеры, он вел себя с заключенными вполне корректно, поэтому я, вообще не любивший разговаривать с «высокопоставленными» посетителями, решил задать ему вопрос: «Увезут ли меня из Шлиссельбургской тюрьмы в этом году, так как в ноябре мне кончается срок каторги, назначенный в.-о. с.?» — «Если кончается срок, то, вероятно, увезут», ответил министр, несколько надувшись. — «Вы сказали «вероятно», значит не наверно?» — подхватил я. — «Нет, не то... тут вопрос времени года... Когда отходит пароход на Сахалин?» — спросил он вдруг, обращаясь к своей свите. Ответил ему, выдвинувшись вперед, Зволянский, директор департамента полиции, которого мы знали по прежним его посещениям нашей тюрьмы, но что именно, я совершенно не помню*. Помню только, что министр, обратившись ко мне, сказал: «Ну, вот видите, придется, вероятно, согласоваться с отходом парохода и, может быть, месяца два подождать его».

На этом наше свидание с министром и кончилось, а товарищи, которым я передал содержание своего разговора с министром, очень жалели меня, так как ясно было, что, по мнению министра, мне предстояло познакомиться с Сахалином. Но я не унывал, так как считал, что хуже «Шлюши-

* См. прим. «Письмо из Виллюйска».

на» нигде не будет, что ссылка даже за полярный круг при всей суровости той дикой обстановки жизни, хотя и подневольной, но все-таки не тюремной, лучше, чем жизнь в «усовершенствованной» тюрьме, хотя бы с электрическим светом, со сносным питанием, с книгами и другими льготами, которыми мы стали уже пользоваться в то время. Не все были, впрочем, такого мнения о ссылке.

Помнится, Василий Григорьевич Иванов, с которым я часто тогда виделся, очень пугал меня дикостью и суровостью сырьей жизни и уверял, что сам он предпочел бы остаться в тюрьме, конечно, рассчитывая на дальнейшие улучшения условий жизни в ней и на то, что когда-нибудь да будет отменена ссылка в гиблые места. К слову сказать, для себя Василий Григорьевич дождался этого: в 1904 году он был сослан на поселение в Ташкент.

Другие товарищи выражали сомнение в том, увезут ли нас двоих, меня и Мартынова, в назначенный срок? Ведь бывали случаи, когда оставляли в тюрьме нашей и по окончании срока еще на столько же лет; так было, напр., с Лаговским. Спорили мы и о том, где было бы лучше: на Сахалине или в Сибири. Вопрос был интересный, данных было мало и разговоров было много.

На всякий случай мы оба стали готовиться к отправке: обдумывали, что взять с собой, если позволят; заучивали адреса родственников и друзей, которых нужно было известить от имени остающихся в тюрьме товарищей, и пр. и пр. Наконец настал ноябрь. Нетерпение наше возросло до предела, и вот в конце ноября является комендант и объявляет каждому в отдельности повеление царя: выслать меня в Виллюйск, Мартынова — в распоряжение иркутского генерал-губернатора и туда же Суровцева и Яновича по сокращении им обоим срока на $\frac{1}{3}$, а Людмилу Волкенштейн тоже по сокращении срока сослать на Сахалин.

Понятно, какое возбуждение вызвало это сообщение у всех нас, не слыхавших ничего подобного, начиная с основания тюрьмы. Да к этому было еще прибавлено, что Поливанову, Ашенбреннеру и Василию Иванову назначен срок в 20 лет вместо бессрочной каторги, а Панкратову 20 летний срок каторги уменьшен на $\frac{1}{3}$. Сенсация была огромная; радость за освобождающихся, печаль об остающихся,

смешиваясь, образовывали конгломерат чувств, трудно описуемый.

Комендант объявил точно и день, когда нас пятерых, вывезут из Шлиссельбурга, так что мы могли проститься со всеми остающимися, взять от них поручения и вообще подготовиться.

Решил я взять с собой несколько рукописей и маленькие шахматы с доской, подаренные мне Антоновым. Суровцев взял мешок сухарей и два носовых платка. Эти вещи мы должны были сдать коменданту, который сказал, что он обязан передать их в Департамент полиции, откуда мы их получим после просмотра. И действительно через 1 год я получил свои рукописи в Виллойске, а Суровцев свой мешок с сухарями тоже получил в Колымске через год с лишком.

На дорогу начальство выдало нам новое обмундирование: белье, штаны и куртку из арестантского сукна (но без арестантских отметин), на ноги коты с суконными портянками и почему-то не арестантскую круглую бескозырку, а рыночную шапку, ватную, из бобрика, какую носила городская беднота.

Трудно передать тот вихрь мыслей и настроений, который пришлось переживать при всех этих сборах, прощаниях. Иногда днем, а в особенности ночью, как молния, прорезывалась в сознании мысль: «выхожу из могилы!!!» И все существо содрогалось от восторга; хотелось кричать, скакать... но... «А они (остальные товарищи) остаются в могиле!» — вставало с ужасом в этом же сознании. И сердце сжималось почти смертельной тоской. Хотелось что-нибудь сделать, сказать, протестовать, как-нибудь помочь остающимся... «Конечно, это безумная мечта, — говорило сознание, — ничего нельзя сделать!»... Тем не менее это было так жгуче, что с трудом приходилось сдерживать самого себя от какого-либо безумного шага. Недаром 2 года тому назад мы еле-еле убедили Манучарова мирно выехать по окончании срока, а не сопротивляться. «Пусть освободят всех! Один я не пойду! Пусть вынесут связанного!» — говорил он под влиянием такого же аффекта... «Да что ожидает тебя там?» вдруг вставал вопрос в возбужденном сознании. «Может быть, прав Базиль?» (Василий Григ. Иванов). «Может быть, там вспомнишь с сожалением о чистой камере

с электричеством, водопроводом, со сносной пищей, с книгами?..» Но из глубины души поднимался протест: «Нет, нет! Там все-таки будет свобода! Свобода!»... И при этом слове «свобода» как будто электрический ток пробежал по всему существу. «Не будет стен, не будет глаз, не будет сопровождающих! Я волен буду сделать с собой, что захочу... Буду работать... труд и нужда совсем не страшны. Там же живут люди... Я буду с людьми, а не с жандармами... Там я встречу, пусть диких, но людей (а не бездушных исполнителей чужой воли), с которыми я могу сойтись по-людски... Пустыня, леса не страшны, а желательны!.. Свобода! Захочу — буду жить, захочу — смогу умереть в любом озере, в реке, в лесу!»

От этого вихря мыслей и чувств стараешься, бывало, перейти к более трезвому рассмотрению обстоятельств предстоящей жизни. Но увы! Никаких конкретных данных, на которых можно было бы, хотя предположительно, основывать план будущей жизни, у нас не было. Из писем родных, которые нам только что начали «сообщать» (самых писем даже не показывали, сообщали только содержание их... Это через десять лет полной неизвестности), мы могли знать, кто из родственников жив и где живет, и только. О порядках и делах общественных мы тоже, разумеется, ничего не знали. Старые журналы, допускавшиеся к нам, подбирались так, что мы были почти в полном неведении даже о настроениях, господствовавших в то время. Знали мы, что Витте провел девальвацию, т. е. золотое обращение, и проводит «винополю»... Знали об измене Тихомирова... Кое-что о внутренней жизни России и о жизни других государств и народов удавалось нам выудить из старых номеров «Вестника Европы», «Вестника Финансов», «Нивы», но очень мало, совершенно недостаточно, чтобы составить какой-либо план своей жизни по выходе из Шлюшина. Между прочим, когда я стал читать данные нам «новые» журналы (для нас новые, так как нам в течение 10 лет не давали периодических изданий), то я заметил с удивлением (я не филолог), что язык их, в особенности в публицистических и литературных статьях, уже не тот, что был раньше. Появилось много новых слов, выражений, новых сочетаний... Язык развился, изменился... Конечно изменилась и

вся жизнь во всех ее проявлениях: но как, в каких конкретных формах? — это оставалось неизвестным. А воля, хотя бы относительная, все-таки манила, и думалось: «там» ориентируюсь, узнаю, кто из старых товарищей жив, свяжусь с ними, узнаю и общественную обстановку... Многое, конечно, изменилось за 12 лет... 12 лет — срок немалый! К лучшему или к худшему, вот вопрос! Но вот ведь стали нас выпускать, что это значит? Или «они» перестали бояться нас, потому что революционное движение совершенно подавлено, или они, выпуская нас, готовят место для новых деятелей... Ничего неизвестно!..

В таких мыслях прошло несколько дней подготовки к отъезду, и вот в один прекрасный день после обеда нас стали «выводить» по одному «со всем шлюшинским ритуалом», т. е. окруженного жандармами, в сопровождении жандармского офицера. Вызвали меня, кажется, третьим или четвертым. Первых я видел из окна, когда они шли уже по большому двору крепости, вне нашей проклятой тюрьмы. Вышел и я через караулку на двор и, отойдя немного, оглянулся и поклонился по направлению тюрьмы, в некоторых окнах которой стояли оставшиеся товарищи и махали платками. Момент этот трудно позабыть*. Все те мысли, которые я пытался изложить выше, сразу нахлынули, и я, пожалуй, упал бы, если бы меня не поддерживали два жандарма, которые шли рядом, почти держа меня под руки: таков был шлюшинский «ритуал», по крайней мере по отношению ко мне.

Прошли мы большим двором, затем воротами входной башни, на которой красовалась золоченая надпись «Государева», бросившаяся мне в глаза, когда меня привезли в Шлиссельбург 12 лет тому назад, и вышли на берег острова. «Тогда» меня привезли в санях, а теперь, к моему удивлению, подвели к пристани, у которой стоял довольно большой баркас, а в баркасе увидел я Людмилу Волкенштейн и других товарищей, ранее меня приведенных. Оказалось, что исток Невы не было еще покрыт льдом, и баркас с нами и с 5—6 унтер-офицерами и 3 офицерами переплыл на другой берег, где мы высадились и, окруженные жандармами, про-

* См. прим. «Отрывки из воспоминаний В. Н. Фигнер».

следовали уже все вместе внушительной группой по лесной дороге к поезду Ирининской ж. д., поданному специально для нас. Встретили нас у поезда тоже жандармы и усадили в небольшой вагон типа трамвайных, всех в ряд на одной стороне, а против нас сели 5—6 жандармских унтеров. Офицеры поместились в отдельном купе, из которого, впрочем, легко было видеть всех нас. Поезд тронулся, подошел к станции, на которой простоял некоторое время, и пошел дальше. Впрочем, за точность мелочей этой поездке не могу поручиться. Дело в том, что давно невиданный лес, общий ландшафт, вагон железной дороги и все прочее, внешнее, буквально опьяняло, и все это я воспринимал и вспоминаю, как в тумане. Даже жандармы, старые наши жандармы, казались какими-то другими... Помню, нас угощали чаем, кажется, на первой станции; чай в стаканах подавал на подносе унтер, а печеньем к чаю угощал сам смотритель нашей тюрьмы. Жандармы были не только вежливы, но предупредительны, хотя в длинные разговоры ни мы, ни они не пускались. О дальнейшей нашей судьбе они говорили, что ничего не знают, а везут нас в Петропавловку.

Так мы ехали очень медленно по Ирининской ж. д. до вокзала Финляндской ж. д., на котором довольно долго стояли на запасном пути. Очевидно, ждали, когда стемнеет, чтобы по возможности меньше привлекать внимание публики к нашему кортежу. И действительно, когда стемнело, нас стали снова выводить по одному и сажать в закрытые кареты с офицером и двумя унтерами внутри.

Кареты примчали нас в Петропавловку, и вот я снова увидел решетчатые ворота Трубецкого бастиона. В большой камере со сводами в нижнем этаже мы все были снова собраны и быстро сданы крепостному начальству, которое тотчас развело нас по отдельным камерам, так что мы едва успели последний раз проститься.

II

ПЕТРОПАВЛОВКА—ПЕРЕСЫЛКА—МОСКВА

После обычного для Трубецкого бастиона переодевания в одной из камер верхнего коридора, меня поместили в камеру того же коридора, а не нижнего, в котором я сидел

12 лет тому назад. Камера моя показалась мне гораздо лучше той, в которой я сидел прежде. Уж то было хорошо, что она была сухая и теплая. Кровать также была лучше: положено было два тюфяка. Да и белье, халат и обращение были не те, какие я встретил 12 лет назад, когда провел недели 2—3 в холодной, сырой камере нижнего этажа, закованный в ножные кандалы, которые волочились по полу при ходьбе со страшным лязгом. Видно, начальство хотело подчеркнуть, что оно понимает разницу положения выпущаемого на поселение и идущего на заключение в тюрьму.

Почти тотчас же после моего водворения явился снова смотритель и предложил на ужин какое-то весьма приличное кушанье. При этом смотритель выразил, к моему удивлению, как бы «соболезнование», что пришлось мне просидеть так долго в одиночной Шлиссельбургской тюрьме.

В этот же первый вечер, после того, как я очень хорошо поел и запил ужин чаем с сахаром, явился ко мне сам комендант крепости ген. Эллис (кажется). Он приветливо спросил, как я устроился и как я себя чувствую в новом месте и не имею ли каких-либо просьб. Выразив ему свое полное удовольствие от «всей обстановки», которую я нашел во вверенной ему «сиделке», я сразу же спросил: «А долго ли мне придется здесь сидеть? Мне хотелось бы как можно скорее отсюда выбраться». Генерал добродушно засмеялся: «Вы же говорите, что здесь вам недурно...», сказал он. Но когда я объяснил ему, что уже 12 лет сижу в тюрьме и поэтому хотел бы скорее освободиться хотя бы от самых приветливых тюремных стен, он, повидимому, понял меня и сказал серьезно, что все это не от него зависит, но что он передаст кому следует об этом моем желании. Просил я его еще разрешить мне написать письма моим родным, на что он сказал, что завтра он, должно быть, даст это распоряжение, а сегодня уже поздно.

Действительно, на следующий день мне дали почтовой бумаги, перо и чернила, и я написал брату Дмитрию и матери моей, которая жила с ним в дер. Новоселках, Лаишевского уезда, Казанской губернии, чтобы они не хлопотали о свидании со мной, так как я хочу как можно скорее уехать на поселение, да и им было бы очень трудно зимой ехать из деревни в Питер, не говоря уже о том, что на это

потребовалось бы немалое количество средств. Сообщая о моем назначении в г. Вилуйск, я просил выслать денежную помощь, какую могли бы они мне уделить, в Иркутск в адрес генерал-губернатора для передачи мне. Свидание же, как оно ни желательно, предлагал отложить на более удобное время. Писал я так потому, что действительно мне нетерпеливо хотелось скорее освободиться от тюремных стен, а с другой стороны, я не знал, разрешат ли мне ждать приезда родных в Петропавловской крепости, причем, повторяю, всякий лишний день пребывания в этой крепости страшил меня до чрезвычайности. Что касается денег, то я думал, что они всего более понадобятся за Иркутском, а до Иркутска я решил проехать на те суточные, которые, я надеялся, мне будут ассигнованы правительством, как мне говорил и комендант.

В тот же день, в который я сдал свое письмо матери, или в следующий, ко мне пришел какой-то чиновник не то департамента полиции, не то тюремного ведомства, в ведение которого я должен был перейти, как высылаемый в Сибирь, с каким-то опросным листом. Ему я повторил тоже свое желание как можно скорее выехать, изложив откровенно все мотивы, почему я отказываюсь видаться с родными и предпочитаю хоть тотчас же отправиться в дальнейший путь. Чиновник успокоил меня, сказав, что первым же этапом меня вывезут из Питера.

И действительно, чуть ли не на следующий день вечером, часа в четыре — пять, принесли мне шлиссельбургское одяние и сказали: «Пожалуйте, переодевайтесь, поедете в пересыльную тюрьму». Таким образом, в Трубецком бастионе просидел я не более 3—4 дней. С едва сдерживаемым восторгом облачился я снова в шлюшинское платье и в большой приемной камере был сдан вместе с большим пакетом жандармскому ротмистру в присутствии коменданта, который пожелал мне «доброго пути»! Вышли мы через железные ворота и уселись в карету: я и офицер на заднее сидение, два унтера против нас. Хотя в карете были опущены занавески у окон, но я, зная хорошо Питер и видя кое-что через щелки, обнаруживавшиеся при качании занавесок, стал угадывать, что мы выехали Иоанновскими воротами, проехали Троицким мостом, набережной Невы мимо дворцов,

через Дворцовую площадь. Офицер, очевидно, заметив, что я наблюдаю в щели, повидимому, не хотел этому препятствовать, поэтому я решился его спросить: «Мы переезжаем Дворцовую площадь?» — «Да. Вы знаете Петербург?» — спросил он. «Да, — ответил я, — как же, ведь я окончил здешний университет; но вот более 12 лет не видал Питера». «За 12 лет, — сказал офицер, — многое изменилось в Питере... Фу! как душно! Отвори-ка окно», — продолжал он, обращаясь к жандарму. Тот отворил окно, разумеется, со стороны офицера, а офицер и занавеску почти совсем откинул, так что я со своего места ясно увидел Невский проспект, запруженный экипажами, в ряд которых въехала и наша карета. Тротуары были полны народом, магазины блистали витринами, электричество сияло ослепительно. Эта картина, в сущности такая простая, обычная для человека, живущего нормальной жизнью, произвела на меня неизгладимое впечатление, воскресающее и теперь в моей памяти. Ехали мы медленно и довольно долго. Офицер, очевидно, добродушничал: он завел со мной разговор, который я теперь точно не помню, но, кажется, он спрашивал, откуда я родом, где учился и проч. О себе он сообщил, что он родом из Литвы, но русский по национальности. Отвечал и слушал я невнимательно, поглощенный тем, что видел в окно; картина эта совершенно, почти до потери воли, меня приковывала.

Наконец, приехали мы в пересыльную тюрьму. Процедура сдачи протянулась довольно долго, благодаря курьезному спору о том, снять ли с меня шлюшинскую одежду или оставить. Жандарм утверждал, что одежда принадлежит им, т.е. жандармскому управлению (что ли?), а тюремное начальство не хотело меня принимать без одежды. Одежду тюремное начальство отстояло, но полушубок, помню, был взят жандармом, и я остался в одном армяке арестантского сукна. После этого старший ключник без особой помпы провел меня на второй или третий этаж в одиночку, сказав, что ужина мне не будет, но хлеба и кипятку даст, и ушел, прося прочесть правила, висевшие на стене.

Обращение было вежливое, тюрьма, поскольку я видел, содержалась чисто; в некоторых общих камерах я заметил через решетчатые ворота, мимо которых меня прово-

дили, арестантов, занятых работой (сапожной, кажется); слышался говор, мелькали проходящие фигуры арестантов и ключников, словом, тюрьма жила. Это было ново, т.е. старо, но воспринималось, как новое, и волновало...

Дали мне все-таки не только хлеб и кипяток, а что-то поужинать, и я, поевши, крепко заснул, чувствуя, что еще один шаг к свободе пройден.

На следующее утро, рано проснувшись и осмотревшись, я нашел камеру чистой, благоустроенной, но отметил крупный недостаток; это — параша, которую ставили на ночь и которую приходилось самому выносить в положенное время. Согласно прочитанным правилам, убрал я камеру, сходил умыться, принял кипяток и хлеб и, конечно, спросил помощника смотрителя: «когда будет этап?» К величайшему моему удовольствию, тот сказал: «этап будет завтра». Пригласив на прогулку, ключник по дороге сказал мне, что здесь же другой шлиссельбуржец тоже ждет этапа. Фамилии он не знал или не хотел сказать, но тем не менее это меня обрадовало. Гулял я полчаса по маленькому дворику под присмотром ключника. Идя на прогулку и возвращаясь с нее, встречал я многих арестантов, которые, видимо, знали, что я шлиссельбуржец; некоторые пытались со мной разговаривать, но ключники останавливали наш разговор, и поговорить не удалось, кроме нескольких вопросов и ответов, из которых было заметно, что наше появление произвело некоторую сенсацию.

Придя в камеру, застал я слесаря, который возился с замком моей камеры. «Что же ты до сих пор не кончил!» — сказал ключник с неудовольствием, впустил меня в камеру и ушел. Слесарь продолжал возиться еще с четверть часа. За это время он успел спросить, а я ответить на вопросы: откуда я и куда меня везут; кто я, за что я был осужден и как жилось в Шлиссельбурге. В этом разговоре я все-таки держался осторожно, в особенности в ответах на вопрос, как жилось в Шлюшине, опасаясь, не подослан ли слесарь, чтобы выведать, как я буду описывать свое пребывание в Шлиссельбурге. «Пуганая ворона и куста боится» — вспоминалась тогда же мне самому! День прошел быстро, хотя я ничего не читал; от книг отказался, не читалось, а газет не давали. Ждал с нетерпением этапа. Ел и спал я исправно.

Вообще пересыльная тюрьма произвела на меня неплохое впечатление: чистота, порядок и, повидимому, хорошее, человеческое отношение ко всем арестантам. Совсем не такой я ее увидел в 1909 году, т. е. через 13 лет, когда меня снова посадили в нее, чтобы отправить в ссылку в Пинегу. Но об этом когда-нибудь потом.

Вот и день этапа. С утра мне выдали мешок с кое-какими арестантскими вещами и провиантом, какими именно, не помню, но не выдали ни полушубка, ни валенок. Это я хорошо помню, потому что из-за этого было много разговоров в дальнейшем пути. Только сойдя вниз на приемку этапа, я увидел, что вместе со мной отправляют Д. Я. Суровцева. Нас приняли последними, причем я узнал из разговора принимавшего конвойного фельдфебеля и какого-то чиновника, что я и Суровцев идем в ссылку «без кандалов» по высочайшему разрешению в изъятие из общего закона, по которому лишенные всех прав состояния должны заковываться при следовании этапом. При приемке нас очень подробно осмотрел доктор. По окончании приемки нас вывели к построенному уже на улице этапу, окруженному довольно большой толпой провожавших, и усадили в карету вместе с двумя надзирателями. Шум улицы, говор и плач провожающих, окрики конвойных — все это произвело такое ошеломляющее впечатление, на меня по крайней мере, что я был очень доволен догадливостью начальства, которое решило выделить нас в карету, а не смешивать нас с общей массой арестантов, идти с которой мы вряд ли были в состоянии, несмотря на краткость пути. Предстояло ведь пройти только до Николаевского вокзала, где на запасных путях ждали посадки этапа несколько обычных арестантских вагонов. Нас из кареты проводили в один из арестантских вагонов и посадили среди арестантов, закованных в ножные кандалы. Вскоре появился капитан — начальник этапа, очевидно, проверявший правильность посадки этапа, и, пройдя вагон, обратился к сопровождавшему его и принимавшему этап фельдфебелю с вопросом: «Где же секретные?» «Здесь, ваше благородие!» — ответил фельдфебель, указывая на нас. — Вот они!» Капитан внимательно посмотрел на нас и, уходя, что-то объяснил фельдфебелю вполголоса. Через несколько минут нас попросили перейти в другой

вагон, где в небольшом купе нам отвели по лавке на каждого. Кроме нас двух и одного сменявшегося через установленное время конвойца, сторожившего нас, в этом же купе помещался фельдфебель и еще человека 2—3 в своем, а не в арестантском платье, но, очевидно, тоже высылаемых этапным порядком.

Когда поезд тронулся, мы успели присмотреться друг к другу: фельдфебель предложил нам добыть кипятку на одной из станций, причем вступил в разговор, спрашивая, где мы отбывали каторгу, почему едем «налегке», как он сказал: не имея ни вещей, ни своей одежды, ни даже чайника и кружки. Нужно сказать, что Суровцев ехал без всяких «вещей», так же, как и я, с тем, с чем нас вывели из Шлюшина, — это обстоятельство, естественно, обращало внимание конвоя. Так как Суровцев был чрезвычайно неразговорчив, то объясняться чаще всего приходилось мне. Отвечая на вопросы о «вещах», я объяснял, что мы оба не успели спастись с родными и рассчитываем застать всех нужным в Иркутске. Фельдфебель предложил пользоваться его чайником и кружкой, чем я с благодарностью и воспользовался. Суровцев же, который не пил не только чая, но и кипятку не употреблял, довольствовался тем, что запивал черный хлеб холодной водой. Это его обыкновение всегда производило сильное впечатление на сторонних окружающих. Его объяснению, что он поступает так потому, что считает чай и кипяченую воду вредными для своего организма, никто, по моему наблюдению, не доверял. Все предполагали причину такого поведения в чем-то другом, и начинали, как я заметил, смотреть на него как-то особенно, чему способствовала и сама наружность Д. Я. Суровцева, напоминавшая древних русских подвижников*.

До Москвы мы ехали около суток, питаясь одним хлебом. За это время к нам подходил и офицер — поспрашивать, как жилось в Шлиссельбурге, когда были осуждены и за что и т. п. Один из высылаемых, ехавший в своем платье, тоже подсел с разрешения конвоя и завел разговор, расспрашивая с большим, казалось, участием к нашей судьбе. Но я на все вопросы отвечал очень сдержанно, не впадая в из-

* См. примечание «К характеристике Д. Я. Суровцева».

лишнюю откровенность, опасаясь особенно рассказывать подробно о жизни в крепости. Может быть, это была излишняя осторожность, навеянная общим владением еще нами тюремным «могильным» настроением, но мне казалось, что, откровенничая о тех порядках, более сносных, которые водворились в Шлиссельбурге за последние годы нашего пребывания там, я рисковал подвести их под удары высшего начальства и таким образом могу повредить оставшимся там товарищам. А о прежних варварских порядках, при которых процент смертности среди нас рос так, что стал угрожать существованию самой тюрьмы, а тем более о тех трагедиях, которые разыгрывались у нас, не приходилось говорить откровенно всякому встречному, а в особенности конвойному, хотя бы и очень любезному.

Конечно, из наших ответов положение заключенных в общих важнейших чертах достаточно вырисовывалось, и помню, какое впечатление производило на слушателей сообщение о той полной изоляции, в которой нас держали, о том, что я, например, только через десять лет узнал, что моя жена и сынишка умерли в 1885 г., что о нас родные знали только, что мы не умерли, что многие из нас умерли, не дождавшись вести от родных, и т. п. Все это не только занимало наших слушателей, как интересная история, но, видимо трогало, а некоторых даже пугало: они прекращали дальнейшие разговоры. А я, повторяю, еще более сдерживался, боясь, чтобы эти разговоры, дойдя до высшего начальства, не повредили бы нам и оставшимся в Шлюшине товарищам. Особенно я стал опасаться спутника, который усерднее других стал расспрашивать нас. «Не подослан ли он начальством, — мелькнула мысль, — чтобы выведать, как мы будем описывать свое житейство-бытие в Шлюшине?». Это опасение разделял и Суровцев, и оно укрепились окончательно, когда субъект под конец нашего путешествия стал рассказывать о себе. Оказалось, что он служил где-то на юге, не то в Ростове, не то в Таганроге, полицеймейстером, хотя по профессии он учитель, кончил учительскую семинарию. Учителем он в уездном училище, а потом перешел в полицию ради заработка для семьи. Полицейская карьера его кончилась тем, что он попал под суд и вот теперь, желая использовать какие-то связи, по-

дать какие-то прошения, он приехал в Питер, но его арестовали и высылают по этапу на место его жительства. Такому субъекту, конечно, нельзя было доверять.

Но вот через окно, забранное решеткой, я увидел купол храма спасителя. Мы въезжали в Москву. Сколько воспоминаний и мыслей вдруг пробудилось...

III

МОСКВА—КРАСНОЯРСК

Еще в дороге конвойный офицер сказал нам, что нас не задержат в Московской пересыльной тюрьме, а прямо с вокзала отправят дальше. По прибытии поезда на московский вокзал этап был уведен, а мы были сданы жандармскому офицеру, который, оставив нас в том же вагоне, приставил к нам двух унтеров, которым велел купить нам хлеба и принести кипятку. Помнится, приходили какие-то чины посмотреть на нас, сидевших в опустевшем вагоне, но разговоров не помню. Потом через несколько часов после прибытия нас перевели в вагон, стоявший на соседнем пути, оказавшийся обыкновенным вагоном 3-го класса с отоплением и отдельным купе, только на окна были прикреплены наскоро решетки. Когда нас вводили в вагон, два слесаря кончали прикрепление решеток и вызвали неудовольствие жандарма, сказавшего: «все еще возитесь? Ну, живее кончайте!» Слесаря скоро ушли, ушел и офицер в отдельное купе, мы же с Суровцевым поместились на двух длинных лавках под присмотром двух жандармов, сидевших у противоположного окна; двое других сидели, или лежали в глубине пустого вагона.

Вагон передвинули, очевидно, прицепили к поезду. Успел я через не совсем замерзшие стекла окон заметить, что стоим мы у вокзальной платформы, по которой двигалось много народа, среди которого мне бросились в глаза молодые люди, одетые в одинаковую, мне неизвестную форму, стал догадываться, не студенты ли это. Опять прошло порядочно часов; я, помнится, задремал, лежа на своей лавке с мешком под головой, и вдруг проснулся от шума. Вижу много военных, два—три офицера, солдаты. Один из офицеров, капитан, с сердитой миной заглядывая в бумагу, ко-

торую он держал в руках, громко спрашивал: «Как фамилья?» «Где вещи?» Увидя наши убогие мешки, изобразил на лице удивление и даже что-то фыркнул и опять спросил: «Это все? А под скамейками?» «Ничего нет, ваше благородие!» — ответил за нас фельдфебель, взглянув под скамейки. «Сидите на этих двух скамьях. А вы, — обратился он к двум солдатам, — станьте тут и смотрите!» — протянул он многозначительно, подняв указательный палец. Остальные солдаты разместились по вагону, офицеры ушли в отдельное купе, откуда еще некоторое время доносился зычный басок капитана; но, что он говорил, мы не разобрали. Затем жандармские офицеры и унтеры ушли, с нами в вагоне остались только шесть человек солдат с фельдфебелем. Вагон тронулся, кажется, он был прицеплен к пассажирскому поезду, мы сидели или лежали на наших скамьях, у которых дежурили два солдата с обнаженными саблями, сменяясь каждые два часа.

Промелькнуло несколько станций; истопник по временам показывался в вагон, но близко к нам его не пускали; солдаты разговаривали между собою вполголоса; словом, атмосфера была довольно строгая, напряженная. Но вот капитан вышел из своего купе, что-то поговорил с фельдфебелем, потом подошел к нам, внимательно посмотрел и сказал, обращаясь к нашим караульным: «Ну, довольно! Чего с шашками вдвоем! Останься один, садись вон там!» — указал он на боковую одиночную скамейку. Потом он обратился к нам: «Скажите, господа, кто вы такие и что за «историю» с вашей отправкой делает начальство? Сколько лет я вот служу тульским конвойным начальником и ни разу не пришлось видеть такой комедии!» Разумеется, мы не могли ему разъяснить это недоумение, сказали только, кто мы и откуда, а он оказался очень добродушным человеком, и мы долго с ним беседовали. Сообщил он нам, что поедем мы с ним до Пензы, там он нас сдаст пензенскому конвойному начальнику, который сдаст уфимскому, и так далее, причем вагон пойдет с нами один и тот же до Кривошекова, т. е. до Оби. Каждый начальник о благополучной сдаче и приемке должен телеграфировать в Питер. Каждому конвойному начальнику имеется отдельный пакет: «Пакетов! во сколько!» — показал он руками. От него мы уз-

нали, что Сибирская железная дорога работает уже до Красноярска, так что только от Красноярска поедем на лошадях. Вот эту процедуру нашей ссылки он, по справедливости, и называл «комедией». Действительно, такой способ ссылки ни прежде, ни потом не был в ходу. После нас через 1½ года отправили из Шлиссельбурга Панкратова и везли его этапом. Отдельно от этапа возили политических очень редко и то с жандармами, а не с конвойной командой. Разговорились мы с офицером попросту за чаем, который он приказал подать нам в наше отделение. Мы сообщили ему вкратце свое прошлое, он — свое. Окончил он шесть классов гимназии: «дальше не пошел, бо греки мешали»; был он украинцем. Жаловался он на трудность помещать детей в учебные заведения. О политических и общественных делах почти ничего, однако, не говорил. Хвалил Витте, проводившего реформу денежного обращения, показывал нам новые деньги, золотые и бумажные, невиданные нами столько лет. Запомнился курьезный эпизод. Когда мы продолжали нашу беседу после остановки у какой-то большой станции, фельдфебель доложил офицеру, что два жандарма просятся к нам в вагон. «А на кой они мне чорт нужны, — закричал офицер, — пусть едут, где хотят!». «Вот видите, — обратился он ко мне, — отдано распоряжение, чтобы от одной узловой станции до другой наш вагон сопровождали еще железнодорожные жандармы! У меня семь человек, я восьмой, а для чего еще два жандарма? Ну, не комедия ли?». Так он и не приказал впустить жандармов; ночью, впрочем, фельдфебель выпустил двух жандармов, и я слышал, как они жаловались, что в поезде битком набито, негде прилечь, а в нашем вагоне свободно. «А, это они?» — услышал я вопрос, и две жандармских головы поднялись из-за спинок скамеек и внимательно посмотрели на двух мирно спавших на своих скамьях стариков, виновников стольких хлопот.

Мне в это время не спалось: новые впечатления от разговоров с офицером при всей их убогости были так сильны для замаринованных тюремным режимом нервов, что с трудом удавалось заснуть, как будто и крепко, но вдруг проснешься... опять пободрствовал, задремлешь...

В Пензе принял нас капитан, дряхлый седой старик, ко-

торый, несомненно, получил от нас очень хорошую рекомендацию от тульского конвойного начальника, потому что отнесся к нам очень внимательно и гуманно, хотя, видимо, очень боялся, если не нас, то своего начальства, пославшего ему телеграмму и пакеты об этих «секретных», с которыми, видимо, он не знал, как себя держать. Проехали мы с этим конвоем благополучно до Уфы и в лице уфимского конвойного начальника встретили человека опытного в конвоировании политических.

Приняв нас по всей форме и распорядившись о дежурстве при нас двух солдат, правда, без обнаженных шашек, уфимский капитан удалился в свое купе. Когда поезд пошел полным ходом, фельдфебель подошел к нам и вполголоса сказал: «капитан просит вас, господа, пожаловать к нему в купе попить чайку». Суровцев, как я уже говорил, не признавал не только чая, но и кипятку, да к тому же в данное время хотел спать, и, конечно, любезное приглашение это отклонил, я же принял его с удовольствием.

Когда я вошел в купе, здоровый лет 40—50 капитан с роскошной темнорусой бородой привстал мне навстречу и сказал: «Позвольте познакомиться, капитан Рутковский, многих ваших товарищей встречал: я, ведь, служил прежде в Тюмени. Вот, например, Федора Николаевича Юрковского хорошо помню; как он поживает в Шлиссельбурге?» — «Он умер в прошлом году», — ответил я. «Царство ему небесное! — сказал капитан, крестясь, — хороший был человек!»

После такого начала мы с ним довольно долго поговорили, вспоминая тех, кого ему пришлось конвоировать. Юрковского он запомнил в особенности потому, что случилась какая-то «история» (в чем она заключалась — не помню), во время которой Юрковский вел себя с большим достоинством и твердостью, но вместе с тем с таким тактом, что история не кончилась трагедией. Помнил он и Попова Михаила Родионовича и всех тех, которых привезли с Кары к нам в Шлюшин. На мой вопрос: «Ну, а теперь много ли политических ссыльных проходит через ваши руки?» Он сказал: «Идут, только они называются не народовольцами, а как-то иначе... точно не помню... Повидимому, он не решался назвать это направление и притворялся, как мне

показалось, непонявшим, забывшим это название. На мои недоуменные вопросы он, как бы вспоминая, начал: «Вот в Германии партия существует»... — «Социал-демократы», — подхватил я. «Да, да, социал-демократы», — сказал он наконец. «Значит, — пробовал я уточнить, — появилась новая партия, социал-демократическая, а народовольцев уже нет?» — «Не могу я вам точно об этом сказать, но, повидимому, так; впрочем, недавно прошли политические, которые обвинялись в принадлежности не к социал-демократической партии, а к другой партии, не «Народная Воля», а «Народное... Право», выговорил он, опять поколебавшись несколько мгновений.

Так от конвойного начальника я впервые узнал о существовавших тогда в России организациях. О программах этих партий, конечно, трудно было допытываться от конвойного капитана, должно быть, и не знавшего толком об этих программах, да к тому же, видимо, конспирировавшего.

Сказал он мне в заключение нашей беседы, что довезет нас до Кривошекова, и на мой вопрос, где и что это за станция, он объяснил, что это станция на берегу Оби, через которую еще не построен мост; нам придется покинуть вагон и переехать Обь на санях, чтобы сесть в другой вагон, в котором и доедем до Красноярска. При этом он подтвердил, что и в дальнейшем мы будем совершать наш путь на почтовых так же торжественно, по крайней мере, до Иркутска; нас будут сопровождать конвойные начальники с шестью солдатами и фельдфебелем, сдавая следующим этапным начальникам. Для каждого конвойного начальника имелся пакет, обязательные телеграфные уведомления и пр.

Таким образом на ст. Кривошеково появился новый конвой с пожилым, уже седым, но очень бодрым капитаном. Побеседовав с прежним конвойным начальником и приняв от него все пакеты, он подошел к нам и весело сказал: «Ну, собирайтесь, закутывайтесь теплее, мороз 40°!». Мы встали со своих скамеек, держа в руках наши мешки и одетые только в армяки, т.-е. в том, в чем нас посадили в вагон в Питере, и я сказал: «Мы готовы, капитан!» — «Как готовы! А шубы, а бродни, а вещи?» — «Ничего этого у нас нет!» — «Да как же я вас повезу? Вы, буквально, за-

мерзнете! Это чорт знает что такое, отправлять людей в таком виде! Я телеграфирую главному инспектору тракта!» — продолжал возмущаться новый конвойный. Рутковский отозвал его и стал что-то ему говорить. Урывками я слышал, как новый конвойный продолжал негодовать: «Ну, в вагоне тепло, но ведь от Красноярска повезут на почтовых... Это беззаконие отправлять людей без всего... хороша Петербургская пересыльная тюрьма...» Оба офицера вышли из вагона, а у меня впервые мелькнула мысль, что в самом деле высшее начальство тайно рассчитывало на то, что нас заморозят, или, по крайней мере, насмерть простудят... Ведь там все было предусмотрено (пакетов — во!), столько людей занято этой «комедией», столько денег эта «комедия» стоила, а полушубков и валенок не дали... Но, к счастью, мы не замерзли. Через некоторое время принесли нам два огромных тулупа, какие-то полости... «Вот, добыл на время!» — сказал бравый капитан. Усадили нас каждого с тремя солдатами в кошеву, укутали ноги полостями, — и мы понеслись через Обь к этапке, где мы должны были просидеть до отхода поезда.

Этапка была полна арестантов, но нас посадили совершенно отдельно, правда, в проходной комнате, на больших нарах под охраной двух часовых, которые никого к нам не подпускали. Там мы пробыли часа 2—3, закусили, напились: я кипятком, а Суровцев свежей водой, и затем водворены были после небольшого перехода в новый теплый вагон со всем нашим конвоем, заняв только половину вагона. Без всяких приключений, если не считать отчаянной зубной боли, которая стала мучить меня на этом перегоне и против которой под конец пути конвойный начальник добыл мне зубные капли от какой-то офицерши, ехавшей в нашем поезде (на станциях, по словам конвойного, никаких лекарств достать нельзя было), мы благополучно доехали до Ачинска. Здесь нас принял «сам» инспектор этапов от Красноярска до Иркутска и очень быстро перевез нас на почтовых тройках, укутав в какие-то шубы, через р. Чулым, на которой не было еще моста, посадил снова в вагон, и через несколько часов мы были в Красноярске, где железнодорожный путь тогда кончался.

IV

КРАСНОЯРСК—ИРКУТСК

Красноярский вокзал был полон народа. Нас, окруженных тесным кольцом конвоя, быстро провели через эту оживленную и шумливую толпу в отдельную и уединенную комнату. Несмотря на быстроту нашего шествия, наше появление было замечено публикой. Достаточно было нашей группе появиться в одной из зал вокзала, наполненной шумящей толпой, как шум вдруг стихал, все лица обращались в нашу сторону, в следующей зале повторялось то же самое. И на нас это, хотя и мимолетное, но близкое соприкосновение с толпой произвело сильное впечатление: пахло волей... И теперь еще эта картина — вдруг смолкнутая толпа людей, — ярко держится в моей памяти... В отдельной комнатке нас накормили хорошим обедом, снабдили арестантской зимней одеждой, т. е. полушубками и броднями с суконными портянками, затем очень быстро вывели к поданным кошевам-кибиткам, усадили в них, укутали, и лихие тройки сибирских лошадей помчали нас на восток.

По строгому предписанию из Петербурга мы должны были проезжать на почтовых не более одного этапа в день; только в одном случае по той причине, что очередной этап сгорел незадолго до нашего проезда, мы должны были за один день проехать две этапных дистанции. На каждой почтовой станции, чаще всего один раз в день, нам меняли лошадей, а мы тем временем закусьвали на станции чаще всего одним хлебом или сибирскими шаньгами и пили чай. Ночевать мы должны были в этапных зданиях. Этих отвратительных, грязных, холодных помещений, через которые проходили тысячи арестантов, выбрасываемых царским правительством из Европейской России в Сибирь. Так как высшее начальство предписывало всячески нас изолировать, то конвойные начальники обыкновенно очищали этапы от других арестантов, уводя очередную партию на полэтап, или, как в одном случае, в городскую тюрьму, и нас помещали в нахолодавшую огромную пустую казарму, которую начинали отапливать только по нашем прибытии.

Правда, в этом была и хорошая сторона: благодаря на-

шему одиночеству нас не душил ужасный «этапный смрад» и не кусали «знаменитые» разнообразные «насекомые». Мы видели только мириады их трупов на досках нар и в щелях стен, но холод, убивший этих исконных обитателей русских тюрем, не всегда сменялся сносной теплотой, благодаря отвратительным дымящим печам. Спать бывало иногда очень холодно.

К счастью, по некоторым причинам иногда нас помещали не в этапке, то ли потому, что этапку не всегда удавалось освободить от арестантов, то ли по добродушию конвойного начальника. Так, помнится, мы раза два ночевали в больнице или приемном покое, один раз в тюрьме (кажется, г. Канска) и один раз в казарме конвойной команды. Во всех этих случаях нас, конечно, строго изолировали от всякого сношения с внешним миром, но ночлег был приличен: спали мы на койках с соломенными матрацами и в тепле.

Помещался я в свою кибитку обыкновенно полулежа на внутреннем сидении, т. е. на солومه, протянув ноги поперек кибитки. Три моих солдата садились спереди, между ямщиком и мною, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками. Такое оружие у сопровождавшего нас конвоя было не только неудобно, но и прямо опасно для их собственной жизни при быстрой езде; а неслись мы почти всегда с курьерской быстротой. Кибитку кидало из стороны в сторону, кренило набок; неслась она иногда совсем боком, а случалось, ее вывертывало так, что конвойные, даже ямщик, вываливались из кибитки, мне же под навесом кибитки все это было нипочем; вываливался я реже других. И вот однажды при спуске с одной горы кибитка опрокинулась, все, даже я, вылетели из нее, и один из конвойных встал со снега с окровавленной щекой: он напоролся на штык своего товарища. К счастью, рана оказалась легкой царапиной; кровотечение удалось остановить простой перевязкой носовым платком.

Суровцев ехал тоже с тремя солдатами, но садился обыкновенно рядом между двумя конвойными, а третий сидел рядом с ямщиком. Ехали и вываливались они еще удачнее нашего. На третьей тройке ехал конвойный начальник с фельдфебелем. Таков был «поезд», возбуждавший удивле-

ние у всех, даже у самих конвойных начальников. Один из них, повидимому, довольно интеллигентный человек, присев к нам на нары, спросил: «Скажите, пожалуйста, господа, почему вас везут с такой церемонией? Скажите откровенно, вы, должно быть, бежали?» Смеясь, я ему сказал, что мы ниоткуда не «бежали», да и везут нас из такого места, из которого не убежишь, а почему нас так везут, это — тайна его начальства. «Удивительное дело! — продолжал он. — Ведь я должен был оставить огромный этап, ослабить конвой на 7 человек, а в этапе 20 человек бессрочников, и для чего? Чтобы провезти на почтовых двух человек!» Пожал он плечами, пожелал нам покойной ночи и ушел. Другой конвойный, седой старик, удивился еще нашему возрасту: «Почему вы, господа, такие старые?» — спросил он нас при первой встрече. «Да потому, почему и вы, капитан, не молоды!» — ответил я ему, улыбаясь. «Ха! ха! ха! Да, конечно, время старит! Но я спрашиваю потому, что по политическим делам идут все молодые люди, а вы вон с проседью!». После объяснений того, где мы состарились, он заохал и стал жаловаться опять на исключительные условия нашей перевозки, создающие массу хлопот для конвоя и стоящие очень дорого.

Вообще наш кортеж из трех троек сильно обременял и почтовый тракт, загруженный, как мы сами видели на станциях, ожидающими лошадей пассажирами. При приближении к станции конвойный офицер обыкновенно обгонял нас и мы, подъехав за ним и входя на крыльцо и в прихажую станцию, видели иногда испуганную толпу пассажиров — мужчин, женщин с мешками, подушками, вещами, выливавшуюся из внутренних комнат, где гремел голос нашего лихого командира: «По высочайшему повелению!!! Три тройки курьерских немедленно! Очистить одну комнату от публики!... Всех, всех вон!!! Подать самовар!!! Сюда, сюда!» — кричал он уже нашим конвойным, которые торжественно вводили нас на станцию. Сиделись мы за стол и наскоро закусывали и пили чай; публика с любопытством и трепетом заглядывала в открытые двери, охраняемые часовыми с ружьями, сменяемыми каждые $\frac{1}{4}$ часа.

Помню, однажды, после такого вселения в помещение почтовой станции, мы услышали в соседней комнате, где

пил чай наш «командир» и оставалась проезжая публика, какое-то препирательство придушенного женского голоса и баса нашего капитана. Потом вошел «командир» к нам и объяснил (со словами: «Добрая, но дурища!»), что какая-то пожилая женщина просила его передать нам какую-то монету. «Очень она жалеет вас, — сказал он Суровцеву, — седая борода у вас! Плачет! Ха, ха, ха! Я ей говорил, что не возьмут!»

Погревшись таким образом на станции в течение 1—1½ часов, мы выходили или, лучше сказать, нас выводили усаживали в кибитки и по слову «готово!» ворота станционного двора отворялись, тройка лошадей, которую до того держали под уздцы двое ямщиков, с места в карьер выносила нас на улицу, стремительно неслась по дороге верст десять и только после такого пробега шла она уже спокойнее, соблюдая, впрочем, курьерскую скорость, беря вскачь по сибирскому обычаю всякую гору и скатываясь с головокружительной быстротой со всех спусков.

Колокольчики отчаянно звенели; мелькали мимо нас крепкие дома длинных огромных сибирских сел с небольшими церковками, а то и маленькими часовенками; объезжали мы длинные обозы, криком и рутанью заставляя обозных ямщиков скорее давать нам дорогу. По бокам дороги мелькали только остатки былой тайги, которая виднелась иногда далеко на горизонте и на горах, высившихся на юге по дороге за Канском. Но все же лесной растительности было много, и я без труда узнал лиственницу по ее правильной кроне, осыпанной тогда (40° и выше мороза!) белым инеем; она красовалась, как чеканенная из серебра, белой невестой среди других деревьев — сосен, елок и берез.

В мелькавших передо мною картинах, доставлявших мне несказанное, незабываемое наслаждение, поразило меня еще и то, что пласт снега был очень неглубок. Во многих местах видны были из-под снега жнивье, трава, не говоря уже о мелком кустарнике. Внимательно изучая когда-то метеорологию, я знал, что в Восточной Сибири климат сухой, с малым количеством осадков, но все-таки такой тонкий снеговой покров меня удивил: если бы не мороз, можно было бы подумать, что едешь по полям Подолии,

Подолии, в которой я прожил лучшие юношеские годы! И под звон сибирских курьерских колокольцов, при виде сибирских картин выплывали воспоминания далекой юности!

Ехали мы исключительно днем, употребляя в день за редкими исключениями, о которых скажу в дальнейшем, на езду не более 5—6 часов, считая и остановки. Приезжали на новую ночевку чаще всего засветло, во время езды не страдали от холода, но ночевки в этапках бывали не из приятных, как я уже упоминал. Хуже всего, впрочем, было наше питание во время этого пути. На 15 коп. в день, которые нам отпускала казна, даже при сибирской дешевизне многого нельзя было достать. Питались мы почти исключительно хлебом, шаньгами, прибавляя изредка яйца, кислую капусту, которую Суровцев купил целой небольшой кадочкой. «Горячей» пищи мы на свои средства, разумеется, не могли иметь; приходилось мне довольствоваться чаем, т. е. скорее кипятком, конечно, без сахара, а Суровцев запивал все только холодной водой, к великому изумлению конвоя.

Немудрено, что при таких обстоятельствах живо вспоминается случайный хороший ужин или завтрак. Однажды, например, привезли нас после довольно продолжительной езды и поместили в очень чистое, прекрасно натопленное помещение, повидимому, приемный покой при этапе. Кажется, это было в том месте нашего пути, где мы должны были проехать, как я уже упоминал, в день два этапа. Мы были более, чем всегда, утомлены и более обыкновенного прозябли. Не успели мы как следует обогреться, как пришел фельдфебель, который начал ни к селу, ни к городу хвалить своего начальника, которого, конечно, мы во время приемки видели, нашли очень корректным, но настолько сдержанным, что у меня не осталось ни малейшего впечатления от его разговора, даже не помню, были ли эти «разговоры». Фельдфебель уверял, что начальник очень гуманно обращается с солдатами, а жена его сушая «мать родная для солдата». Окончил он тем, что признался, что пришел по поручению капитанши, которая, конечно, не может сама притти к нам, так как к нам никого, кроме конвоя, допускать не приказано, но она хочет угостить нас ужином и просит принять этот ужин. Это любезное пред-

ложение, да еще с таким «подходом», невозможно было отвергнуть, и мы согласились принять угощение. Тотчас же тем же фельдфебелем были принесены мне прекрасные горячие котлеты, а Суровцеву, как непреклонному вегетарианцу, жареный картофель. Затем принесли еще чай и молоко с булками. На следующее утро перед отъездом мы опять получили чай и молоко с булками и с пирогом! Так мы существенно подкрепились, благодаря милой любезности этой капитанши*.

Вспоминаются довольно ярко еще два последних этапа перед Иркутском. Названия первого этапа я не помню; выехали мы из него почему-то очень поздно, ехали мы очень долго, так что приехали в Александровский централ, когда начинало смеркаться. Вез нас в Александровск седенький, старенький капитан (кажется, Поплавский), повидимому, большой пьяница. С нами он был очень внимателен, на остановке угощал омулем (тут я впервые попробовал эту рыбку) и меня даже водкой. Сам он, должно быть, выпивал и в дороге, потому что приехал в Александровск, как говорится, с большой мухой, но сохранял вполне корректность. В Александровске принял нас молодой, очень бойкий офицер, который тотчас же повел к нам такую речь: «Вы знаете, господа, что я должен вас завтра доставить по расписанию в Иркутск. Но сегодня 24 декабря, завтра рождество, грустно будет почти весь первый день рождества быть в пути; давайте выедем сегодня, ночь проедем, а завтра рано утром будем в Иркутске; я прямо заявляю, что мне это очень желательно, но, конечно, если вы не согласитесь, я должен буду буквально исполнить расписание и выедем вместе с вами утром завтра». Мы недолго думали и, разумеется, согласились, так как хотелось как можно скорее добраться до конечной цели. Нам дали чай, какую-то закуску и предложили отдохнуть часов до 10 вечера, когда придут заказанные почтовые лошади.

В 10 часов вечера мы выехали и всю ночь ехали при

* Фамилию капитанши Маньковской я узнал только 13 лет спустя от своей жены, Марии Осиповны Валесюк-Лебедевой, которая в то время молодой фельдшерницей служила по тракту и знала семью Маньковских, как очень хороших людей, сочувствовавших ссыльным и революционному движению.

страшном морозе. Хотя мы и обогревались на станциях при смене лошадей раза два за ночь, но все же я начал чувствовать, что ноги у меня, пожалуй, обмерзнут. Только благодаря тому, что на последней остановке я обвил обе ноги всем запасным бельем (2 подштанников и 2 рубахи), кроме суконных портянок, ноги у меня сохранились. Бродни были настолько велики, что всю эту обвивку вместили, да еще с подстилкой сеном.

На рассвете мы стали подъезжать к Иркутску. С высокой горы, с которой нужно было спускаться к нему по этому тракту, я увидел странное зрелище: часть города была закрыта огромной черной тучей. Это — не замерзшая Ангара давала такой густой туман. Скоро мы сами, съехав с горы, нырнули в этот туман и подъехали к Иркутской тюрьме. Это было 25 декабря (ст. ст.) 1896 года.

V ИРКУТСК

Так как приехали мы очень рано, то приемка нас затянулась: долго мы с Суровцевым сидели в канцелярии тюрьмы под охраной наших двух конвойных, страшно скучавших и ругавшихся за эту медлительность. Наконец, явился смотритель, его помощник со старшим ключником, и нас повели через внутренний двор тюрьмы в какой-то уединенный двор, на который выходило своим единственным крыльцом крыло тюремного здания, где обыкновенно помещались политические. Отворив ворота, бывшие на висащем замке, а также отперев дверь в стоявшее пустым здание, ключник ввел нас в это помещение и сказал, что пока мы будем здесь только вдвоем, что несколько дней тому назад отсюда ушла большая партия политических по тракту на Якутск, а двое оставшихся от этой партии находятся в тюремной больнице. Обещал он сейчас же прислать дрова и прислужника; сказал, что нам выдадут хлеб и арестантский обед, если, впрочем, мы не захотим присоединиться по питанию к двум оставшимся политикам, или сами будем себе готовить пищу. Но этот вопрос, как нам устроиться с пищей, остался нерешенным. Мы не знали ни тех, с кем должны были сговориться, ни того, как мы могли

устроить такое соглашение; мы просто промолчали, ожидая, что с течением времени все выяснится. Ключник, предложив устраиваться, как мы хотим, ушел, заперев только ворота нашего двора.

В нашем распоряжении оказалась большая камера с нарами человек на двадцать—тридцать, очень чистая сравнительно с виденными нами этапками, хотя и не подметенная. Тут же через прихожую имелась небольшая кухня и маленькая комната для прислужника. Быстро осмотрев все это, я выскочил на двор. Иметь такое большое пространство в своем распоряжении было очень приятно. И никого, кроме нас двоих! Нет никаких конвойных... Нет даже «глазка»...^{*} Это положительно опьяняло меня! Суровцев, кажется, не поддавался этому ощущению свободы, хоть относительно, хоть малосенькой свободой. Он довольно сурово сказал мне: «Чего вы скачете?» Я засмеялся и опять стал осматривать двор. С трех сторон он был огорожен «палями», т. е. высокими бревнами, плотно приставленными друг к другу в вертикальном положении; с четвертой стороны двор ограничивался фасадом нашего помещения. Исследуя стороны, ограниченные палями, я услышал за палями против входных ворот звуки шагов, кашля, отдаленного разговора; две другие стороны были беззвучны. Когда я продолжал обходить и исследовать пали у наших ворот, слышались шаги, голоса, загремел замок, и в ворота вошел старший ключник в сопровождении уголовного арестанта с охалкой дров и какого-то старого субъекта в надзирательской форме с портупеей через плечо, но весьма невзрачного замухрышки.

«Вот он, — указывая на этого субъекта, сказал старший ключник, — будет вашим ключником; он будет запира́ть на ночь камеру, а утром отпира́ть ее; если вам его нужно будет, звоните, тяните за эту ручку; через него вы скажите, что вам купить, когда принести обед и проч.» Сказав все это, старший ключник удалился. Арестант затопил тотчас же печку, а наш ключник стал беседовать с нами, расспрашивать, кто мы, откуда и проч. В общем

^{*} В тюремных дверях всегда бывает сделано отверстие — так или иначе устроенное, через которое стража всегда может наблюдать заключенного. Это и есть «глазок».

он, несмотря на свой замухрыстый вид, оказался очень услужливым стариком.

Обед нам в первый же день принесли от товарищей-политиков, которым наш ключник сказал, что у нас ничего своего нет. На следующий день ключник впустил к нам товарища Браудо, который побеседовал с нами около часа. Браудо рассказал нам о развивающемся с.д. течении революционной мысли, о народоуправцах. Сказал, что в этапе, недавно ушедшем (Гедеоновский, Лежава, Бельский, Иванов и друг.), шли обвинявшиеся по народовольческому делу, что народовольческое направление еще существует. Кроме народовольцев, в ушедшей этапной партии шли и народоуправцы. Самого Браудо потребовало петербургское начальство, так как ему предъявили обвинение в прикосновенности к делу Лахтинской типографии.

Браудо сказал нам, что в Иркутске живет много политических ссыльных, что существует организация, помогающая сидящим в тюрьмах, и что обеды мы будем получать после его отъезда через другого оставшегося в Иркутской тюрьме политика Кузьмина.

От Браудо же мы узнали вкратце о двух драмах, разгравшихся в 1889 г. на Каре (самоубийство Сигиды, Калюжного и друг.) и в Якутске (расстрел в доме Монастырева и казнь Коган-Бернштейна, Гаусмана и Зотова). Пообещав прислать нам книг, Браудо ушел, оставив нас глубоко взволнованными.... Трудно изобразить те душевные движения, те мысли, которые охватили нас, когда мы узнали о происшедших драмах... Да, борьба продолжается... и гибнут люди... А оно, самодержавие, продолжает свирепствовать... Даже Суровцев не мог скрыть своего волнения. «Вот когда пригодились бы бомбы!» — вдруг вырвалось у него после того, как мы просидели молча несколько минут после ухода Браудо. Я ничего не ответил, хотя вполне понимал и сочувствовал его возгласу. Мы оба, мне казалось, почувствовали, что разговоры об этом неуместны.

После шлиссельбургских порядков обстановка нашего сидения в Иркутской тюрьме казалась нам преддверием свободы. Смотрителя-начальника тюрьмы или его помощников мы почти не видели. Вскоре после нашего прибытия начальник тюрьмы лично, помнится, объявил нам, что мы

проживем у него до отправки в Якутку, куда нас приказано выслать, недели 2—3; что повезут нас зимним путем в кошевах. Больше мы его, кажется, и не видели. С утра являлся к нам наш ключник, малоразвитой, глуповатый старик, отворял нам дверь на двор, прислужник затоплял печь, приносил хлеб, кипяток, производил кое-какую уборку, и оба они исчезали совершенно до 12 ч. дня, когда снова являлись с обедом; а затем вечером, часов в 6—7, приходила поверка и запиралась выходная на двор совершенно одни и самостоятельны в пределах нашего двора. Только сидевшие долго в одиночном заключении могут понять, какое ощущение покоя, радости давала нам эта обычная обстановка тюремной изоляции после пережитого нами шлюшинского режима.

Почти тотчас же завел я сношения с другими дворами. Постучал я в те пали, за которыми слышались шаги, и тотчас же услышал голос: «Кто стучит?.. Политический, а, значит, опять тут не пусто! Когда и откуда вас привезли?» И начались «сношения». Оказалось, что за палиями гуляли уголовные, за воротами тоже бывали арестанты, но урывками, там был какой-то проходной двор, поэтому оттуда нужно было ждать зова, чтобы снестись с кем-нибудь. Установить связь с волей через уголовных арестантов не удалось. Арестанты предлагали свои услуги, но я не зная тех, кто жил в это время в Иркутске, без проверки надежности связи опасался пустить хотя бы самую пустячную записочку. Начальство все-таки твердо проводило директиву Питера держать нас в полной изоляции, хотя два наших иркутских товарища, Браудо и Кузьмин, имели связь с волей через свидания, которые им разрешались, и через уголовных арестантов.

По положению нашего двора приходилось быть передаточной инстанцией. Гуляешь, бывало, по дворику, раздастся стук. Подходишь. «Политический, пожалуйста, возьмите передачу», — говорит вполголоса кто-то. «Кому?» — «А вы постучите туда, где гуляют, и спросите, позовите Фома. Скажите ему, что Сидор тут».

Делаю то, что просили. Фома негромко вскрикивает: «Сидор!» Тот отвечает: «Это я!» Фома говорит мне через

щель в палиях вполголоса: «Идите в правый угол двора; от стены четвертая палья». Подхожу поспешно в указанное место и вижу, что четвертая палья чуть-чуть отодвинута, и Сидор просовывает мне нечто завернутое в тряпку и шепчет: «передайте Фоме; там он укажет дырку». Иду и передаю через указанную «дырку» передачу, повидимому, судя на ощупь, бутылку, должно быть, со спиртом. Таким образом я ознакомился с несложной конспирацией нашего двора.

Хотя морозы были сильные, но я много времени проводил на дворе, гуляя один или с Суровцевым, беседуя через пали с уголовными арестантами. В камере я уже начал читать книги, присланные Браудо. Помню какую-то книгу Каутского, только что вышедшую на русском языке, Струве, Туган-Барановского, других не помню.

Так прожили мы две недели, наслаждаясь таким необычным для нас заключением, которое, впрочем, начало уже надоедать: хотелось дальнейшего расширения прав на волю. Благодаря регулярному нормальному столу, я значительно поправился, что не помешало мне, однако, впасть в обморочное состояние по самому пустячному поводу. Один зуб у меня, как я уже говорил, сильно болел и настолько испортился, что я решил его вырвать. После некоторых хлопот разрешено было пригласить зубного врача, к которому меня и привели в приемный покой при конторе тюрьмы. Врач усадил меня в кресло, очень внимательно осмотрел все мои зубы, нашел их в удовлетворительном состоянии, а относительно беспокоившего меня зуба сказал, что его действительно лучше всего удалить. Сказано, сделано. Врач наложил щипцы, я почувствовал резкую боль и... и очнулся уже не в кресле, а на койке. Врач со встревоженным лицом суетился около меня, давал что-то нюхать, дал пополоскать рот, потом дал выпить чего-то, велел немного с «полчасика» еще полежать. Оказывается, со мной был обморок! Врач спросил меня: «Очень больно было?» «Да, было больно; боль была резкая, но очень кратковременная», — ответил я. «Ну, вот до чего довела тюрьма сильного крепкого человека: от выдернутого зуба падает в обморок!», — проворчал доктор. А действительно я был тогда еще сильным человеком, несмотря на грыжу, полученную в Шлиссельбурге. В сорок лет у меня почти

все зубы были целы, так же как и волосы на голове. Цынга, голодовка не могли окончательно подкосить моего крепкого от природы организма; был я очень худ, но физическую работу мог выполнять довольно тяжелую. Нервы, конечно, были всегда натянуты, как струны, и считать их состояние нормальным, думаю, было нельзя. И вот от боли, причиненной выдергиванием зуба, я падаю в обморок, продолжительность которого осталась мне неизвестна. Это меня несколько встревожило: предполагалось, что для жизни в Вилойске мне понадобятся здоровье, мускулы и нервы.

Через две с лишком недели после нашего приезда в Иркутск прибыли к нам наши шлиссельбургские товарищи: Янович и Мартынов, которые просидели все время до отправки в Петропавловской крепости. Ехали они с таким же конвоем и в таком же порядке, как и мы: до Красноярска железной дорогой, а от Красноярска на почтовых тройках. Разница была в питании во время пути. Так как Янович успел снестись с родными, то материальные средства этой пары были гораздо лучше, и они могли недурно питаться во время пути, да и теплой одеждой Янович был вполне обеспечен на свои личные средства, так что Мартынов мог пользоваться тем «арестантским полняком» (т. е. одеждой), который был выдан Яновичу; таким образом и в отношении одежды они были лучше нас обставлены.

VI

ДОРОГА ДО ЯКУТСКА.

С приездом наших товарищей оживились наши приготовления к дороге до Якутска. Нужно было запастись еще теплой одеждой, кроме той, какую мы уже имели, а главное нужно было приготовить провиант на все время пути. Почта шла из Иркутска до Якутска 17 дней, следовательно, нужно было приготовить съестных припасов для 4-х человек минимум на двадцать дней. Средства для всего этого нашлись. Иркутская организация прислала кое-что из теплых вещей и дала денег, которые вместе с теми, что были у Яновича (моих денег, о которых я писал брату, так я и не дождался), дали возможность выполнить эту довольно серьезную заготовку. Очень важно для нас было и то, что

Яновичу удалось получить разрешение на свидание с кем-то из живших в Иркутске и таким образом получить и нужные советы и сведения. По совету опытных людей, мясо следовало заготовить или в виде пельменей, или в виде котлет; мы заготовили котлеты*, которые, конечно, заморозили, предполагая на остановках их разогревать. Обычно сибиряки берут в дорогу зимой не котлеты, а замороженные пельмени, которые по прибытии на станцию в нужном количестве опускают в кипящую воду. Но мы выбрали котлеты, жареные уже, и не раскалялись в этом, так как котлеты тоже очень быстро разогревались. Хлеб, разумеется, тоже был взят мороженный.

Наконец, в конце января или в начале февраля (даты точно не помню) нам объявили: «завтра отправитесь в путь». Уложить окончательно наш провиант можно было очень скоро, а еще быстрее собрать немногочисленные наши пожитки, которыми мы (в особенности я и Суровцев) обросли уже значительно, сравнительно с тем, как мы выехали из Питера. Утром вывели нас, четверых, в контуру тюрьмы, и тут мы увидели впервые нашего пятого товарища, Кузьмина, административно высылаемого в г. Олекму. Принимать нас стал жандармский вахмистр, а не офицер; при нем состоял еще один жандармский унтер-офицер и 5 человек конвойных солдат без ружей, только с шашками, по одному на каждого из нас. Принимал вахмистр толково, видно он был старым служакой, но обращался с нами очень вежливо, чем сразу значительно рассеял наши опасения, что под его конвоем нам будет хуже, чем под офицерским.

После приемки вышли мы из тюрьмы, причем солдаты, наши конвоиры, тащили и свои и наши вещи, и стали рассаживаться в большие кошевы, к сожалению, открытые, без кибиток. Рассадка и увязка вещей происходила как-то «по-семейному». Янович, как было раньше условлено, должен был ехать со мной в одной кошеве, поэтому мы оба подошли к первой кошеве, указали, какие вещи увязать, солдаты тщательно увязали вещи, умостили нам места и мы сели рядом в кошеву. Тогда вахмистр, присматривавший и участвовавший своими советами в этой процедуре укладки

* Это решение прошло после долгих дебатов.

и посадки, официальным уже тоном сказал одному из конвойных солдат: «Мешков, садись сюда! Ты будешь ехать с г. Шебалиным и г. Яновичем. Запомни их фамилии?» «Так точно, г. вахмистр!»—отвечал Мешков и сел рядом со мной, так что я очутился в середине между Яновичем и им, что было очень выгодно для меня в смысле теплоты, так как у Яновича была прекрасная доха. Во вторую кошеву таким же образом уселись Мартынов и Суровцев со своим конвойцем, в 3-ю кошевку с двумя солдатами сел Кузьмин и, наконец, в четвертую—сам вахмистр с унтером и конвойным солдатом. Такое размещение изолировало нас от Кузьмина и, наверное, было предписано свыше... «Изоляция», «усиленный надзор»—все это продолжало тяготеть над нами, но в значительно смягченных формах, как мне казалось. Это меня радовало, бодрило... Поэтому, когда наши тройки понеслись из Иркутска на север, во мне не было чувства тревоги перед лицом неизвестного и, наверное, сурового будущего, а было какое-то легкое, может быть, легкомысленное отношение к этому неизвестному: «Там не тюрьма! Посмотрим, как там живут люди! А пока летим, летим... Эх, хорошо!»

Спутники—мои товарищи, за исключением Суровцева, о настроении которого вследствие его всегдашней сдержанности и молчаливости, не могу с уверенностью ничего сказать, не разделяли моего оптимизма и радостного настроения. Янович и Мартынов явно были настроены пессимистически, что объяснялось, как я думал, тем разочарованием, которое, конечно, почувствовалось ими, когда их повезли в Якутск вместе со мной. Дело в том, что в Шлиссельбурге при объявлении «высочайшего повеления» только мне одному было определенно указано место ссылки—Вилуйск, как я уже упоминал в своем месте, а им было сказано, что они высылаются в распоряжение иркутского генерал-губернатора, и можно было надеяться, что им не придется ехать так далеко, как мне; их могли оставить в Иркутской губернии. Но вышло не так, как надеялись... И оба погибли в ссылке... Но об этом потом когда-нибудь...

В первый же день нашего пути, когда мы остановились на почтовой станции часа на 2—3, чтобы отдохнуть и основательно подкрепиться пищей, вахмистр наш предложил

нам выработать самим порядок нашего путешествия, т. е. предложил решить, будем ли мы ехать день и ночь, как ездят курьеры и почтальоны, останавливаясь раз в сутки часа на 2—3, не больше, или мы будем ехать только днем, регулярно останавливаясь на ночевки. При этом он сказал, что ему строжайше запрещено останавливаться на ночевки в городах Верхотенске, Киренске, Олекме, в которых были целые группы наших товарищей-ссыльных, свидания с которыми тоже строжайше приказано было не допускать. Решая этот вопрос, мы поспорили немного. Мартынов стоял за ночевки, хотя бы и не каждый день, я убеждал ехать без ночевки и как можно скорее. Так как самые желательные ночевки в городах, где жили ссыльные, оказались невозможными, то Янович и Суровцев присоединились к моему мнению, и решено было ехать без ночевки.

Езда в таком порядке оказалась вовсе не такой трудной и тяжелой, как можно было думать. Спали мы, конечно, во время пути. Перегоны были длинные, по 4—5 часов хорошей езды, за это время можно было очень недурно соснуть, так как одеты мы были вполне прилично и не зябли, а санная езда очень располагает ко сну. На станциях, пока переменили лошадей, мы разминались, отогревались в теплой избе, иногда по общему согласию закусывали и пили чай. Но эти более продолжительные остановки мы делали не более 2—3 раз в сутки. Таким образом, мы прокатили весь путь от Иркутска до Якутска в 15 дней, хотя в некоторых местах на Лене лошади были плоховаты и шли далеко не с курьерской скоростью.

При сорокаградусном морозе, да еще укутавшись с головой в заячье одеяло, очень трудно замечать окрестные дороги, любоваться их красотою. Но все-таки я заметил, что от Иркутска наш путь шел сначала по волнистому плато, а затем через горный перевал с крутыми подъемами и спусками к долине Лены. Виднелись «гольцы» в белоснежном одеянии, леса чернели на склонах их, дорога наша вилась среди занесенных снегом обширных полей... Лесов, к удивлению моему, попадалось мало. Помню еще одну картину. Проснулся я однажды от внезапной остановки нашей кошевы. Выглянул я из-под своего одеяла. Был ясный день. Яркое солнце играло на белых горах, только снизу покрытых тем-

неющими лесами, опущенными инеем. Мы стояли в ущельи, на вершине перевала: прямо под ногами нашей тройки круто шел спуск, по которому летела передняя наша тройка. Ямщик наш, чтобы не налететь на нее, приостановил лошадей и тронулся только тогда, когда первая тройка докатилась уже до половины спуска. Спуск был очень длинный, крутой, узкий и слегка закрутлявшийся по склону горы к выходу из ущелья. Когда наша тройка была уже у середины спуска, третья тройка, слишком рано пущенная, стремглав пронеслась мимо нас и наткала первую, бывшую уже у конца спуска, причем пристяжная третьей тройки наскочила на самую кошеву передними ногами, попав в середину кошевы. К счастью, ее ноги попали между ног ехавших в первой кошеве жандарма и двух конвойцев, а голова одного из них оказалась под брюхом лошади. Как кованные копыта не убили ямщика или кого-либо из седоков—это можно было считать счастьем. Видел я хорошо, как тройка налетела на кошеву и пристяжная взвилась на дыбы, видя перед собой задок кошевы... затем рухнула ногами на кошеву... Крики... Обе кошевы ползут, сцепившись... Ямщики хватают под уздцы, держат лошадь, освобождают ее от постромок... Лошадь опять встает на дыбы и вынимает ноги из кошевы. Люди вылезают из кошевы только с легкими ушибами ног, задетых-таки копытами лошади. Жандарм набросился было с кулаками на ямщика, но тот довольно решительно увернулся... Драки не было, шла только ругань. Ямщик оправдывался, что своих молодых лошадей он не был в состоянии удержать... Кончилось все благополучно, и, оправив сброу, наша кавалькада доехала до станции, где, конечно, весь случай был снова разобран и оснащен новым потоком ругательств.

Начиная с Усть-Кута, дорога наша пошла по самому руслу замерзшей реки Лены, окаймленной высокими горами с белыми от снега вершинами и лесами внизу. В некоторых местах крутые берега представляли из себя отвесные стены, иногда расписанные разноцветными полосами—красными, желтыми, черными. В других местах крутые склоны казались уставленными колоннами, стенами, башнями каких-то развалин замков и городов, покрытых белым инеем. Такие картины тянулись иногда на несколько верст.

Лед на такой огромной реке, как Лена, конечно, не может быть гладким, он «торосист», т. е. загроможден торчащими стоймя льдинами и осколками их. Для того, чтобы можно было с удобством ехать по нему, местные жители обязаны были прокладывать дорогу, разравнивая торчащие льдины, обходя кучи и обставляя дорогу елками, как по полю. Проснувшись раз ночью, я с удивлением услышал плеск воды: лошади наши ступали по воде, смешанной со снегом, правда неглубокой, еле-еле покрывающей копыта лошади, но все же мое удивление было очень велико: ведь было 30—40° мороза! А ямщики были совершенно спокойны. Оказывается, это была «наледь», явление довольно обычное на северных реках. Наледью называется вода, которая выступает на лед рек и озер или из трещин опускающегося от своей тяжести намерзшего льда, или из береговых источников, которые, после обмерзания их обычных нижних выходов, находят выход в верхние сухие пласты песка и гальки и через них попадают на лед реки. Разумеется, эти лужи через час—два обращаются в лед, увеличивая толщину ледяного покрова реки до чудовищных размеров.

Селения всегда расположены были довольно высоко над рекой, так как в половодье уровень реки поднимается очень высоко. Иногда, чтобы не подниматься в гору, мы о общего согласия решали не заезжать на станцию, оставались в своих кошевах, и лошадей, приведя из селения, меняли там тут же на льду. Чаще всего это бывало ночью, когда нам не хотелось прерывать сна. Опали мы все отлично, и конвоируемые и конвойные, а в особенности наш Мешков. Этот здоровый, молодой, симпатичный парень засыпал, как только тройка трогалась, и на станции разбудить его было нелегко. Будить же его мне приходилось по его же просьбе, после того как вахмистр сделал ему выговор за сонливость. Вот и будишь его, приехав на станцию, а вахмистр, который обыкновенно ехал спереди нас, тут как тут и кричит: «Вы его за нос тащите! Ах, ты, горе-конвойный! Ты должен не спать, смотреть!» Мешков, еле очухавшись и отыскивая свою шапку в сене, вполголоса ворчит мне: «Чего смотреть? Куда тут убежишь!» Он был вполне прав: убежать не было ни малейшей возможности. Держали нас не

Мешковы, а пустыня, тайга, по которой шла единственная дорога; укрыться от погони и розысков было некуда. Впоследствии из Якутска и с самого тракта бывали удачные беги, но это тогда, когда была организована помощь бежавшим, найдены были пункты у местных жителей, где беглецы могли скрываться некоторое время, пока стихнет азарт погони и розысков.

Конвоировавший нас вахмистр был умным человеком, все это прекрасно понимал и только для формы делал выговоры Мешкову. Во все время нашего пути серьезных столкновений у нас не было, хотя, несмотря на его стремление выполнить строжайшее предписание высшего начальства—не допускать встреч с нашими товарищами, мы все же кое-какие «встречи» имели.

В первом же городе на нашем пути, в Верхоленске, мы были обрадованы, когда после переговоров и препирательств с нашими жандармами и исправником к нам, в занимаемую нами комнату на станции, вошла группа ссыльных. Это были Гедеоновские, Лежава, Александрова и другие, фамилий которых не вспомню. В продолжение часа, который был дан в наше распоряжение, мы с ними беседовали, разбившись на группы.

Конечно, все эти разговоры были очень отрывочны, спутаны, затемнены тем волнением душевным, которое нас да и их, молодых товарищей, невольно охватывало, но все же они действовали на нас чрезвычайно оживляющим образом. «Мы не одни, движение революционное идет и, кажись, нарастает»... Вот мысль, которая мелкнула, наверно, не только у меня.

В Киренске на станцию, лежавшую за городом, к нам успел пробраться только один товарищ (фамилии не помню) и передал кое-какие теплые вещи и деньги. Наконец, в Олекме, через которую по приказу нашего вахмистра мы пронеслись вскачь, в одну из кошевок на повороте вскочила Р. А. Шмидова и таким образом хоть на несколько минут могла побыть с нами и поговорить на станции, куда ее примчали вместе с нами.

Так мы мчались все дальше и дальше на север и, наконец, рано утром в середине февраля въехали в «славный» город Якутск. Подъехали прямо к тюрьме,

VII

ЯКУТСК

Встретивший нас смотритель Якутской тюрьмы сказал, что он нас давно поджидал, так как о нашем прибытии было получено извещение с последней почтой; что камера для нас, четверых, готова, так как по распоряжению департамента полиции мы должны сидеть в тюрьме до отправки на места жительства. Опротестовать тотчас же это грустное для нас распоряжение мы, разумеется, не могли. и, разместившись в отведенной нам камере, заказали кипяток и даже «мясные пирожки» уголовному повару и стали совещаться, как нам добиться, чтобы хоть на несколько дней перед отправкой в улусы нам позволили бы, выйдя из тюрьмы, сделать необходимые для дороги приготовления и запасы провианта и вещей, повидаться, наконец, с товарищами-ссыльными, которых, мы это знали, было много в Якутске.

К счастью, прежде, чем мы успели придти к какому-либо решению, прежде даже, чем поспели пресловутые пирожки, в нашу камеру смотритель привел Дулембу, товарища Яновича по процессу, отбывающего в Якутске ссылку после карийской каторги. Небольшого роста, сухонький, с милым, приветливым лицом, Дулемба сразу завоевал мое сердце, да, должно быть, и сердца моих товарищей. После трогательной встречи (после 12 лет!) с Яновичем, он сказал нам, что кто-то из ссыльных товарищей пошел уже к губернатору (Скрипицыну) хлопотать, чтобы нам позволили пожить на воле в Якутске до отправки на места. Дулемба уверял, что, наверно, нам разрешат это, и действительно, едва успели мы поговорить об обстоятельствах местной жизни, о том, кто именно из товарищей живет в Якутске, как приехавший чиновник областного правления разрешил нам отправиться с Дулембой на его квартиру с тем, чтобы завтра же явиться в городскую полицию, где нам объявят места назначения и выдадут полагающееся денежное пособие.

Опять незабываемый момент... Мы четверо, окруженные не стражей, а товарищами, поджидавшими нас у ворот тюрьмы, выходим из нее, идем по улицам города, как свободные люди... Встречаются местные жители, здороваются

с нашими товарищами, спрашивают: «Новеньких встречаете?» Приветливо нам кланяются. Голова кружилась от неожиданностей и было невероятно радостно. Даже город, т.е. встречавшиеся здания, мне сразу понравились, несмотря на то, что это были постройки обыкновенного захудалого русского городка: деревянные, в большинстве одноэтажные дома... Но вот мы прошли мимо довольно большого рынка с колоннами... вот дом большой, двухэтажный, тоже с колоннами по фасаду... вот вдаль через площадь мелькнул большой каменный собор... «Эге, да Якутск и в самом деле город недурной!» — мелькают такие мысли и резко запечатлеваются «новые» виды и встречи в моем мозгу, стерилизованном шлюшинским маринадом, пока мы, разговаривая с милыми товарищами, сообщавшими, хотя урывками во время дороги, все такое интересное и новое, шли чуть не через весь «город». Прошли мимо реального училища. «Реальное училище!» Вдали видели какие-то деревянные высокие почерневшие стены... «Это остатки казачьего острога!» Наконец, перейдя через большую канаву по мосту, мы вошли в усадьбу, занимаемую Дулембой с некоторыми из товарищей.

Так из «арестантов» мы сделали, наконец, «ссылными»! Первым нашим делом, разумеется, было почиститься, помыться, отряхнуться от всего тюремного и даже дорожного.

Встретившие нас товарищи с трогательной, можно сказать, заботливостью все это нам наладили и утешали, что в дальнейшем можно будет жить недурно, если назначат в порядочный улус. Об оставлении нас в самом городе не могло быть и речи.

— Ну, а если пошлют в Колымск?

— Об этом говорить еще рано... нужно дождаться завтрашнего дня, а пока отдыхайте! — говорили они.

Конечно, нам следовало отдохнуть, но, не помню, спали кто-нибудь из нас в этот первый день на воле в ссылке... Слишком много было впечатлений, нервы ходили ходуном, не до сна было... Приходил то один, то другой из местных товарищей. Знакомился, расспрашивал. Всех, конечно, интересовал Шлиссельбург, его порядки, кто там остался, кто умер и пр. Чтобы не повторяться, мы решили сообщить все

эти сведения групповым порядком, т.е., собирая товарищей по несколько человек по вечерам.

В то время в Якутске жило много ссыльных. Из карийцев помню, кроме Дулембы, Сергея Диковского с женой, бывшей Люри, Гориновича, только что женившегося на Софье Борисовне Гольдендах, Осмоловского с женой, Лозянова, Левченко, Ефремова, Власова, Матвеевича, Бойченко (Филимонова), Зубрилова, Стояновского, Давиденко; из ссыльно-поселенцев помню только одного Грабовского. Из административно-сосланных вспоминаю: Манцевича, Марморштейна, Полякова, Цобеля, Галкина, Блоха, Нахамкеса, (Ю. Стеклова), Морозова, Гаврилова, Капцана, Добролюбову.

Всех товарищей собрать в одном месте было затруднительно не только по недостатку помещения, но и потому, что среди них существовали группировки с различными отношениями друг к другу. Поэтому решено было, что мы будем знакомиться по группам, причем нашим чичероне взялся быть милый Дулемба, находившийся в хороших отношениях со всеми вследствие редкого своего добродушия и крепкого товарищеского чувства; к нему же самому все без исключения относились с большим уважением и любовью.

Итак, в первый же вечер собрались на квартире Дулембы человек 10 наших товарищей, и мы рассказали им, конечно в главнейших чертах, о Шлиссельбурге, а они сообщили нам о новых для нас партиях: социал-демократах и народоуправцах. Поговорили и поспорили и о программах и о тактике. Помню, Янович довольно долго спорил с Нахамкесом, тогда молодым человеком с твердыми уже с.д. убеждениями. Янович, тоже марксист, оспаривал толкование Нахамкесом учения Маркса о возможности улучшения положения пролетариата в капиталистическом строе и о сроке наступления революции.

Среди якутских ссыльных были очень хорошие певцы и музыканты, поэтому они в первый же вечер угостили нас артистическим исполнением и старых, известных нам песен, и новых революционных песен, появившихся в течение 12 лет, проведенных нами в заключении.

Впечатлений было море... И немудрено, что наши нервы не выдержали и кое с кем случилась истерика.

В этот же вечер Осмоловский подошел ко мне с вопросом: «не узнаю ли я его?» Сколько я ни всматривался, узнать не мог и только тогда, когда он мне сказал фамилию, под которой я его знал, именно — Савченко (у него была двойная фамилия Савченко-Осмоловский), я вспомнил, что мы были гимназическими товарищами всего один год, во втором классе Каменец-Подольской гимназии. Конечно, узнать в бородатом пожилом человеке мальчика 12—13 лет было невозможно.

Между прочим, Осмоловский сказал мне, что у губернатора Скрипицына имеется для меня письмо с деньгами (100 рублей) от моего дяди князя Тенишева. Узнал он это от своей жены, которая давала уроки дочери Скрипицына. Скрипицын же просил ее передать мне, чтобы я к нему зашел на дом попросту, неофициально. Дело в том, что Скрипицын приходился мне отдаленным родственником через этого дядю, и брат мой Дмитрий с матушкой нашей нашел «очень удобным» послать деньги не в Иркутск, как я просил, а в Якутск на имя Скрипицына через дядю, который приходился родным братом моей матери. Вышло это «очень неудобно», когда я, одетый в чужую приличную сюртучную пару, отправился на следующий же день в указанный дом и позвонил в парадную дверь в условленный час. Дверь мне открыла девочка лет 10—12, которая на мой вопрос: «Не могу ли я повидать Андрея Николаевича?» (причем я, разумеется, назвал свою фамилию), ответила: «Папа вас ждет», и провела в кабинет. Обменявшись рукопожатием, Скрипицын, с которым я, если и встречался когда-либо прежде, то только в раннем детстве, а старше меня он был лет на 15, предложил мне сесть и сказал: «Наш общий дядя, князь Николай Тенишев, прислал через меня денег для вас; вот его письмо; прочтите, пожалуйста!» Когда я прочел письмо, он спросил: «Скажите, Михаил Петрович, хотите ли вы получать в Вилуйске казенное пособие, или будете жить на свои средства?» Я сказал, что средств у меня никаких нет, а рассчитывать на заработок в неизвестной еще мне обстановке я не решаюсь, поэтому придется брать казенное пособие. «Тогда я не в состоянии буду передать вам эти деньги: по закону ссыльный, получающий пособие, лишается права получать средства от родных, а ген.-губернатор Го-

ремыкин знает и об нашем родстве и об этом письме» — подчеркнул он. Мне ничего не оставалось, как согласиться, что положение было безвыходное. Так и пропали эти деньги, которые могли бы попасть ко мне в руки, если бы брат их прислал в Иркутск: «на дорогу» деньги ссыльным выдавались беспрепятственно. Обменявшись несколькими ничего не значащими фразами, я раскланялся с этим родственником, не имея с ним ничего общего. Справедливость требует сказать, что Скрипицын был порядочным человеком: взятки не брал, был справедлив и старался принести пользу краю; с политическими ссыльными был корректен и не отягчал их положения, даже, где мог, облегчал.

На следующий день после нашего освобождения из тюрьмы и первой вечеринки с товарищами-якутянами мы, как было условлено, явились в полицейское управление, и там нам объявили, что Янович должен ехать в Колымск, а Мартынов и Суровцев вместе со мной в Вилуйск. Это было распоряжение департамента полиции, как нам сказали, а не местного губернатора или генерал-губернатора. Почему-то это распоряжение держалось в секрете от нас, и мы питали надежду, как я выше писал, что все, кроме меня, будут посланы ближе Вилуйска, но вышло иначе. Все мы были очень огорчены за Яновича, который был самым слабым из нас по здоровью; Суровцев тотчас же решил ехать с Яновичем в Колымск, надеясь служить ему товарищеской поддержкой. Начальство, разумеется, согласилось на эту перемену и объявило им обоим, что на сборы в дорогу им предоставляются две недели, которые они могут прожить в Якутске на свободе, мне же и Мартынову дано было разрешение прожить в Якутске одну неделю.

Наши приготовления к пути в Вилуйск были несложны, так как требовалось заготовить провизии только дней на 5—7 на трех человек, считая конвойного казака. От Якутска до Вилуйска считалось 700 верст, которые зимой проезжались в большей части на лошадях в санях, конечно, и только два-три станка ехали на оленях. Провиантом и одеждой с помощью товарищей мы были снабжены очень быстро, а меня даже снабдили охотничьим ружьем, правда, одноствольным, курковым и переделанным из старого солдатского ружья, но очень хорошим. Собаку же, необходи-

мую помощницу в предстоящей охоте, я должен был найти уже в Вилуйске, именно ту молодую собачонку, которую там оставил товарищ Гаврилов, незадолго до этого переведенный из Вилуйска в Якутск. Он же, Гаврилов, сообщил нам очень утешительные сведения о жизни в Вилуйске. В общем там можно было жить недурно. Заработок можно было найти: уроки, слесарная (починка ружей преимущественно) и столярная работа. Исправником там был Болеслав Фелицианович Качаровский, прекрасно относившийся к ссыльным-политикам и вообще «исключительный» экземпляр исправника. Поляк, родом из Каменец-Подольска, он давно служил в Якутской области и умел совместить свою полицейскую службу, за которую получил чины и ордена от начальства, с явным знакомством с политическими ссыльными и всяческим покровительством им.

В своих рассказах о вилуйской жизни Гаврилов, конечно, не скрыл и темные стороны ее: суровость климата, некультурность окружающего населения, убогость жилья, необходимость все для себя делать самому, начиная с рубки дров и кончая приготовлением пищи, и пр., но все это оказывалось лучше того, что я ожидал найти в ссылке в своих мечтах о ней. Все только возбуждало энергию, интерес, а не пугало.

По вечерам мы продолжали знакомиться с нашими товарищами по группам, как я уже сказал, а для того, чтобы удовлетворить интерес их к тому, что творилось в нашем Шлиссельбурге, более обширного круга сочувствующих нам людей, Янович наскоро набросал небольшой очерк нашей жизни в Шлиссельбурге. Этот очерк потом появился, кажется, в заграничном издании. Это была первая весть «о Шлиссельбурге» в печати.

Познакомились мы также с местными жителями, друзьями политических ссыльных. На первом месте среди них стояла Татьяна Егоровна Афанасьева и сын ее, народный учитель, Николай Егорович, семья, с которой дружил еще В. Г. Короленко. Затем упомяну друга Афанасьева, тоже учителя, Николая Ивановича Эверстова, и учителя женской гимназии Василия Васильевича Жарова. Эти лица были совершенно «своими» среди ссыльных; принимали они участие в самых конспиративных предприятиях наших, и нуж-

но удивляться, как они не подверглись преследованиям со стороны местной полицейской власти, так как близкое знакомство с ссыльными совершенно не скрывалось. Гораздо больше было людей не так близких нам, но все же хорошо относившихся к нам, политическим ссыльным, фамилии которых я уже позабыл; помню, что среди них был областной землемер (Уткин), доктор, фотограф, кое-кто из русских купцов и интеллигентных якутов. Такой периферии я совершенно, разумеется, не ожидал встретить в Якутске.

Все 5—6 дней, которые мы провели в Якутске перед отъездом в Вилуйск, вспоминаются мне как сплошной праздник. Интересные знакомства, новые сведения об общественной жизни в России и в Сибири перемежались с обыкновенными, но так давно не виданными нами товарищескими вечеринками с ужином, с пением, музыкой и танцами. Один вечер, помнится, мы провели в «Общественном якутском собрании» (вроде клуба), где было очень много публики, был какой-то концерт, а потом танцы. Везде мы встречали внимательное, приветливое отношение, и это не могло не трогать нас. Опьяняло даже простое присутствие, если можно так сказать, в большом собрании людей. Видишь вокруг себя сразу много людей (не солдат, не жандармов, не заключенных), с которыми ты составляешь какое-то целое: можешь говорить с кем угодно, двигаться между ними... Это было очень приятное ощущение...

Чувства страха толпы, страха общения с людьми, о котором мне рассказывали другие товарищи, долго просидевшие в заключении, я не ощущал. Чувствовал я некоторое колебание, желая заговорить с кем-либо, не знал, как отнесутся ко мне, несколько дичился, но в общем чувствовал себя не подавленным страхом, а наоборот — очень возбужденным, казалось бы без достаточного повода, просто потому, что видел вокруг себя много людей.

Музыка меня иногда трогала почти до слез, несмотря на то, что, не обладая музыкальным слухом, я никогда не был завзятым любителем и знатоком музыки. Эта ненормальная возбудимость и чувствительность были, конечно, следствием шлиссельбургского сидения и составляли часть того психического «повреждения», которое каждый из нас перенес за это ужасное время. «Повреждение» это, возмож-

но, замечалось и в других проявлениях, доступных наблюдению посторонних лиц, сталкивавшихся с нами, но нам самим вряд ли можно было дать себе отчет в этом. Но общее впечатление того, что я вхожу постепенно в нормальную жизнь, становилось таким, как и другие люди, смутно ощущая, что я *был* не совсем *таким*, я ощутил ясно и впервые именно в Якутске.

VIII

ДОРОГА В ВИЛЮЙСК

Настал, наконец, условленный день нашего отъезда. Из полиции с помощником пристава пришел виллюйский казак и сказал, что он, Иван Жирков, назначен сопровождать г.г. Мартынова и Шебалина в Виллюйск, а увидя нас, спросил, в какое время дня мы хотим выехать, причем посоветовал выехать не позже 2—3 часов дня. Мы согласились с ним, и он обещал привести лошадей к этому времени. В три часа дня Жирков явился с лошадьми и двумя ямщиками совершенно трезвый, что было, по словам наших товарищей, очень хорошим, но, к сожалению, не всегда имеющим место явлением. Чаще всего казак, выезжая из Якутска, так напивается, что его приходилось привязывать к санкам, чтобы не потерять по дороге. Жирков, наш казак, как я удостоверился потом, живя в Виллюйске, к счастью, не был пьяницей, был хорошо грамотен и довольно развит.

Хотя сборы, укладка и увязка нашего багажа не могли отнять много времени, но мы все-таки довольно долго задержались с выездом, обедая и прощаясь с якутскими нашими товарищами. Трое небольших саней, назначенных для нас, были распределены таким образом: каждый из нас занимал одни сани, запряженные двумя лошадьми гусем, причем ямщик сидел верхом на передней лошади. Такая запряжка неизбежна в виду того, что дорога в Виллюйск представляет из себя очень узкую просеку в дремучей тайге, где большим саням парой лошадей невозможно проехать. Казак занимал третьи санки и ехал обыкновенно сзади. Тронулись мы, когда было уже совершенно темно, быстро доехали до первой станции и опять покатали дальше, условились с Жирковым ехать день и ночь, останавливаясь только для перемены лошадей, и только два раза в сутки,

подольше задерживаясь на станках для разогревания котлет, варки пельменей и пр. Чаем же можно было согреться на каждой станции.

Необходимо сказать, что из себя представляли эти станции. За исключением первой от Якутска, которая была обыкновенной русской рубленой избой, все другие станции были якутскими юртами с покатыми стенами, в которых были прорублены маленькие окна, закрытые льдинами. Помещение для людей соединялось зачастую с такой же юртой (хотонем), где помещались коровы. Несмотря на то, что все это помещение довольно энергично вентилировалось и вечнотопящимся камином, служившим единственным средством отопления, и постоянно отворяющейся дверью, и, наконец, через тонкие стенки и заложенные льдом окна, — воздух для непривычного человека был ужасен. Когда, бывало, подкатив ночью ко двору такой станции и отворив дверь юрты, мы вступали в это зловонное темное пространство, переход от свежего морозного воздуха бывал такой резкий, что буквально я задыхался, еле не падал в обморок и, разумеется, в такой атмосфере, казалось, ни за что не стал бы ночевать, несмотря на то, что иногда мы приезжали сильно иззябшими на 30—40°-ном морозе. Но вот проснувшиеся хозяева быстро наваливают сухих дров на тлеющие угли камелька, пламя с треском охватывает их, с воем несется в трубу и освещает своим ярким красноватым светом всю юрту, посылая во все углы и свет и тепло. Воздух быстро меняется, становится светло, весело... Понимаешь, почему люди обоготворяли огонь.

Некоторое время мы стоим перед пламенем во всех дорожных одеяниях, поворачиваясь то одним боком, то другим; таков обычай и очень хороший обычай: не сразу раздеваться. Вносят некоторые наши тюки, входят ямщики и казак, который служит нам переводчиком и экспедитором: он добывает нам лошадей получше, распоряжается с нашего согласия остановками и пр. Всякий раз, как дверь отворяется, появляется огромный густо-белый клочок пара, тотчас же расплывающийся по полу — это тридцатиградусный мороз сгущает пары нашей юрты. Несмотря на эту вентиляцию, воздух юрты согревается лучистой теплотой огромного пламени. Мы начинаем освобождаться от дорожных

одежд, разминаемся и, наконец, усаживаемся у стола, приготавливая все для чаепития и ожидая, когда вскипит вода и разогреются замороженные припасы. Все это делается довольно скоро, несмотря на то, что воду приносят и ставят на под камелька в виде льда или снега: камин пышит таким жаром, что хозяева подходят к нему, чтобы снять посуду или подбросить дров, только сбоку и прикрывая лицо рукавом.

Закусываем мы и пьем чай кирпичный вместе с казаком, а привезших нас ямщиков угощаем чаем же с сухарями или хлебом. Хлеб, сухари, а также листовой табак служат нам для расплаты за услуги и с хозяевами-якутами. Приходят новые два ямщика доложить, что лошади готовы; мы и им предлагаем попить нашего чайку с хлебом и сухарями. Наконец, мы расплачиваемся с хозяевами чаще всего табаком, хотя якуты предпочли бы получить по стаканчику водки, но мы принципиально решили водки не давать, да и было ее у нас всего одна бутылка на всякий случай. Затем мы облачаемся в свои дохи, тюки наши под наблюдением казака увязываются ямщиками, самих нас тоже почти увязывают в сани, и мы летим со двора вскачь по узкой таежной дороге. Санки бросает из стороны в сторону, иногда они задевают за деревья, но все, к счастью, сходит благополучно. После нескольких верст быстрой скачки лошади начинают бежать нормально, а под конец перегона и совсем тихо, оживляясь только перед самой станцией. Перегоны были тут громадные: по 40—50 и более верст. Только якутские кони, на вид невзрачные, мохнатые, но страшно выносливые, могут делать такие перегоны. Правда, ямщики во время очень длинного перегона всегда дают несколько раз передышку минут на 15—20, протирая ноздри лошадей от намерзших сосулек и давая пожевать по клоку сена. Ямщики и казак во время этих передышек «закуривали», а потом мы опять мчались среди тайги, пересекая замерзшие болота и озера, которых тут множество и на которых только и открывается горизонт, обычно скрытый стенами густой тайги.

В особенности вспоминается мне одна такая остановка. Обычно я во время пути не зяб, укрывшись с головой в саях теплой одеждой, скоро засыпал, несмотря на качку и толчки, но при остановках я тотчас просыпался.

Проснулся я, почувствовав, что стоим; откинул полость (одеяло), которой укрывался с головой, и обомлел от изумления: было светлее, чем днем! Полнолуние... Луна сияла посреди неба... Стояли мы на огромном замерзшем озере, лес виднелся далеко за нами и еле чернел впереди нас, а озеро простиралось и вправо и влево безграничной, бело-снежной пеленой, играющей кое-где синими искорками. Над этой сверкающей пустыней расстиралось небо, почти черное, усыпанное крупными яркими, несмотря на свет луны, звездами. Воздух был чист, мороз не был так силен, чтобы выжимать туман из воздуха, поэтому и земля, покрытая снегом, искрилась, и луна, и звезды горели на темносинем небе, ничем не затененные. Никогда, мне кажется, я не видел таких ярких звезд и луны; вынув из кармана случайно оказавшийся лист газеты, я убедился, что могу читать самый мелкий шрифт. Таков был свет этой ночи!

Дневные картины были совершенно не эффектны. Солнце, хотя и поднималось уже все выше и выше (ехали мы ведь в конце февраля ст. стиля), но все-таки было бледно, почти всегда застилалось туманом или облаками, поэтому при переезде через замерзшие озера не наблюдалось от косвенных ослабленных солнечных лучей того эффекта, который был при луне. Гор или сколько-нибудь значительных холмов по этой дороге нет вовсе. Идет все лес и лес, да кочковатые болота... Мое внимание невольно остановилось на том, что снег на этих болотных пространствах был во многих местах разрыт. Снеговой покров, как и в южной Сибири, был неглубок, но почему и кем он был изрыт? Оказывается, как мне объяснил казак, разрывают снег табуны якутских коней, которых здесь держат круглый год на подножном корму, и они ходят без пастухов под предводительством жеребца. Матки и молодняк питаются травой, которую они откапывают копытами из-под снега, а вместо воды жуют снег. Для меня, большого любителя лошадей, это было ново и интересно.

Еще больший интерес возбуждала во мне езда на оленях. Приблизительно на половине пути между Якутском и Вилюйском находятся места, где очень трудно содержать лошадей, так как очень мало сносных мест и вообще травянистых пространств, а лесных площадей с ягельниками сколько

угодно, поэтому здесь на почтовых станциях держат не лошадей, а оленей. Когда казак сказал нам: «на этой станции нам дадут оленей, за ними уже послали», я очень заинтересовался и вышел посмотреть на них, когда их привели из леса, где они паслись. Красивые, с кроткими, прелестными черными глазами, олени были совершенно ручными, подпускали и чужого человека. Запрягают их попарно очень просто: петля широкого мягкого ремня надевается на грудь одного оленя так, что петля лежит на плече оленя и проходит под мышкой передней ноги; ремень пропускается через головку нарты (саней), а петля на другом его конце надевается так же точно другому оленю. Таким образом, ремень может скользить по головке нарты, и то один олень вытягивает более длинный конец, то другой. Обыкновенно более сильный идет дальше от головки нарты, натягивая более длинный конец, а его коллега бежит всегда на голову сзади, натягивая более короткий конец. Управляют оленями без всяких вожжей с помощью длинной легкой палки, которой тыкают и ударяют оленей слегка по спинам, и какими-то словами или криком.

Дали нам вместо трех конных подвод чуть ли не 4 или 5 (хорошо не помню) оленьих нарт, запряженных каждая парой оленей, потому что олени гораздо слабее лошадей. Так как ни я, ни Мартынов не могли править оленями, то с каждым из нас должен был ехать ямщик, и этим грузоподъемность наших нарт была значительно заполнена, на них можно было положить только понемногу из нашего груза. Казак, конечно, ехал без ямщика и поэтому мог взять довольно много груза, но все же для остального груза пришлось взять еще одну или две пары оленей.

Сели мы на оленей днем; я мог удобно наблюдать их во время езды. Бегут олени замечательно легко, каким-то широким, несколько размашистым шагом. Когда смотришь на них, сидя в нарте, видишь их покачивающиеся спины, головы с прижатыми к спине рогами, мелькающие внизу ноги, кажется, что олени, играючи, несут вас быстро, быстро... Но вот ямщик что-то сказал, что-то сделал своим длинным шестом, мы остановились... Ямщик подходит к оленям и оттирает им ноздри от инея и ледяных сосулек, а олени высунули черные языки и быстро дышат, поводя боками. Так

дают им передохнуть минут 10—15 через каждый час или два. Иногда олени вдруг сворачивали с дороги куда-нибудь в сторону по таежной тропинке или начинали мчаться по озерным площадям прямо по целине, ямщик поднимал крик, манипулировал своим шестом; снова направлял оленей на дорогу. Иногда нарта застревала в снегу так, что ямщику приходилось соскакивать с нарты (он сидел боком тотчас за головкой нарты, всегда готовый соскочить), вытаскивал нарту из снега и выводил оленей на дорогу. Вообще езда была очень быстрая, но какая-то беспорядочная, дикая, не то, что на лошадях, где больше налаженности. Так ехали мы дней 5—6, не страдая от холода, так как были хорошо одеты. Но так как перегоны бывали иногда такие длинные, что успеешь соснуть в своих санях, укрывшись с головой меховой полостью, то под конец бывало и прозябнешь. Наши же ямщики и казак зачастую так зябли, что слезали с лошади или с саней и бежали некоторое время, держась за сани. Это — лучшее средство, чтобы не замерзнуть, но для этого нужно быть одетым не в тяжелые бараньи тулупы и пудовые валенки, а в легкие меховые камусы (сапоги) и такие же штаны и кукашку (рубашку).

Рано утром на рассвете опять на лошадях мы стали подъезжать к Вилюйску. Когда мы выехали из высокоствольного леса, взорам моим представилась пологая к реке Вилюю равнина, поросшая мелким молодым сосняком, за которым в одной версте дымился утренним дымком «город». Увидел я две церкви, домов 5—6 порядочных, судя по крышам и вырисовывавшимся издали деталям, а затем несколько десятков избышек, каких-то срубов без крыш, юрт якутского образца, амбаров... Виднелись заборы, изгороди... Очень неказистым после Якутска показался мне Вилюйск.

Через несколько минут наш казак Жирков ввез нас в одну из лучших усадеб с двумя новыми домами и обширными амбарами и пр., принадлежавшую купцу Харитонову, к квартире товарища нашего Михаила Ивановича Ромаса. Затем Жирков, сказав, что бумаги наши он сам без нас отнесет в полицейское управление, распрощался с нами и оставил нас на попечение Михаила Ивановича, который принял нас истинно по-товарищески, хотя раньше мы с ним не встречались.

Весна 1932 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА БОГОРАЗ

Моя старшая сестра Паша, по-русски Парасковья, а по-еврейски собственно Перль — жемчужина, была в нашей семье первоисточником мятежного духа революции. Она кончила женскую гимназию в нашем родном Таганроге, помнится, в 1878 году. Отец хотел выдать ее замуж, но еще не успел приискать жениха, как Паша уехала «на курсы», точнее говоря на высшие женские Бестужевские курсы в Петербурге.

В отличие от всех нас, здоровенных степных сорванцов, была она болезненная, худенькая, маленького роста, склонная к простуде.

Зато характер у нее был решительный: «Возьму и уеду». Так и уехала, и никто не удержал.

Через год воротилась из Питера, добела раскаленная землевольческим огнем. Было это в 1879 году, в феерическое время. Сановников уже убивали, а царя Александра II еще собирались взрывать. И такой страшной силе, как русская монархия, нашелся отпор, — молодежь отдавалась революции душой и телом. Конечно, не вся, а только избранная часть, в сущности, небольшое меньшинство. Но творческая сила поколения вырастает всегда в меньшинстве, и после того ни одно поколение XIX века не горело столь жертвенно, как эти юнцы и юницы 1878—80 гг.

Паша была особой любовью отца. Был он мужчина огромного роста и силы, фигурой весьма походил на «великого» Петра, как его рисуют на портретах; в отличие от большинства евреев, выпить отец мог бесконечно много, но

никогда не пьянел. А когда разоидется и захочет показать удаль, подойдет к лошади и поднимет ее за передние ноги. Способности у отца были прекрасные, память чудесная.

Был он, по-своему, довольно образован, читал по-французски и любил по газетам следить за политикой.

Был он также весьма музыкален, пел приятным тенором и в трудные минуты своей пестрой и неровной карьеры неоднократно служил в синагоге хозаном-певцом. Его музыкальные таланты унаследовали младшие сестры. Они учились в консерватории и старались выйти в певицы. Впрочем, по окончании курса, как смеялся отец, бросили ученье и открыли домашнюю фабрику для изготовления детей, т. е. просто вышли замуж.

Но больше всех дочерей и больше сыновей отец любил свою хрупкую «жемчужину». Она была по рождению вторая. Старше ее была еще сестра — Розалия, я был моложе Паши почти на пять лет.

Нрав у отца был довольно тяжелый, хотя он нас пальцем не трогал. Мы, старшие и младшие дети, ему уступали во многом. Но Паша ему не спускала. У ней был огневой язычок. О чем бы ни пришлось, она говорила бесстрашно, решительно и твердо.

В то время даже в нашем степном Таганроге заговорили о революции и в частности о том, что студенты ведут пропаганду. Отец мой, как человек предприимчивый, задумал затеять свою контрпропаганду. В газетах появились описания политических процессов. Каждый день, после обеда, он читал нам вслух эти описания и советовал: «Бросьте, не лезьте, какое вам дело? Царь — это железная гора, а студенты — это мухи. Что они сделают, — только фундамент обсыплют».

Мы сначала скучали, а потом нам стало интересно. Выводы мы делали, конечно, другие, не в стиле отцовских советов. И какая молодежь послушает советов: «бросьте, не лезьте».

Факт все же остается фактом. Первое семя революционно-го протеста нам в душу заронил наш собственный отец цитатами из газеты «Новости», издания Нотовича.

Кстати, Нотович был родом из того же Таганрога и им таганрожцы гордились.

На эти наши обсуждения приехала Паша. Послушала раз и другой и пустилась в полемику с отцом. Говорила о грубости русских царей, о грубости полиции, о крестьянской нищете, об ужасной еврейской черте оседлости, и приводила наизусть известное революционное стихотворение того времени:

«Стонут Польша, казаки, забитый еврей,
Стонет пахарь наш многострадальный,
Истомился в далекой сибирской тайге
Яркий светоч науки опальной».

Последняя строка относилась к Чернышевскому.

— Ты говоришь, что мы — мухи, — доказывала она отцу, — нет, мы не мухи, а комары. У нас жало острое. Мы жужжим и жалим. Пускай мы погибнем, но будем стоять на своем. И опять приводила стихи:

«Славься, славься, родная Русь,
Перед царем ты и богом не трусь,
Пусть нас пытаются и жгут нас огнем,
Песню свободы под пыткой споем».

Она очень любила революционные стихи и эта любовь разила и меня.

Я, можно сказать, вошел в революцию через яркие стихи Свитыча и Синегуба:

«Быть может, как знать это, кровь моя будет
Той каплей, что, капнув горячим свинцом,
Народную совесть от дремы пробудит,
И в ужасе, встретясь с родным мерзвецом,
Народная совесть внезапно сознает,
Чему совершаться она допускает».

Паша привезла маленький сборник стихов нелегального издания. Мы вскоре заучили его наизусть, я до сих пор помню почти все и могу цитировать на память строфу за строфой.

Отец раздражался ее неустрашимыми ответами и принимался бранить ее. Она огорчалась и плакала, а потом вспыхивала ярче прежнего. Подымался дым коромыслом. Она убежала из-за стола, не окончив есть арбуз или компот.

Наши разногласия начинались обыкновенно уже за десертом. Отец посидит, подождет, а потом скажет: «Пойдите,

приведите ее». Я отправлялся за ней, но она не шла и только махала руками: «уйди».

Отец еще посидит, а потом сам выходит из-за стола, отыскивает свою непокорную любимицу, и они мирятся.

Было странно и трогательно видеть, как этот огромный человек ворчливо уговаривал и вместе утешал свою непокорную дочку:

— Ну, бог с тобой. Разобьешь себе голову. Тогда не пеняй. Не пеняй на меня. Схватишься, да будет поздно.

В 1880 году мы вместе с сестрой укатили в Петербург. Она на свои курсы, а я — в университет.

Я был совсем мальчик. Мне было пятнадцать лет. А поступил я в гимназию рано, на восьмом году, по самодельному метрическому свидетельству. Мне было пятнадцать лет, а сестре было двадцать. Но я был упитанный, толстый, она была худенькая. Оба мы были весьма наивны. В сущности, мы были как будто однолетки. Денег у нас не было. Отец мог дать только на дорогу. Мы жили очень дружно, взяли узкую комнатку в знаменитой Лихачевке, в районе Вознесенского проспекта, где обитали студенты, панельные девицы, писцы и всякая другая неопределенно текущая публика. Доходов у нас было до крайности мало. Сестра достала небольшое пособие, кажется, от фон-Дервиза. Для того, чтобы пополнить наш бюджет, писатель Кривенко доставал мне переводы для «Отечественных записок», все больше беллетристику с французского. Первые мои переводы были из новенькой книжки Золя и других: «Меданские вечера». Платили тогдашнему отлично, четвертную за рассказ. Писатель Кривенко был в одном кружке с моей сестрой. К этому же кружку примыкала и Софья Ермолаевна Усова, вышедшая потом в ссылке замуж за Кривенко. Она была красавицей, только слегка косила правым глазом. В том же кружке был Аркадий Тырков, после того арестованный по делу 1 марта, еще два брата Карауловы. Старший Караулов заведывал библиотекой на Петербургской стороне. Одно лето я жил и работал в этой библиотеке. Потом Н. Караулова арестовали и он умер в Петропавловской крепости.

Младший Караулов, бывший офицер, стал нелегальным и после судился в киевском процессе вместе с моею сестрой и ее мужем. Он был осужден на четыре года каторги, а по-

тому вместе со всеми киевскими каторжанами из этого процесса был переведен в Шлиссельбург. Приговор в Петербурге показался мягким, и департамент полиции решил его усилить. Ну, вот и усилили его перевозом в Шлиссельбург. В то время Шлиссельбург считался могилой таинственной и страшной. О нем не знали ничего.

По отбытии каторги, Караулова послали в сибирскую ссылку. Мы встретились с ним в московской тюрьме — Бутырках, на дворе у ворот, перед самым отходом партии. Он был не человек, а какой-то призрак: издергаанный, нервный, худой. А нас только что избили беспощадно в Пугачевской башне за обычный тюремный протест. Потом мы попали по железной дороге и баржами на буксире по Каме и Оби в Томскую тюрьму, из Томска пошли по Владимирке пешком в Иркутск. Шли, не торопясь, с этапа на этап, были всего в пути восемьдесят семь дней. Караулов сначала шатался от слабости, мы, случалось, вели его под руки. А потом он отдышался, его обдуло степным летним ветром, и он стал крепче. Через несколько дней партию догнала жена его, Прасковья Личкус, с маленьким сыном, который вырос, не зная отца. Ему было лет шесть. Жена Караулова была врачом, они оба остались в Красноярске. Было это в 1890 году. А через пятнадцать лет я встретил его снова в Петербурге. Он был избран кадетским депутатом в государственную думу.

В 1881 году, 1 марта, произошло убийство Александра II. И дальше — публичная казнь пятерых на Семеновском плацу. Сестра встретила ужасную процессию случайно и последовала за ней на Семеновский плац, увлекаемая непреодолимым и роковым любопытством, смешанным с ужасом. Вешали высоко на помосте, и она видела каждую малейшую подробность, даже и то, как оборвался Михайлов. Она прибежала домой вне себя, кричала, проклинала. Удивляюсь, как ее не арестовали на улице.

В другом месте я описывал свое участие в студенческой группе, связанной с делом 1 марта. По этому делу я был арестован, но поплатился только университетским карцером, кажется, недели на две. Уж очень я был молод и зелен. И только через год, весной 1882 года, я был снова арестован по студенческим делам и выслан из Петербурга на год в родной Таганрог.

Таким образом, я поневоле поехал домой. Сестра не поехала домой, она осталась в Ленинграде кончать свои курсы, а также заниматься революцией. Летом того же года мы получили в Таганроге письмо из Петербурга. Она написала отцу и мне о том, что выходит замуж за Михаила Петровича Шебалина.

Я Шебалина знал совсем мало, кажется, видел его однажды на каком-то собрании. Она сообщила отцу также и о том, что приняла православие, что вытекало из условий церковного брака. Отец огорчился, но не очень. Хотя и связанный с еврейской синагогой, он не был фанатиком, брил бороду и, случалось, ездил в субботу на извозчике прямо в синагогу. Ездить на извозчике в субботу у евреев считается грехом. Брак сестры с Шебалиным ему показался удачным. Шебалин, по письму сестры, только что кончил университет, а она кончила курсы. Они были совсем подходящая пара. Отец написал ей письмо, несколько ворчливое, но в общем благосклонное. А я послал ей поздравление. Она ответила мне в загадочном тоне, что я еще молодой мальчик, мало разбираюсь в делах, и что поздравлять ее рано, или, пожалуй, поздно.

Брак этот был, как известно, фиктивным для целей революции. Молодые сняли особую квартиру, устроили там типографию, которую предал через малое время Дегаев. Вместе с тем Дегаев предупредил их о существующей опасности, и они уехали в Киев; там опять завели типографию и там же, наконец, их арестовали в 1884 году. Фиктивный брак к тому времени стал настоящим.

В Киеве был процесс. Шебалина, Караулова и нескольких других осудили на каторгу, а сестру сослали на жительство. Но трое по этому процессу были оправданы. Оттого приговор показался мягким петербургскому начальству. Я знал обо всем этом только по рассказам. В то время сам сидел в таганрогской тюрьме по делу о расклейке прокламаций, о взрыве квартиры учителя Урбана и еще по другим делам. Впрочем, мы общались из тюрьмы с волей довольно свободно. И в 1884 году по этой тайной почте я получил от сестры последнее письмо. Оно было написано карандашом на мятой бумаге, очень неразборчиво и криво. Я насилу мог прочитать его. В то время, как известно, она и муж сидели

в Бутырской тюрьме; сестра родила ребенка; с мужем она имела ежедневное свидание и строила планы о том, что мужа повезут на Карийскую каторгу, а Паша подаст прошение, чтоб ей позволили отбывать ссылку на Каре. Она наймет квартиру, а мужа будут отпускать к ней домой.

Тюремные мечты о счастье подневольном и кабальном...

Точного текста письма я не помню, оно было малоопытно, и я установил связь этих фактов скорее по намекам.

А дальше продолжалось: «Сегодня увезли моего Мишу, хотела идти на свидание, а его уже нет». И шли проклятия и жалобы, несвязные, мучительные.

Текста не помню, но помню терпкий вкус и горечь письма.

Это было последнее письмо. В 1885 году умер ребенок, а вскоре после него, 41 ноября, умерла и Паша.

В 1885 году меня выпустили из тюрьмы и выслали на год в город Ейск, на другом берегу Азовского моря. Из Ейска я бежал и стал нелегальным, участвовал в южных делах и после целой серии обычных арестов на юге уехал на север, в Москву.

Тут, между прочим, я расспрашивал также о сестре и даже достал ее фотографическую карточку. Была она, помню, в тюремном халате и лицо у нее было совсем изможденное.

Мне рассказывали некоторые подробности о ее похоронах. Студенческая молодежь хотела устроить на похоронах демонстрацию, но тело сестры вывезли ночью из тюрьмы и схоронили, неизвестно где. По некоторым слухам и догадкам, сожгли его в извести.

Последнее письмо моей сестры пришлось уничтожить в таганрогской тюрьме перед одним из обысков. А карточка сестры у меня хранилась с год, а потом при аресте пропала с другими вещами. Она лежала в моем чемодане на явочной квартире. Жандармы схватили меня на улице, а потом разыскали квартиру и забрали чемодан. Через несколько лет меня послали из Петропавловской крепости в далекую колымскую ссылку, чемодан мне вернули, но карточка осталась у жандармов.

Много лет спустя, уже после первой революции, я снова попал в Москву и пытался наводить справки о могиле сестры, но не мог ничего узнать.

Проф. В. Г. Тан-Богораз.

II

ДОКУМЕНТЫ

ПОДГОТОВЛЕНЫ Л. БЕРМАНОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Л. БЕРМАН

Основная масса документов, напечатанных ниже, относится к киевскому процессу; об этих документах здесь и необходимо прежде всего сказать несколько слов.

Киевский «процесс 12-ти» происходил в 1884 году. Собранный архивный материал, относящийся к этому процессу, имеет свою историю. Несколько лет назад меня занимала мысль разработать исключительно по архивным материалам политические процессы — в первую очередь, а затем вообще наиболее крупные политические дела, хотя бы и закончившиеся административным порядком. Пользуясь жандармским, генерал-губернаторским, военно-судным и другими фондами, располагая существенные документы или извлечения из них в порядке возникновения, развития и окончания дела, можно бы составить обзор какого-нибудь процесса на двух-трех печатных листах вместо многотомных «дел» архива. Такие обзоры, думал я, могли бы служить пособием и справочниками не только для тех, которые захотели бы серьезно изучать прошлое революционное движение, но и для всех тех, которым по роду их работы и занятий приходится разыскивать всякие данные по революционному прошлому. Впоследствии я имел много случаев убедиться, что такие обзоры были действительно нужны.

Академик Д. И. Багалей, который тогда был консультантом Украинского центрархива и которому я детально изложил свой план и как думал его осуществить, сочувственно отнесся к моему предложению. Украинский центрархив согласился дать необходимые средства на составление обзо-

ров и издать эти труды. Должен сознаться, по моей собственной оплошности план этот не осуществился. Но собирать материал я продолжал и составил обзоры нескольких политических процессов в указанном выше направлении, между ними был обзор киевского «процесса 12-ти» (Шебалиных, Панкратова и др.). Из этого-то обзора редакция сборника «Народовольцы 80-х и 90-х годов» взяла несколько отрывков в дополнение к помещенным в сборнике воспоминаниям М. П. Шебалина.

В Киевском архиве имеются следующие «дела» по процессу Шебалиных, Панкратова, Караулова и других:

1) № 60 за 1884 г. канцелярии киевского, подольского и волынского генерал-губернатора. Дело по донесению начальника киевского губернского жандармского управления о задержанных в г. Киеве лицах: Александре Озерове (он же Панкратов), дворянине Василии Караулове (он же Тейш), дворянине Аполлинарии Борисовиче и др., принадлежащих к преступному сообществу.

2) № 1 за 1884 г. Дело киевского военно-окружного суда об именуемом себя дворянином Аполлинарием Борисовичем, действительном студенте Михаиле Шебалине, его жене Прасковии Шебалиной, дворянке Варваре Шулепниковой, студенте киевской духовной академии Петре Дашкевиче, мещанине Василии Панкратове, дворянине Василии Караулове, студентах университета св. Владимира Макарии Васильеве, Якове Затворницком, Николае Завадовском, Евгении Степанове и сыне священника Николае Дирдовском.

3) № 1 за 1884 г. Дело канцелярии военного прокурора киевского военно-окружного суда об именуемом себя дворянином Аполлинарием Борисовичем, мещанине Василии Панкратове, сыне священника Петре Дашкевиче и других.

4) № 306 за 1884 г. Дело прокурора киевской судебной палаты. Шебалин, Панкратов, Мартынов, Караулов и др.

5) № 124 за 1884 г. канцелярии киевского губернатора. Дело о задержании Черновского, Аполлинария Борисовича, Михаила Шебалина, Макария Васильева, Петра Дашкевича, Василия Караулова и др.

6) № 521 за 1884 г. канцелярии киевского губернатора. О политических преступниках: Прасковии Шебалиной, Варваре Шулепниковой (Кочеткова), Макаре Васильеве, Николае

Дирдовском, Петре Дашкевиче, Михаиле Шебалине, Аполлинарии Борисовиче, Караулове Василии и Василии Панкратове.

В деле прокурора судебной палаты имеются черновики его донесений министру юстиции о ходе и обстоятельствах арестов, о показаниях привлеченных к дознанию лиц, при чем показания излагаются подробно и точно. Поэтому эти донесения представляют собою весьма интересный материал. По сравнению с обвинительным актом или заключением военного прокурора эти донесения не содержат в себе ничего отличительного. В этом же деле лежит копия письма Плеве к Новицкому. Это письмо, как видно из обвинительного акта и приговора суда, сыграло большую роль, главным образом по отношению к Караулову. Вероятно, оно было представлено прокурору палаты тогда, когда вопрос об изъятии от него дела и передаче его военному суду еще не был решен, между тем дознание не обнаружило никаких указаний о съезде революционеров в Киеве, и полк. Новицкий решил произвести давление на прокурора палаты, как он это же сделал по отношению прокурора и военного суда.

Дело военно-окружного суда и в особенности дело канцелярии генерал-губернатора содержат много интересных и ценных документов.

Не сохранилось дела киевского губ. жанд. управления и всех материалов дознания и следственного производства. Но то, что сохранилось, дает достаточный материал, чтобы иметь возможность составить себе более или менее ясное представление и о самом процессе, и о лицах, участвовавших в нем.

Вообще по архивным документам нелегко выяснять стремления и духовный облик революционеров. По документам они кажутся менее яркими, духовно менее красочными, чем были в действительности. Оно и понятно. Социалист-революционер не мог и вовсе не желал открывать перед жандармами свою душу. Не мог и раскрывать своей деятельности, не наводя на след других лиц, не давая повода для новых расследований. Наконец, арестованному, если только не было особых мотивов, не к чему было самому отягощать свою участь.

Не было громких, ярких выступлений на киевском «процессе 12-ти». Несмотря на это, изучение документов по это-

му процессу оставляет какое-то успокаивающее, отрадное впечатление. Среди сопроцессников нет ни одного предателя. Наоборот, чувствуется желание выгородить, облегчить участь кого можно. Повидимому, подбор лиц, составлявших ядро образовавшегося кружка, был сделан достаточно осторожно и умело.

Интересно тут привести отзыв Льва Тихомирова о процессе Шебалиных, Мартынова, Панкратова и др. Отзыв этот написан в эпоху, отделенную от нас десятками лет, в совершенно другой исторической обстановке, а оценка Тихомирова по существу совпадает с нашей. «Летопись русского политического суда», — пишет Тихомиров («Вестник «Народной воли», № 5, 1886 г. Внутреннее обозрение. «Киевский процесс»), — приучила нас к самым ярким примерам гражданского мужества и самоотвержения со стороны подсудимых. Однако же, поведение их во время процесса 1—7 ноября производит выдающееся, отрадное впечатление даже на тех, в чьей памяти носят образы Петров Алексеевых, Мышкиных или Желябовых. Я говорю не о могучих талантах, «сумевших кафедру создать из эшафота», а собственно о нравственной силе, их воодушевлявшей. Эта нравственная сила, глубокое убеждение в своей правоте и какое-то беззаботное пренебрежение ко всем личным интересам сказывается в каждом слове обвиняемых. Каким-то свежим духом бодрости и силы веет от этой бравой молодежи. Я говорю — «от молодежи», потому что тут мы имеем перед собой представителей, сравнительно, совсем молодого поколения. Средний возраст подсудимых едва превышает 23 года, когда как, например, в последнем петербургском процессе он доходил почти до 28 лет».

Хорошо известна страшная роль предательства в русском революционном движении. В киевском «процессе 12-ти» нет ни явных, ни тайных предателей. Правда, в деле фигурируют «секретные агентурные сведения». А именно, по приобщенным к дознанию киевским жандармским полковником сведениям, добытым секретным агентурным путем, Караулов обвинялся в том, что он после съезда в Париже отправился в Киев на съезд членов народовольческого направления, причем на съезде этом решено было совершить для поддержания кредита партии 5 или 6 политических убийств. Но если

сравнить сообщение Новицкого с приложенной здесь копией письма бывшего тогда директором департамента полиции Плеве к полк. Новицкому, то нетрудно увидеть, что сведения об участии Караулова в парижском совещании и о решении киевского съезда добыты Новицким не «секретным агентурным путем» в Киеве, а взяты им из этого письма. И на самом суде подсудимые держат себя спокойно, но твердо, хотя двум, оказавшим вооруженное сопротивление при аресте, грозила смертная казнь. Так и кажется, что спокойствие и моральная чистота подсудимых влияют на самих судей.

Об отсутствии предательства среди участников процесса и вообще о том, как стойко они вели себя на допросах и на суде, пишет в указанной выше статье и Лев Тихомиров. «Вот в этом-то отношении (речь идет о том, что огромное количество своих сведений следователи успевают обычно вырвать от самих подсудимых и что арестованных предохранивает от прискорбных ошибок не столько ловкость, как высокое напряжение нравственных сил. — Л. Б.) последний киевский процесс — редкий в своем роде образчик. Перечитывая обвинительный акт, просто любишься поведением подсудимых. Я не говорю о том, что их ряды не опозорены присутствием ни одного слабодушного предателя. Тут, конечно, не было бы ничего удивительного. Но человек, знакомый с печальным явлением нечаянного оговора, действительно поражается полнейшим его отсутствием в данном случае, и притом в рядах людей, очевидно не отличающихся особенной опытностью. Немного найдется процессов, где следователи успели бы вырвать у подсудимых так мало сведений. Суду пришлось решать дело почти исключительно по показаниям профессиональных уличных шпионов. Отказами от дачи показаний во всех сколько-нибудь щекотливых случаях пестрят страницы обвинительного акта. Борисович заявляет, что он по направлению террорист, но отказывается дать какие бы то ни было указания о планах партии. Впрочем, Борисович отказывается даже открыть свое настоящее имя, «не желая причинить неприятностей своим родным и знакомым». Это — общая тактика. Подсудимые смело заявляют свои убеждения даже в тех случаях, когда, повидимому, легко могли бы от них отпереться. Но, переходя к фактической стороне, подсудимые на каждом шагу молчат, от-

казываются от показаний и без малейших колебаний ухудшают свое положение, лишь бы только ничему и никому не повредить. Шебалин, например, заявляет о своей принадлежности к партии «Нар. В.» и затем предоставляет следователям на их собственные усилия. Спрашивают, что он делал в партии, — Шебалин отказывается объяснить. Спрашивают, каким образом к нему попали те или другие вещи, — объяснить не желает, и т. д. Шулепникова как будто нарочно бросает следователям вызов, без малейшей надобности заявляя, что она вообще охотно бы приняла участие и в террористических предприятиях, а в отношении фактов не желает даже объяснить, зачем приехала в Киев. Дашкевич, упоминая о революционере, отказывается назвать его фамилию; но фамилию эту можно открыть по одному гимназисту. Дашкевич отказывается указать и этого последнего. Спрашивают, в какой он, по крайней мере, гимназии обучается. Подсудимый и это отказывается объяснить. Впрочем, в сущности я не имею надобности приводить примеры».

В своем рапорте от 20 июля 1884 г. генерал-губернатору полк. Новицкий докладывал, что того же числа жандармское управление препроводило прокурору судебной палаты оконченное производством дознание о 18 лицах (Панкратове, Борисовиче, Мартынове, Шебалиных и др.), что, по его мнению, дело подлежит направлению в силу § 17 положения об охране в военный суд, и указывал при этом, что обвиняемые настолько избыточаются в государственных преступлениях, что вряд ли кто-нибудь из них может быть оправдан на суде, за исключением двух. Когда же дело перешло к военному прокурору, он не нашел оснований для предания суду не двух, а пятерых, а военный суд оправдал еще троих. Как видно, уверенность полк. Новицкого не имела под собою прочного основания. Это признал и генерал-губернатор Дрентельн. «Дело заключалось в непрочности обвинения, основанного на излишнем усердии следователей», — писал он.

Начальник киевского жанд. управления полк. Новицкий действительно проявлял много усердия и старался предавать военному суду как можно больше людей, добиваясь для них смертных приговоров (в 1879 г. в Киеве было казнено 8 человек) и долгосрочной каторги. Мстительный и злопа-

мятный по отношению к тем, которым случалось возбуждать личное к себе его нерасположение, полк. Новицкий, вывезенный в Киев из области войска Донского Чертковым (Чертков до перехода своего в Киев на пост генерал-губернатора был атаманом войска Донского), в общем относился к революционерам далеко не с той озлобленностью, какою отличался, например, бывший киевский военный прокурор Стрельников. Придавая преувеличенную оценку политической роли арестованных, стараясь создавать процессы с большим числом лиц, выискивая всяческие способы повлиять на суд и добиться более сурового приговора, полк. Новицкий, карьерист по основным чертам своего характера, в сущности домогался одного: показать, какой он расторопный служака, каких важных преступников он задержал.

Не буду долго останавливаться на полк. Новицком, хотя эта мелкая заурядная личность в течение десятилетий играла крупную роль на киевском горизонте вообще и в деле Шебалиных, Панкратова и др. в частности.

Таковы замечания, которые я считал нужным сделать о документах по киевскому процессу. Что касается остальных документов, то среди них особый интерес представляет, несомненно, письмо К. А. Степурина к М. П. Шебалину от 19 февраля 1884 г. Оно получено нами от С. Н. Валка, которому редакция приносит свою искреннюю благодарность за это содействие в его розысках архивных документов по делу М. П. Шебалина. Письмо это раньше не было напечатано. Затем также никогда не появлялись в печати письма самого М. П. Шебалина к родным, копии с которых получены редакцией тоже от С. Н. Валка. Мы помещаем их здесь, так как, несмотря на свой чисто личный характер, они представляют все же и общий интерес, помогая уточнить некоторые даты и рисуя вообще, в какие сложные отношения приходилось, в силу конспирации, становиться революционерам к их родным. Кроме этих документов, мы сочли необходимым напечатать также несколько писем П. Ф. Якубовича к М. П. Шебалину, уже опубликованных в «Красн. Арх.» С. Н. Валком, присоединив к ним ряд показаний и заявлений того же П. Ф. Якубовича о К. А. Степурине. Нам представлялось необходимым для полноты картины дать и эти публикации, не говоря уже о том, что при помещении

их нами руководила и специальная цель: отдать все должное памяти такого безупречного и так трагически погибшего революционера, как К. А. Степурин. Сам он погиб, не имея возможности высказать свое мнение о происходивших тогда событиях, в которых и он, и М. П. Шебалин с П. Ф. Якубовичем играли такую видную роль. Пусть же теперь ему будет воздано хотя бы только этим путем заслуженное им право на память потомства.

ДОКУМЕНТЫ

I

ПИСЬМО К. А. СТЕПУРИНА к М. П. ШЕБАЛИНУ¹

(Печатается по копии; подчеркнутые места в подлиннике зашифрованы)

18¹⁹84
II

Как это вас до сих пор не забрали, одному аллаху известно. О вас уже составлен обвинительный акт и ваша фамилия служит в Питере в последнее время притчею во языцех. Сегодня узнал, что ваша типография не может служить для напечатания №. Собравшись, мы порешили, что № отпечатается здесь. Усилия всех должны быть теперь направлены к тому, чтобы обеспечить наилучшим образом здешнюю типографию. Чем можете—помогите. Пришлите с Вас. Ан. хотя несколько крупных заглавных букв и виньеток. Порешили также пригласить вас в Питер. Здесь вы будете нужным человеком, а в полицейском отношении вряд ли вы будете здесь менее обеспечены, чем в Киеве. Присылаю вам вместе с этим письмом четыре паспорта: 1. подлинный и 3 фальшивых (подлинный от полтавского полицеймейстера). Из обстоятельств дела я узнал, что П. Ф. вместо устройства связей с Киевом (для какой цели он ездил) посеял лишь раздор и завел теорию сплетен в партии. Но об этом пока распространяться не буду. Приедете—узнаете. Не писал вам так долго потому, что П. Ф. по приезде заявил, что ваш адрес

¹ См. прил. «Материалы для характеристики К. А. Степурина».

не вполне надежен. Не желая вконец компрометировать адресата конспиративными письмами, я воздержался от переписки. Но не понимаю, почему вы не ответили даже на письмо с деньгами. Ведь у вас имеется несколько на них адресов (даже кроме того, который скомпрометировал своими телеграммами П. Ф. Впрочем, вчера от него узнал, что он и по поводу адресов вам насплетничал уже из Петербурга, обобщив частный случай, обусловившийся частным недоразумением, в правило). Попрошите Вас. Ан. скорее приезжать в Петербург. Здесь он крайне нужен. Адреса наши действительны и аккуратны, поэтому можете писать по ним. Кроме того, для переписки киевской группы с центральной группой (только для этой переписки) сообщая вам адрес, который после вашего отъезда вы уполномочены передать только представителю местной группы, и как он, так и вы никому более сообщать этот адрес не в праве. Вот этот адрес: Редакция газеты «Новости», Мойка, номер девятый (причем последние три слова подчеркивать волосистым штрихом). Время написания письма следует обозначить таким же способом и на том же месте, как это сделано в настоящем письме. В тексте содержания письмо должно заключать в себе запрос о времени напечатания какой-либо измышленной корреспонденции. Лично вы, а также Вас. Ан. (которому вы можете сообщить этот адрес, если настоящее письмо застанет его в Киеве), можете и явиться по этому адресу. Следует обратиться к секретарю редакции — спросить у прислуги его комнату — она из передней направо. Он из себя мужчина среднего роста, смуглый, с черной бородой, фамилия его Греков¹. Пароль: устройте мне связь с Алексеем Константиновичем. Если вы получите от него сведения, что видел меня в тот же день, или накануне, то можете непосредственно прибыть ко мне на квартиру на следующий день в 11 часов утра (можете и в тот же день, но только рискуете не застать дома). В противном случае явитесь по адресу, который он вам укажет, отправивши в тот же день мне по городской почте известие, что вы прибыли и завтра будете в явочной квартире. В первое место явки можете зайти ежедневно от двенадцати до пяти. Можете явиться также и по присланной вам ранее явке (по этой явке местная группа может присылать вообще людей организации). Там можно бы-

¹ См. прим. «Секретарь газеты «Новости» Ф. К. Греков».

вать от 11 до 4-х. Отберите мнение от ваших товарищей: как Н. В. следует отнестись к дегаевским шуткам, о которых почти весь Петербург уже знает и трубит, благодаря заявлениям заключенных и стараниям полиции и прокуратуры. Вопрос этот в высшей степени важен. Неправильно решив его, партия может дискредитироваться. Подумайте над этим посерьезнее. Будут ли нам доверять, если мы замолчим факты и не выскажемся принципиально? Скажите Вас. Ан., чтобы проездом в Питер остановился на день — два в Москве и навел справки у «Историка», как удовлетворить его (Вас. Ан. знает, в чем дело). В Варшаве новые провалы. Явка их не действительна. В окрестностях забрали конспиративную квартиру и массу материалов. Заграничные издания уже имеются в России. В Северо-западном крае в одной деревне бунт. В роте Серпуховского полка тоже был бунт. На Гону сильнейший бунт аграрного характера. Сообщите скорей явочный надежный адрес исключительно для переписки с центром. Если же вы считаете настоящий адрес наиболее соответствующим этой цели, то отберите его у местных групп. Дело в том, что при его общинности нельзя рассчитывать на его прочность (кто-либо телеграммами может и его скомпрометировать).

Наши адреса: явка в Питер — Мировой съезд, пом. секрет. Александр Ив. Юрасов. Спросить: Наведите справку о деле № 1001.

Для статей в редакцию: В редакцию «Живоп. обозрения», по Колокольной ул., Александру Николаев. Павлову.

Для писем: 1) Малая Посадская, Леонтьевой; 2) Пушкинск. ул., пом. пр. пов. Ник. Ив. Тур; 3) Кирочная ул., Толкачевой.

Для писем в Варшаву: Свентоерская ул., Максимилиан Гандельсман. Ключ — сосед.

Ал. Констан.

II

ПИСЬМА П. Ф. ЯКУБОВИЧА к М. П. ШЕБАЛИНУ

1

21 февраля 1884 г.

Михаил Петрович! В тот день, как выедете, телегр[афируйте] в Пуш[кинскую] Пал[е]роля Эртелю. Ваш гонорар выслан. Кулишер. Для нас это важно. Если найдете необходимым выехать

с супругой, прибавьте слово *весь* (т. е. *гонорар*). Возможно это для нас в смысле заготовления для кв. и т. д.

Александр Иванович.

Конец.

Примечание. Печатается по тексту в статье С. Н. Валка в «Красн. Арх.», кн. 36, так же как и последующие письма. В том же «Красн. Арх.» см. комментарии С. Н. Валка к этим письмам, которые здесь мы частично воспроизводим с некоторыми дополнениями. «Эртель» — известный писатель. О нем см. в примечаниях С. Н. Валка в «Кр. Арх.». «Супруга» — разумеется П. Ф. Шебакина-Богораз. — Слово «Конец» ставилось в шифрованных письмах для обозначения, что никакого шифрованного текста больше нет.

2

28 февраля 1884 г.

Третью и четвертую страницу отдайте Мак[ару] Ник[олаевичу]¹. Мих[аил] Петрович. Не скупитесь, пожалуйста, на письма. Столько человек, и писать почаше не можете. Если думаете немедленно ехать на наше приглашение (а почему вы не сделали этого, не могу себе представить — здесь быть в наст[оящую] минуту, без сомнения, важнее), то почему не телегр[афировали], как я просил в последнем письме (вчера, по крайней мере днем, не было). Приезжала ли барыня с письмом от Алексея? Мы письма не посылали, но отправили несколько десятков прокл[амаций], от «Союза». На все, что пишет Алексей, повторяю еще раз, не обращайтесь внимания. Теперь имею тем большие основания говорить, что приехал на днях Ив[ан] Алекс[андрович] (старик) и до того возмущен деятельностью Станисл[ава], на котором зиждется все величие, весь ум и все «полномочия» Алексея, что не хочет признавать в настоящее время никакой распр.², а с Ал[ексеем] не хочет никаких дел иметь и потому уже, что его ровно никто во всем нашем мире не знает и никто не ручается. Редакция (13, 12 и др.) также порвали с Алексеем, и мы приступили к печ[атанию] номера. Ив[ан] Ал[ександрович] останется здесь устраивать на широких началах п[асп]ортное бюро, явился еще

¹ Так в копии.

² Так в копии; быть может, имеется в виду распорядительная комиссия, которая, впрочем, в Петербурге еще не появилась.

один человек из Сибири. О Вас[илии] Ал[ексеевиче] пока ни слуху ни духу. Не знаете ли вы чего-нибудь? Мих. Петрович и М[ихаил] Адамович ждем. Пишите поскорее, как то дело. Вот если был..

Ваш Алекс[андр] Ив[анович].

Конец.

Примечание. «Макар Николаевич» — Васильев М. Н. (о нем см. в прилож. примеч.), «Алексей» — К. А. Степурин, «Барыня от Алексея» — повидимому, Л. Д. Чернова (см. прим.), «Иван Алекс.» — Овчинников М. П. (о нем см. у В. И. Сухомлина в кн. 24 «Кат. и ссыл.»), «Станислав», он же «Стась» — С. Ч. Куницкий (см. у С. Н. Валка в примеч. в «Кр. Арх.»), слова: «Редакция (13, 12)» — относятся (по Валку) к М. А. Протопопову, а о приезде из Сибири — к М. Ф. Лаговскому (впоследствии — шлиссельбуржец). «Васил. Ал.» — С. А. Иванов, «Мих. Ад.» — Н. П. Стародворский. — Слова: «пишите поскорее, как то дело», — имеют в виду подготавливавшуюся экспроприацию почты, в которой должны были принимать участие 12 человек, во главе с М. П. Шебакиным. Экспроприация не состоялась, дело осталось не раскрытым, хотя некоторые вещественные улики к нему были взяты у П. Г. Дашкевича, и о нем ни на следствии, ни на суде не было речи. Не освещено это дело совершенно и в мемуарной литературе. Из участников, имевших отношение к нему, ныне здравствуют, кроме М. П. Шебакина, Е. Д. Степанов и П. Г. Дашкевич.

3

29 февраля 1884 г.

Только в руки Мих[аила] Петровича.

Только в руки М[ихаила] П[етровича] или Прасковьи Фед[оровны]. Дорогой М[ихаил] П[етрович] и многуважаемая Прасковья Фед[оровна]. Пишу вам это письмо и почти убежден, что вас нет уже в живых. Сегодня приехал Мих[аил] Ад[амович] и как громом поразил нас вестью, что вы все еще на лег[альном] полож[ении]. А между тем в Петербурге составлен уже относительно вас официальный обв[инительный] акт, и ваша фамилия известна всем. Если вас не взяли до сих пор, то или по какому счастливому и небывалому в летописях русского государства недоразумению, или же с шпионскими целями, что еще хуже и страшнее. И отчего же вы до сих пор не писали мне о

вашей халатности (я одно всего письмо получил, в котором ни слова об ней не было). Я был убежден, что решение, принятое в день моего отъезда, исполнено. Получили мою телеграмму за подписью М. П. и приняли ли ее во внимание? Если нет, то теперь, в этом письме, и уже в последний раз повторяю я вам, как друзьям и товар[ищам], убедительно прошу ради вас самих и ради дела: переходите на нелега[льное] пол[ожение], т. е. бросьте немедленно кв[ртиру]. И если нет над[ежного] дубл[иката], то или покрывайтесь некоторое время в Киеве или же, самое лучшее, отправляйтесь немедленно-немедленно сюда. Здесь, во-первых, вас решительно никто не знает, во-вторых, у нас хорошо организовано квартирное дело, так что недели две легко прожить без паспорта; в третьих, здесь нужно ваше присутствие. Ну, конечно об этом раз навсегда. Теперь о делах. К вам приехал Павел Иванович... Думаю, что вы преждевременно поступили, отдав ему все связи, зная, кто он и как он ведет дела. Это — во-первых, а во-вторых, вот что. Приедут сюда этаких 8 господ, с целью мудрить над нами. Они там решили, видите ли, то-то и то-то, и мы должны их слушаться. Общество ждет нового слова от передовицы, а они привезли общие фразы. Мих[аил] Ад[амович] прочитал имеющуюся у нас передовую статью и в восторге от нее. Тип[ография] наша стоит недурно, что можете видеть по присланной вам прокл[амации] Союза, и мы приступаем к печ[атанию] ном[ера]. Привезенной Павлом Ивановичем статьи не возьмем ни за что — это значило бы разочаровать людей и нанести делу громадный вред. Во всяком случае нашу передовицу пустим под конец, чтобы успеть дать ее прочитать возможно большему числу лиц. Если будет наша статья взята, то может быть еще нечего¹ будет помещать объявление о Сергее Петровиче. Затем есть горячая и прекрасная статья о конституц[ионалистах], противоположного прежней содержания. Затем статья о Неустроеве с его предсмертным письмом, затем арестная хроника. Жаль, что денежного отчета не прислали с М[ихаилом] А[дамовичем]; что касается внутреннего обозрения, то если пойдет наша передовица, довольно объемистая, то и без него на первый раз можно обойтись — в «Вестнике» есть прекрасное вн[утреннее] об[озрение], от номера же публика ждет главным образом перед[овой] статьи, но, может быть, и вн[ут-

¹ Так в копии.

реннее] об[озрение] будет. Дальше вот что. Жаль, что за границей так и не подняли вопроса о том, что за птицы Стась и Ал[ексей] Кон[стантинович] (поведение обоих в высшей степени двусмысленно). Кривенко просит из дома пред[варительного заключения] не доверять А[лексею] К[онстантиновичу]. Затем наводили справку в военных кр[ужках] и в полку, в котором он служил, никто даже не знает его. Все это следует принять во внимание. Наконец, если бы все эти подозрения были и неосновательны, то почему он держит в своих руках такие важные связи, чем он заявил себя для такого огромного доверия? Что касается его революцион[ных] способностей, то он за это время заявил себя абсолютной бездарностью: единственное, что можно поставить ему в заслугу, — чиновничья пунктуальность. В заключение всего, человек мерзкий, мелочной, лживый. Впрочем, боюсь, чтобы вконец не обвинили меня в пристрастии и личной вражде. Но лично я вполне доверяю своему внутреннему чутью — и работать вместе с Алексеем отказываюсь². Помимо того, что я сказал выше о Павле Ив[ановиче], если бы он не рассердился на то, что его инкогнито перед мной нарушено (хотя я сохранил его в страшной тайне), я послал бы ему теплый привет. Он, значит, в тысячу раз лучше, чем я думал про него. Но он человек, привыкший ходить на помочах, не умеющий распознавать людей, халатный и пр. и пр., и мне неприятно, что не те прекрасные юноши или не другой кто-нибудь, а он будет стоять во главе киевских дел. У А[лексея] Ко[нстантиновича] дубл[икатов] нет, у нас пока лишних также, но есть надежда, что в течение двух-трех недель будет много. Передайте Павлу Ив[ановичу] адрес нашей группы — пусть пишет. Около нас, во всяком случае, все русские (здешние) силы; Мих[аил] Ад[амович] (он не будет видаться с Ал[ексеем]), Ив[ан] Ал[ександрович], Алексей Павл[ович] (приехал), ждем Вас[илия] Ал[ексеевича], другие лица — легальн[ые] и нелегальн[ые]; литераторы, окончательно порвавшие с Алексеем, у нас же и тип[ография], Ал[ексей] Кон[стантинович] один, с Стасем за спиной, с своим сомнительным происхождением и, к сожалению, с явкой, на которую будет являться народ. Напишите сколько вам нужно денег.

Александр Иванов[ич].

² См прим. «Отрывки из показаний К. А. Степурина».

Примечание. Телеграмма, о которой говорится в письме, напечатана С. Н. Валком в кн. 36 «Кр. Арх.», стр. 168. «Павел Ив.» — В. А. Караулов, о передовых статьях см. в прилож. примеч. слова о типографии комментированы у С. Н. Валка, ук. ст., стр. 169, а также и слова о «Серг. Петр.» (Дегаеве). — Статья о конституционалистах напечатана в № 10 «Нар. В.», автор ее С. Н. Кривенко. Статья о Неустроеве принадлежала Л. П. Буланову и была прислана из Иркутска. — О предупреждениях, которые делал (якобы) С. Н. Кривенко см. в показаниях самого П. Ф. Якубовича, стр. 89, в кн. 37 «Кр. Архива».

4

4 марта 1884 г.

Пасп[ортное] бюро наше все еще в плохом положении, т. е. нет бланков и дубликатов, резчики же у нас великолепные, и печатей заготовлено уже много. Следовательно, выслать вам в настоящую минуту пасп[орт] не можем. Но если бы вы, Мих[аил] П[етрович] и Пра[сковья] Фед[оровна], явились сюда, то для М[ихаила] П[етровича] есть прекрасный подлинный документ (только для Питера годный). Пр[асковье] же Ф[едеровне] изготовили бы паспорт в близком будущем или же предложили бы к ее услугам массу квартир для спокойного проживания (так, напр., в самой тип[ографии]). Что касается этого последнего учреждения, вы совершенно напрасно сомневаетесь: прокл[амация] Союза вышла прелестно, гораздо лучше, чем ваш первый опыт; затем на-днях вып[ускаем] пр[окламацию] Исп[олнительного] К[омитета] с согласия А[лексея] К[онстантиновича], Ив[ана] Алекс[андровича], Алексея Павл[овича], теперь у нас — это произведение уже верх совершенства, все думают, что это дело лег[альной] тип[ографии]. Прибыл ваш ста-нок из Москвы, достали еще здесь и на-днях надеемся еще достать. — Рама и вал таковы, что пе[чатать] зараз четыре стр[аницы], четыре наборни вне тип[ографии] и вполне достаточное число наб[ор]щиков. Печ[атать] рассчитываем три тысячи экз. Теперь о лит[ературной] стороне дела. Перед[овая] должна быть помещена непременно та, какая у нас — прекрасная, по мнению всех, кто ее читал, и действительно отвечающая тем надеждам, которые на нее возлагаются, а не та шумиха общих фраз, которую, по словам Ми[хаила] Ад[амовича], привез к вам

из-за границы Павел Ив[анович]. Затем у нас имеется статья о конституционалистах, противоположная прежней по содержанию, но такая, под которой, конечно, всякий народоволец в настоящее время подпишется без брани, но и без расшаркиваний. Дальше статья о Неустроеве (с его предсмертным письмом), которая уже набир[ается], арестная хроника и денежный отчет. Внутреннее обозрение придется отложить до следующего раза, во-первых, потому, что номер и без того выйдет очень велик, а во-вторых, теперь и не успеть создать чего-нибудь солидного, тем более, что есть прекрасное внутреннее обозрение в «Вестнике». Если бы вы прислали поскорее вашу варшавскую корреспонденцию, которую мы дополнили бы имеющимся у нас польским материалом, да пообделали бы — и все будет готово. Что касается статейки о С[ергее] П[етровиче], то если она так умна и тактична, как отзывается об ней Мих[аил] Ад[амович], то, конечно, можно бы ее напечатать; но необходимо ли это? Обдумаем этот вопрос еще раз строго и хладнокровно. Мнение всех питерцев, за исключением А[лексея] К[онстантиновича], попрежнему отрицательное. Об этом деле давно уже замолчали и те, кто говорил, а мы его раздуем. Не домашнее ли это наше дело, до которого нет дела обществу? Во всяком случае, заявление это много вреда принесет, а пользу — какую? Во всяком случае, надо скорее собрать голоса по этому вопросу, и, вероятно, гг. заграничные не станут настаивать на большей силе своего голоса. Да и имеют ли они на это право, кто бы они там ни были?

Пишу после перерыва, и потому не помню на чем остановился, — быть может, на середине предложения. С А[лексеем] К[онстантиновичем] мы порвали всякие сношения, связью служит только А[лексей] Пав[лович], который уже начинает бо-аться его, как и все.

Из-за границы пока, кажется, никто не приезжал, и потому вышлите немедленно статью о С[ергее] П[етровиче] и все прочее зак[азным] пис[ьмом], на случай оставив у себя дубликаты, по следующему адресу: Литейн[ый], дом одиннадц[ать], кв. двенадц[ать], Аполлинарии Андреевне Хворостанской. Пишите скорее.

Александр Иван[ович].

Конец

1 марта [1884 г.]

Мих[аилу] Петровичу посылаю еще письмо вслед за вчерашним. — У нас нет адреса, по которому можно было бы послать вам имеющиеся у нас печатные произведения — от «Союза» и от И[сполнительного] К[омитета] — последнее гласит следующее¹:

«От Исполнительного Комитета партии Народной Воли. Правительство назначает денежные награды в несколько тысяч рублей тому, кто предаст лиц, казнивших начальника тайной полиции, жандармского подполковника Судейкина. Исполнительный Комитет объявляет, что смерть грозит каждому предателю».

Если можно, отпеч[атайте] их у себя, но они имеют значение, конечно, главным образом, для простонародных масс, для мира дворников, швейцаров, лакеев, рабочих и т. п., а не для интеллигенции. В виду этого у нас было широко организовано распространение этих прокламаций в Питере: в определенный день и час назначенные для того кружки и лица расклеили их и разбросали в конвертах 1000 экз., каждый в избранном им участке. Это событие произвело большую сенсацию; два дня после того ходили по городу патрули, и был увеличен штат «наблюдателей». Послали по несколько сот в Москву, в Харьков и даже Казань. Как видите, работаем. Ах, если бы вы, Мих[аил] П[етрович] и Пр[асковья] Фед[оровна] приехали к нам, захватив с собой хоть немного *пробец*². Главным образом про[писных] букв. Тогда мы на удивление всему свету сгрохали бы *ном[ер]*. Но так как, приедете вы или нет, стало очевидно, что честь отпеч[атания] *ном[ера]* выпадает на нашу долю, и мы уже приступили к делу, то привозите или присылайте по вчерашнему адресу, но лишь бы елико возможно скорее, *иностр[анное] обозр[ение], ста[тью] о С[ергее] П[етровиче], ден[ежный отчет] ар[естную] хр[онику]*, особенно киевскую и пр. Пожалуйста, поскорее. Что касается *ст[атьи] о конституционали[стах]*, то се-

¹ В копии текста прокламации нет, а есть лишь пометка копииста: «Следует текст прокламации по поводу объявления о розыске Дегаева». Этот пропуск восстановлен нами по подлиннику прокламации, которая намечена: «СПБ, 26 февраля 1884 г. Тип. партии Народной Воли».

² Так в копии; речь идет, очевидно, о шрифте.

годня начались по этому поводу разногласия, и, вероятно, этот вопрос, как вопрос своего рода программный и коллективный еще не решенный, придется отложить, Ерго, и статью. Вас[илий] Ал[ексеевич]¹ пишет, что его задержало безденежье, но теперь ему деньги посланы, и он должен быть на-днях. Жалуются на неписьменность киевлян. Не упрямитесь, Мих[аил] П[етрович], приезжайте.

Ваш Алек[сандр] Иван[ович].

Конец

Мих[аил] Ад[амович] говорит, что посылки на Фундуклеевскую улицу нужны большие, непременно большие — не меньше пуда. Вышлите другой адрес, более легковесный.

III

ЗАЯВЛЕНИЯ НА СУДЕ П. Ф. ЯКУБОВИЧА

1. Об аграрном терроре

Не примешивайте к моему имени грязи в виде оправдания систематического фабричного и аграрного террора, о котором я никогда не думал. Молодая партия не желала практиковать этот террор, как систему, как какую-то кровавую личную бойню... Что касается меня лично, то я принадлежал к «Молодой партии» лишь в первых двух фазисах ее развития, когда вопрос о фабричном и аграрном терроре еще не обострился. Я участвовал в февральских и мартовских раздорах (1884 г.) революционной молодежи на почве чисто моральной по вопросу о Дегаеве. Я хотел в это время более деятельной пропаганды социалистических идей в народе, нежели какую практиковал до тех пор Исполнительный комитет, и лишь допускал принцип введения в программу фабричного и только одного фабричного террора, в отдельных исключительных случаях вопиющего насилия и эксплуатации со стороны фабрикантов.

2. О К. А. Степурине

По поводу прочитанных на суде его писем к М. П. Шебалину П. Ф. Якубович сделал следующее заявление:

¹ В копии: Ан.

«Вы слышали здесь, гг. судьи, как один из подсудимых, Елько, бросал грязью в революционную партию. Я боюсь, что слова мои в одном из писем к Шебалину о покойном Степурине, о котором я говорю, что он «человек мерзкий и лживый», дадут вам повод думать, что в инсинуациях Елько есть доля правды. Поэтому позвольте мне высказаться, позвольте объяснить вам истинный смысл и первоначальный источник раздоров и недоразумений, вызвавших эти слова. К созданию так называемой «Молодой партии» отчасти вели те мелкие недоразумения революционной молодежи относительно Исполнительного комитета, которые обуславливались общей запутанностью тогдашних революционных дел и неясностью их положения. Но я откровенно готов сознаться, что особенное обострение в эти несогласия внес именно я, мой личный темперамент. Например, хотя бы взять мои письма к ныне умершему Шебалину¹. Он был мой университетский товарищ и принадлежал, подобно мне, к числу той революционной молодежи, которая ничего не знала об истинной роли Исполнительного комитета в разрешении дегаевской истории. По поводу этих вопросов я завязал с ним интимно-революционную переписку; в ней я, со свойственной мне неумеренностью и со всей простотой приятельских отношений, позволил себе такие выражения о не нравившейся мне революционной группе, совершенно мне неизвестной в ее частной жизни, за которые в настоящее время я должен краснеть. Я очень увлекался при описании сил «Молодой партии», я всюду вносил субъективный элемент, я обобщал и обострял все те мелкие столкновения, которые происходили у меня и у моих товарищей со Степуриним, и я заявляю теперь, что все, что я писал о покойном Степурине, все приданные ему псоворящие эпитеты его — все это абсолютная ложь, казавшаяся мне истиной лишь в те минуты партийного пристрастия. Я не знал близко Степурина, как человека. Но я узнал о нем еще в бытность мою на воле, уже после ареста Степурина, от умершего недавно поэта Надсона, который служил с ним в одном полку и сообщил мне, что это был человек высокой честности, человек замечательный по своим редким нравственным качествам. Целых три года лежал у меня на сердце этот тяжелый

¹ Речь идет о М. П. Шебалине, живущем и ныне. Очевидно, это заявление было сделано Якубовичем на основании неверных сведений. — Ред.

камень клеветы на человека, и мне больно, что я не могу уже лично просить прощения у Степурина».

(Оба заявления взяты из брошюры «Процесс 21-го», опубликованной в Женеве в 1888 г., по тексту, записанному на суде В. Ф. Якубовичем).

IV

ПИСЬМА М. П. ШЕБАЛИНА К РОДНЫМ

1. К матери

26 мая 1883 г.¹

Милая моя мама!

Виноват я перед вами, что так долго не отвечал на ваше письмо, но вы поймете причину этого, когда узнаете обстоятельство, о котором я стеснялся прежде вам писать: я женился. Не удивляйтесь, милая мама, и простите вашему сыну то, что он не сообщил вам этого прежде. Жена моя, в девицах Прасковья Богораз, кончает курс на Бестужевских высших курсах, а затем намерена заниматься педагогической деятельностью. Мы оба, надеемся, что не пропадем и с честью выйдем из борьбы с жизнью. Мите и Коле я давно не писал, пока я соберусь писать (времени у меня очень мало), сообщите им также об этом удивительном казусе.

Прощайте, родная моя мама, крепко целую вас.

М. Шебалин.

Р. С. Лелю, Ивана, Евдокима и деток целую. Извините, что чернила так плохи, но теперь идет дождь, и мне не хочется идти в лавочку за новыми чернилами.

2. К матери и брату

Киев, 18 февраля 1884 г.²

Дорогая моя мама и милый брат Митя!

Извините меня великодушно, что до сих пор я не писал вам. Поверьте, что только очень уважительные причины мешали мне

¹ Печатается по подлиннику.

² Печатается по подлиннику.

дать вам весточку и узнать о вас, мой дорогой: живы ли вы, здоровы ли, как идут дела по имению? Теперь, как вы видите, я с супружницей нахожусь в Киеве. Мы живы и здоровы, устроились пока недурно; о причинах, побудивших нас переселиться в Киев, я буду писать потом подробнее (не знаю, дойдет ли это письмо, адрес я не твердо помню), а лучше всего эти причины выяснятся при нашем личном свидании, которое, я надеюсь, состоится, если бог даст, этим летом.

Отвечайте же, мои милые, тотчас по получении этого письма, чтобы я знал, что письмо дошло и у вас все благополучно.

Крепко целую и обнимаю маму и тебя, Митя, и прошу передать родственный привет твоей жене.

Жена вам кланяется.

М. Шебалин.

Р. S. Адрес: Киев. Большая Владимирская ул., д. № 43 (Крипичкой), Михаилу П. Шебалину. Если можно, вышли, Митя, деньги.

V

РАПОРТ ПОЛК. НОВИЦКОГО ОБ АРЕСТАХ.

Секретно.

Киевское
губернское
жанд. управление
6 марта 1884 г.
№ 689
г. Киев

Господину киевскому, подольскому, вольнскому, временному черниговскому и полтавскому генерал-губернатору.

Р а п о р т

4-го числа сего марта месяца при задержании жандармскими унтер-офицерами вверенного мне управления на улице в г. Киеве мужчина с документами на имя сына землевладельца Лохвицкого уезда Полтавской губернии Александра Борисова Озерова, назвавшийся мещанином г. Москвы слободы Бронной Василий Семенов Панкратов, оказал вооруженное сопротивление, произведя из револьвера четыре выстрела, от которых унтер-офицер управления Федор Хмара получил контузию правого бедра над коленом пулею, которая извлечена.

3-го сего марта при задержании жандармскими унтер-офицерами вверенного мне управления, также на улице в г. Киеве,

мужчина с документом на имя дворянина Аполлинария Борисовича также оказал вооруженное сопротивление, сделав 6 выстрелов из револьвера и обнажив кинжал, но был обезоружен, причем Борисович никого не ранил и не убил.

С 3-го сего марта по распоряжению моему заарестовано в г. Киеве 10 человек разного звания, в том числе Борисович и Панкратов, у которых отобраны вещественные доказательства, изобличающие их в несомненной принадлежности к преступному сообществу и к террористической фракции, причем обысками заарестована обширная типография со всеми принадлежностями, гектограф, отобраны несколько заряженных револьверов, прокламаций, статьи к печатанию в разных революционных органах, подложные виды, печати, руководства взрывов.

Эти десять заарестованных человек следующие: 1) С свидетельством Лохвицкого полицейского управления на имя сына землевладельца Александр Борисов Озеров, который на обнатуренной квартире проживал в Киеве еще по свидетельству Луцкого уездного полицейского управления на имя дворянина Николая Афанасьевича Чарновского, затем показал, что он мещанин г. Москвы слободы Бронной Василий Семенов Панкратов, разыскивался с 1882 года по Петербургскому делу, в обзоре дознаний с 1 января по 1 мая 1882 года на Панкратова указывается как на участвовавшего в приготовлении к убийству Беланова и на то, что он состоял в революционном кадре в Москве с Стефановичем, Юрием Богдановичем (Кобызовым), Златопольским и Чикойдзе.

2) С документом Рогачевского уездного полицейского управления на имя дворянина Аполлинарий Алексеев Борисович, 29 лет, хотя и называется этим именем, но личность его еще не установлена.

3) С аттестатом на имя губернского секретаря Александр Эдуардов Тейш; объяснил, что документ подложный, а настоящее его звание дворянин Василий Андреев Караулов, 29 лет, проживавший нелегально, прибыл из-за границы в Киев, женат на родной сестре Кравчинского, еврейке Личкус (Кравчинский — убийца генерал-адъютанта Мезенцова), по объяснению Караулова близок с убийцею подполковника Судейкина Дегаевым.

4) Действительный студент Петербургского университета, казанский дворянин Михаил Петров Шебалин, 26 лет.

5) Жена его Прасковья Федоровна Шебакина, рожденная Богораз, 22 лет.

6) Дочь священника г. Костромы Софья Павловна Кочетова, 22 лет.

7) Бывший студент Медико-хирургической академии, ныне Киевского университета, Макарий Николаев Васильев, 27 лет.

8) Студент Киевской духовной академии 3 курса Петр Григорьев Дашкевич.

3) Студент Киевского университета Николай Никандров Завадовский.

и 10) Студент Киевского университета Евгений Дмитриев Степанов.

Начальник управления полковник Новицкий.

IV

РЕЗОЛЮЦИЯ А. Р. ДРЕНТЕЛЬНА И ПИСЬМО ЕГО К ГРАФУ Д. А. ТОЛСТОМУ

На рапорте полк. Новицкого рукою Дрентельна сделана надпись: «Написать письмо министру о самоотверженной деятельности жандармов и просить награды, в особенности Хмаре, Волкову (одно слово не разобрано. — Л. Б.), Качановскому. При этом заявить о деятельности гг. Новицкого и Евецкого, приносящей большую пользу».

В письме от 11 марта 1884 г. за № 1519 к гр. Д. А. Толстому Дрентельн сообщает о произведенных в начале марта в Киеве арестах, о взятой типографии, о вооруженном сопротивлении Борисовича и Панкратова, указывает, что «арестованные лица бесспорно должны быть отнесены к одним из самых опасных нарушителей государственного порядка и спокойствия, а это в свою очередь чрезвычайно усиливает важность их обнаружения и задержания. Всем этим правительство всецело обязано той энергии, предусмотрительности, опытности и осторожности, которые проявили в этом деле руководившие им начальник киевского управления полковник Новицкий и заведующий агентурой штабс-капитан Евецкий, а затем беззаветной преданности делу нижних чинов». Дрентельн свидетельствует, что жандармские унтер-офицеры при задержании Борисовича и Панкратова подвергали свою жизнь опасности, что особую неустрашимость обнаружили Волков

и Качановский. «Волков, будучи довольно малого роста, несмотря на то, что Панкратов держал в руке готовый к выстрелу револьвер, нисколько не смутился этим, бросился на злодея, предварительно накинув на него свою шинель и благодаря сему только и явилась возможность арестовать затем виновного». Говоря, что самоотверженная деятельность нижних чинов жандармского управления заслуживает всякого поощрения, Дрентельн просит обратить благосклонное внимание на Хмару, Волкова и Качановского.

«Началось оно (дознание. — Л. Б.) не по случайным обстоятельствам, требованиям или указаниям других жандармских управлений, а явилось результатом исключительно (одно слово не разобрано. — Л. Б.) неусыпного выяснения как виновных лиц, так и их деятельности путем агентурных наблюдений».

«Неутомимость полковника Новицкого, при полном сознании важности и ответственности вверенного ему по службе поста, представляет собою отчасти феноменальное явление. Как ни тяжело иногда складываются обстоятельства, он никогда не покидал присущей ему энергии и, обладая теми именно качествами, которые необходимы начальнику жандармского управления, честно и неуклонно всегда шел и продолжает идти по пути служения делу чести и присяги».

«Достаточно лишь припомнить, что убитый подполковник Судейкин, равно ныне состоящий инспектором секретной полиции майор Скондраков воспитались тоже под руководством полковника Новицкого. И тот и другой, покидая Киев, оторвали отсюда лучших из нижних чинов, как надежнейших в деле наблюдения и розыска. И, несмотря на это, полковник Новицкий сумел оставить на той же высоте вверенное ему жандармское управление, достиг того, что и теперешний состав унтер-офицеров может считаться образцовым, а вместе с тем столь же умелое и сознательное направление положены в основу деятельности преемника Судейкина и Скондракова штабс-капитана Евецкого».

В заключение Дрентельн пишет, что он «нравственно обязан засвидетельствовать о столь полезной деятельности полк. Новицкого и штабс-капитана Евецкого в полной уверенности, что она не останется без доброго и справедливого поощрения со стороны его сиятельства»¹.

¹ С черновика. Дословные отрывки заключены в кавычки. Черновик подписан: «Дрентельн».

ПИСЬМО В. К. ПЛЕВЕ К ПОЛК. НОВИЦКОМУ

Копия.

Милостивый государь Василий Дементьевич!

Вследствие произведенных вами 4 сего марта в Киеве арестов, долгом считаю уведомить вас, милостивый государь, что супруги Шебалины являются лицами, заслуживающими внимания, так как они неоднократно являлись хозяевами типографий, где печатались преступные листки. Что же касается Василия Караулова, то из имеющихся агентурных сведений видно, что в недавнее время он был в Париже, где была устроена сходка (под председательством Тихомирова и где присутствовал Караулов), на которой Дегаев передал присутствующим списки лиц, выданных им, а также тех, которые являются в настоящее время для сообщества наиболее опасными. За услугу, оказанную убийством Судейкина, Дегаеву прощено его предательство сообществу под тем условием, чтобы он уехал в Америку (на что ему были выданы необходимые средства) и не подавал более признаков жизни. После этой сходки Василий Караулов, снабженный надлежащими инструкциями, отправился из Парижа в Киев на съезд членов народовольческого сообщества. На съезде этом, между прочим, решено совершить в ближайшем будущем пять или шесть политических убийств для поддержания кредита сообщества, причем на первом плане поставлено было покушение на жизнь министра внутренних дел.

Сообщая об изложенном для соображений ваших при допросах привлеченных лиц, долгом считаю присовокупить, что сведения о принадлежности Караулова, а также его брата Николая (землевладельца Псковской губ., — об аресте его распоряжение сделано), имелись уже издавна и были затем подкреплены показаниями Дегаева, причислявшего Василия Караулова к числу террористов.

В виду изложенного к показанию Караулова о том, что всякие покушения отвергнуты ныне партией, следует относиться крайне осторожно, так как этим он, может быть, полагает замаскировать настоящее положение дела.

Подписал Плевэ.¹¹ Д. № 306.ПРОШЕНИЕ М. Н. ВАСИЛЬЕВА¹

Его высокопревосходительству господину киевскому, подольскому, волынскому, временному черниговскому и полтавскому генерал-губернатору.

Содержащегося в Киевском тюремном замке по обвинению в государственном преступлении студента Макария Васильева.

Прошение

30-го минувшего апреля, согласно постановлению киевского губернатора, я был подвергнут шестидневному заключению в тюремном карцере «на хлеб и на воду». Будучи лишен возможности опротестовать означенное постановление и подчиняясь просто физической силе, я перенес на себе сполна всю тяжесть упомянутого наказания. Тем не менее, я не только признаю за собой право, но считаю своей обязанностью войти к вашему высокопревосходительству с некоторыми объяснениями как по существу постигшего меня наказания, так и по поводу тех обстоятельств, которыми оно было вызвано.

Прежде всего, считаю себя в праве заявить, что наказание, которому я был подвергнут, следует считать противозаконным, так как по существу своему оно есть наказание дисциплинарное, оно могло бы быть применено за нарушение тюремного устава или за оскорбление и неповиновение непосредственному начальству, но ни в коем случае оно не должно было следовать за проступком, заключающемся в недозволенном отношении к правительству и закону. Вообще, за проступком, ответственность за который мне предстоит еще нести в будущем (по суду или по административному распоряжению).

Кроме того, принимая во внимание, с одной стороны, физическую слабость моего организма, и с другой — все общеизвестные свойства тюремного карцера, — подобное наказание можно с полной основательностью назвать бесчеловечным и жестоким.

Наконец, это наказание нужно признать совершенно бесцель-

¹ См. примеч. «М. Н. Васильев и его прошение».

ным, так как в результате оно оставило у меня лишь ревматическую боль в ногах, но ничуть не изменило моих отношений ни к действующему закону, ни к современному правительству.

Это заявление я делаю не из желания добиться для себя какого-либо возмездия за несправедливо понесенную мною кару, а из сознания своей обязанности содействовать предупреждению подобной несправедливости в будущем.

Затем я перейду к предмету наиболее для меня существенно: к тем обстоятельствам, которыми было вызвано вышесказанное постановление киевского губернатора. В постановлении этом налагаемое на (меня.—Ред.) наказание было мотивировано словами: «за лживые показания, данные от 1 апреля 1884 г., в коих видно непозволительное глумление над правительством и законами». Я глубоко убежден, что каждое из этих слов есть результат простого недоразумения, которое, как нельзя легче, может быть выяснено и устранено и которое, вместе с тем, может иметь весьма невыгодное влияние на исход моего дела. Я вынужден покорнейше просить ваше высокопревосходительство выслушать здесь же мои посильные разъяснения.

Я привлекаюсь к ответственности по обвинению в государственном преступлении; следствие по моему делу еще не закончено, но свойство моих «преступлений» (известных мне в подробности и без судебного следствия) и установившийся прецедент в современной практике политических процессов убеждают меня, что дело мое будет решено не судебным, а административным порядком. Само собою разумеется, что от (того)¹ или другого из двух названных способов решения дела должен зависеть весьма различный характер и содержание показаний подсудимого: тогда как, в первом случае, подсудимый может ограничиться лишь данными, необходимыми для успешного хода судебного следствия, во втором, собственные показания подсудимого являются для него единственным средством защиты: его не ожидает судоговорение, и то, что он мог бы сказать в защитительной речи, то в данном случае он может лишь изложить в своих показаниях. Ясно, что показания последнего рода не могут ограничиться одними ответами на вопросы, поставленные жандармским офицером, производящим дознание, и в интересах истины и справедливости дача та-

¹ Этого слова в подлиннике нет.

ких показаний должна быть совершенно свободна от всякого постороннего давления.

Так смотрел я на общий характер предстоящих мне показаний и на те условия, при которых они должны производиться. Что же касается содержания этих показаний, то я представлял себе себе состоящим из развития и доказательства двух положений. Первое из этих положений сокращенно представится в следующем виде: я ни в каком случае не могу быть признан членом какой-либо политической противоправительственной организации (это доказывается моими биографическими данными за последнее время); все мои «преступные деяния» вытекают не из принадлежности к какому-либо организованному сообществу, а из самой общераспространенной, самой обыкновенной и всем свойственной порядочности, признающей свободу суждений для каждого и отвергающей сыск и донос, как недостойные средства в борьбе с какой бы то ни было политической партией. Положение это было мною высказано в подробности и посильно доказано в моих показаниях от 22 марта этого года.

Второе положение, которое я желал бы развить в своих показаниях, можно формулировать следующим образом: я не отрицаю своей виновности перед лицом современного закона, но моя виновность совершенно тождественна с такой же виновностью, если не большинства, то значительной части всего русского интеллигентного общества, численность которой определяется целыми сотнями тысяч и о наказуемости которой не может быть и речи..

Чтобы показать, что та «общественная преступность», о которой я говорю, не представляет вымысла моей собственной фантазии, а есть нечто реальное, действительность чего не может подлежать ни малейшему сомнению, я позволю себе привести здесь же из массы имеющихся у меня под рукою один пример, пример из самого недавнего прошлого нашей общественной жизни.

Постановление совета министров относительно прекращения издания журнала «Отеч. зап.», между прочим, говорит: «Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отеч. зап.» не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала». Нельзя не согласиться с таким постановлением министерского постановления. Но присутствие у этого журнала 16 000 подписчиков, т. е. 200 000 читателей, точно также не может показаться «случайным»; нужно полагать,

это эта многотысячная масса сделалась читателями «Отеч. записок» «не «случайно», а вполне сознательно, нужно думать, что она разделяла «направление» и взгляды редакции, а следовательно, о «преступности» этой массы можно рассуждать с таким же точно основанием, как и о преступности самой редакции. Численность этой массы (поддающаяся самому точному определению, с указанием фамилий и адресов «виновных») показывает, что в состав ее должна войти большая часть русского образованного общества... Бывают разные точки зрения, и с известной точки зрения вся эта масса может оказаться «преступной», но, смею думать, однако, что сам Калигула не решился бы признать ее наказуемой...

Уже из этого примера можно было бы видеть полную возможность доказательства и обоснования вышеприведенного мною положения. Я надеюсь доказать, что мои взгляды на современный государственный строй, мои отношения к современному правительству и закону, моя прикосновенность к деятельности партии «Народ. Воля», мои сами собой возникшие связи с ее членами, одним словом, вся моя «преступность» есть не что иное, как простое следствие того обстоятельства, что сам я представляю лишь ничтожную частицу вышеназванной многотысячной массы; я преступен настолько же, насколько преступна и она, в своей совокупности, но настолько же и наказуем.

С целью окончательного, полного обоснования этого положения, мне необходимо выяснить с возможной точностью и обстоятельностью характер моей собственной «преступности», сопоставить ее с преступностью общественной и показать полное между ними тождество. Но, решившись построить свою защиту на таком именно основании, я должен был иметь в виду два обстоятельства, которые могли бы сделать совершенно бесплодной мою попытку подобной самозащиты. Это, с одной стороны — излишнее благоговение судей перед буквой закона, и, с другой — не надлежащее отношение их к показаниям подсудимого.

И вот, прежде чем приступить к наиболее существенной части своих показаний, я счел нужным сделать некоторое отступление и заняться предварительно установлением двух общих принципиальных положений, хотя и не имеющих непосредственного отношения к моему делу, но тем не менее весьма важных для моей защиты. Положения эти следующие: 1) нельзя осуждать кого-либо лишь на основании одной буквы закона, особенно в

том случае, если нормы, установленные действующим кодексом, далеко отстали от укрепившихся в обществе понятий о праве и справедливости; в противном случае излишнее благоговение перед буквой закона может подорвать в обществе и в народе чувство законности... и 2) нельзя в показаниях подсудимого исключать исключительно лишь одних данных для изобличения и обвинения, оставляя без внимания все то, что сообщается в показаниях в исключительную пользу подсудимого.

Развитию и обоснованию этих двух положений и были посвящены мои показания от 1-го апреля. Изложенные в них мысли я старался пояснить некоторыми, взятыми не из действительности, а нарочито придуманными, вымышленными примерами. Всякий, кто без предупреждения и с надлежащим вниманием и беспристрастием прочтет эти мои показания, легко убедится, что к ним ни в коем случае не может быть приложен эпитет «лживых» и что цель их вовсе не заключается в «глумлении над законом и правительством». Я согласен, что форма этих показаний не была казенной, официальной формой, но это обстоятельство не может считаться таким преступлением, которое должно влечь за собою шестидневное заключение в темном, холодном и сыром погребе... Наконец, я готов даже допустить, что это было наказанием за резкость тона и некоторых выражений в моих показаниях (потеря свободы и лишение счастья всей жизни могут, если не оправдать, то вполне объяснить эту резкость); но тогда все-таки нет никаких оснований лишать меня возможности продолжать свои показания, ибо, как я уже сказал, показания эти остаются у меня единственным средством защиты и оправдания. Между тем, 12-го минувшего апреля, по распоряжению начальника жандармского управления, из моей камеры были взяты (разрешенные мне раньше) письменные принадлежности, и это сделало совершенно невозможной дальнейшую дачу моих показаний; так как при том объеме и содержании, которые я намерен дать своим показаниям, писание их немыслимо в стенах жандармского управления, в присутствии и под давлением производящего дознание жандармского офицера. Я согласен, что все останавливающая фраза: «это не относится к делу» — может иногда иметь свой смысл и основание; но не подлежит ни малейшему сомнению, что, по степени своего образования, развития и ясного понимания действительных интересов и пользы правительства, люди могут придерживаться самых раз-

личных взглядов в вопросе о том, что «относится» и что «не относится к делу»...

Кроме того, я смею думать, что донос, предательство и оклеветание не могут и не должны считаться единственными и исключительными средствами оправдания...

Итак, я осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокопревосходительство, во-первых, о предупреждении на будущее время такой несправедливой и незаконной кары, какая постигла меня в силу постановления киевского губернатора от 30-го минувшего апреля, и, во-вторых, о разрешении мне держать письменные принадлежности в камере моего заключения и о предоставлении тем необходимой, возможно полной свободы при даче моих показаний.

Студент Макарий Васильев¹.

Г. Киев, 17-го мая 1884 г.

IX

РЕЗОЛЮЦИЯ А. Р. ДРЕНТЕЛЬНА²

Секретно.

№ 2765
30 мая 1884 г.

Г. начальнику киевского губернского
жандармского управления.

Прокурор киевской судебной палаты представил мне прошение содержащегося в Киевском тюремном замке политического арестанта Макария Васильева, в котором он, жалуясь на незаконное заключение его в тюремном карцере на 6 дней на хлеб и на воду, ходатайствует о разрешении ему иметь в камере заключения письменные принадлежности.

Означенное прошение Васильева оставлено мною без последствий, о чем и объявлено ему через полицию.

Усматривая из прошения, что Васильев в объяснениях своих приводит, между прочим, газетные известия о причинах, послуживших поводом к прекращению издания журнала «Отечественные записки», и заключая из того, что он имел возможность чи-

¹ Д. № 60.

² Д. № 60. С черновика. Л. Б.

тать во время содержания своего под стражей газеты и журналы, я покорнейше прошу ваше в-бдие сделать распоряжение о недопущении политических арестантов к чтению периодических изданий.

ПОЛК. НОВИЦКИЙ О ПОРЯДКАХ В ТЮРЬМЕ

Секретно.

Начальник
киевского губер.
жанд. управления
1 июня 1884 г.
№ 2002
Киев

Господину киевскому, подольскому, во-
лынскому, временному черниговскому и
полтавскому генерал-губернатору.

На предписание от 30 мая за № 2764 имею честь донести вашему высокопревосходительству, что ни газеты, ни журналы, ни вообще периодические издания никогда не были мною разрешаемы для чтения политическим арестантам, содержащимся под стражею, но сведения из газет и периодических изданий политические арестанты почерпают из двух источников: при свиданиях с родственниками и от уголовных арестантов, с которыми переговариваются через окна, выходящие на внутренний тюремный двор; пресечь разговоры их с уголовными арестантами нет никакой возможности, пока политические арестанты будут содержаться в общей тюрьме с уголовными и до тех пор, пока окна камер политических арестантов, выходящие на общеуголовный двор, не будут заложены, о чем я и ходатайствовал, но архитектором, по расположению тюрьмы вообще, не признано было возможным это сделать; при свиданиях с родственниками в тюрьме всегда присутствует помощник смотрителя тюрьмы, который не успевает прекратить начатый неуместный разговор или сообщение, и арестант, придя в камеру, начинает сообщать полученные им новости из внешнего мира своим сообщникам, выкрикивая через окно или подходя к двери. Известие о прекращении журнала «Отечественных записок» принесла в тюрьму жена Кальмансона, которая при свидании с мужем сказала ему об этом, а муж ее передал другим арестантам вышеизложенным способом, и из этого источника узнал о прекращении означенного

журнала и Васильев, которому никогда для чтения периодические издания не давались. Когда смотритель тюрьмы мне передал об этом, то я г-жу Кальмансон вызвал и объявил ей, что если она позволит себе в другой раз вести разговоры с мужем о распоряжениях правительства, касающихся политических дел, то ей мною будет прекращено свидание с мужем; Кальмансон извинялась и сказала, что она не знала, что не имеет права передавать мужу сведения, опубликованные в газетах правительством.

Полковник Новицкий¹.

XI

ПИСЬМО А. Р. ДРЕНТЕЛЬНО К П. В. ОРЖЕВСКОМУ

Совершенно секретно.

Его пр-ву П. В. Оржевскому

М. Г.

Петр Васильевич.

Возбужденное в порядке закона 19 мая 1871 г. при киевском губернском жандармском управлении дознание по обвинению называющего себя Аполлинарием Борисовичем, б. студентов Михаила Шебалина, Петра Дашкевича и др. лиц в государственных преступлениях, ныне производством окончено и передано начальником киевского жандармского управления для дальнейшего направления прокурору киевской судебной палаты.

В виду особой важности настоящего дела и выдающейся преступной деятельности упомянутых лиц, из которых некоторые обвиняются кроме того в вооруженном сопротивлении при задержании их членами жандармского управления и полиции, я, на основании примечания к ст. 17 высочайше утвержденных правил положения об усиленной охране, обратился с требованием к прокурору киевской судебной палаты о представлении ко мне

¹ Д. № 60.

на рассмотрение упомянутого выше дознания, с целью изъятия настоящего дела из общеустановленного порядка и направления его к слушанию в военно-окружном суде, каковое направление я с своей стороны считал бы более правильным и отвечающим обстоятельствам, раскрытым дознанием.

Но предварительно приведения настоящего предложения в исполнение, я считаю долгом сообщить об изложенном вашему пр-ству и покорнейше просить почтить меня, по возможности в непродолжительном времени, уведомлением, изволите ли вы, м. г., признавать согласным с высшими государственными интересами предание привлеченных к настоящему делу лиц военному суду, или же дело о них было бы удобнее направить в общем порядке. Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.¹

XII

ОТВЕТ П. В. ОРЖЕВСКОГО

Товарищ
министра внутр.
дел
завед. полицией

Его в-ству А. Р. Дрентельну. № 1291.
19 июня 1884 г.

Конфиденциально.

Милостивый государь
Александр Романович

Впоследствии письма от 14 сего июня за № 3297, имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что я вполне присоединяюсь к предложению вашему об изъятии дела по обвинению Борисовича, Шебалина, Дашкевича и др. в государственном преступлении из общего порядка подсудности и направлении оного в военный суд для суждения виновных по законам военного времени.

Примите, ваше выс-ство, уверение в совершенном почтении и преданности

Вашего покорнейшего слуги

Петр Оржевский.

¹ С черновика.

XIII

А. Р. ДРЕНТЕЛЬН — КИЕВСКОМУ ПРОКУРОРУ

Секретно.

Киевский, подоль-
ский, времен. чер-
ниговский и пол-
тавский генерал-
губернатор.
14 июня 1884 г.
№ 6296

Господину прокурору киевской судебной
палаты.

Вашему превосходительству представлено начальником киевского губ. жандармского управления оконченное производством дознание по обвинению: дворянина Аполлинария Борисовича, б. студентов Михаила Шебакина, Петра Дашкевича и др. лиц в государственных преступлениях. В виду особой важности настоящего дела и выдающейся преступной деятельности упомянутых лиц, из которых некоторые обвиняются в вооруженном сопротивлении при заарестовании их чинами жандармского управления и полиции, я, на основании примечания к ст. 17 высочайше утвержденных правил положения об усиленной охране, имею честь покорнейше просить вас, м. г., предварительно направления упомянутого дознания в общеустановленном порядке, не отказать препроводить таковое, вместе с относящимся к нему следственным производством, ко мне на рассмотрение.

Генерал-адъютант Дрентельн.

Управляющий канцелярией Меркулов¹.

XIV

РАПОРТ ПОЛК. НОВИЦКОГО ОБ ОКОНЧАНИИ ДОЗНАНИЯ

Начальник
киев. губернского
жанд. управл.
20 июля 1884 г.
№ 2553. Киев

Господину киевскому, подольскому, во-
лыньскому, временному черниговскому и
полтавскому ген.-губернатору.

Имею честь донести вашему высокопревосходительству, что оконченное производством при вверенном мне управлении об-

¹ Д. Пр. К. С. П. № 306.

ширное дознание о 18 лицах по обвинению — именуемого дворянином Аполлинарием Борисовичем, мещанина Василия Панкратова, действительного студента Михаила Шебакина, его жены Прасковьи Шебакиной, дворянина Василия Караулова, дворянки Варвары Шулепниковой, сына чиновника Михаила Билевича, студентов университета св. Владимира — Макария Васильева, Николая Завадовского, Евгения Степанова, Владимира Мицкевича, Якова Затворницкого, Дмитрия Гуковича, студента киевской духовной академии Петра Дашкевича, сыновей священников — Николая Дирдовского, Георгия Гуковича, Николая Данилевского и Николая Стародворского, — в преступлениях, предусмотренных 249, 950, 977 ст. уложения о наказ., 20-го числа сего июля месяца препровождено к г. прокурору киевской судебной палаты; из обвиняемых Билевич, Мицкевич, Дмитрий Гукович и Данилевский состоят под надзором полиции, а все остальные обвиняемые содержатся под стражею в г. Киеве, за исключением Стародворского, который содержится под арестом в С.-Петербурге.

Вышеозначенное дознание по существу, по вещественным доказательствам, отобранным при обысках, а также по падающим тяжелым обвинениям на привлеченных обвиняемых лиц, которые представляют из себя в большинстве по возрасту весьма солидных и серьезных деятелей социально-революционного сообщества, фракции безусловно террористической, что устанавливается вполне добытыми дознанием данными, изобличающими некоторых в убийствах, в покушении на убийства, с политическими целями и видами произведенных, — подлежат, по моему мнению, направлению в силу 17 ст. положения об охране в военный суд, если только ваше высокопревосходительство изволите признать это необходимым.

При этом считаю долгом доложить, что все привлеченные лица обвиняемыми к вышеупомянутому дознанию настолько твердо поставлены в деле и настолько веско изобличаются в государственных преступлениях, сопровождавшихся убийством и покушениями на убийство, что с уверенностью можно выразить предположение в том, что вряд ли кто-либо из них может быть оправдан на суде, за исключением сыновей священников Дмитрия Гуковича и Данилевского, которые заслуживают снисхождения, помилования, как в виду молодости их лет, так и раская-

ния их, выразившегося в откровенных показаниях, вполне подтвердившихся обстоятельствами и фактами дознания; Дмитрий Гукович и Данилевский, если только дело о них будет прекращено, могут быть на суде в качестве свидетелей, и показания их послужат вескими уликами для некоторых из обвиняемых лиц, являющимися в деле пособниками и укрывателями важных революционных деятелей.

Из привлеченных обвиняемыми личность одного только осталась, за всеми принятыми мерами, не восстановленной, а именно именующегося Борисовичем, звание, фамилия и состояние которого остались неизвестными, но несомненно то лишь, что именующийся Борисовичем принадлежит к не интеллигентному обществу, малограмотный, должен быть из железнодорожных рабочих и по ремеслу слесарь, что и он сам не отрицает.

О последующем направлении означенного дознания не оставьте почтить меня предписанием.

Полковник Новицкий.

XV

А. Р. ДРЕНТЕЛЬН — ВОЕННОМУ ПРОКУРОРУ

Секретно арестантское.

№ 4209
26 и ля 1884 г
60,84—5 ст.

Г. воен. прокурору киевского военн-
окружного суда.

Препровождая при сем к вашему высокоблагородию представленные мне прокурором киевской судебной палаты: а) дознание, в двух томах, произведенное в порядке закона 19 мая 1871 г. по обвинению именующего себя дворянином Аполлинарием Борисовичем, мещанина Василия Панкратова, сына священника Петра Дашкевича и друг. в государственном преступлении, б) следственное производство по обвинению упомянутого Борисовича в покушении на убийство и бродяжничестве и в) следственное производство о вышеназванном Панкратове, обвиняемом в покушении на убийство жандармского унтер-офицера Хмара, вместе с вещественными доказательствами, следующими к последнему из этих дел, предлагаю сообщить мне ваше заклю-

чение по настоящим делам, возвратив подлинные производства. К этому считаю нужным присовокупить, что относящиеся к препровождаемому дознанию вещественные доказательства, как видно из представления прокурора судебной палаты, оставлены на хранении при киевском губернском жандармском управлении¹.

XVI

ПРОШЕНИЕ М. Н. ВАСИЛЬЕВА И РЕЗОЛЮЦИЯ ДРЕНТЕЛЬНА

Его высокопревосходительству господину киевскому, подольскому, волынскому, временному черниговскому и полтавскому генерал-губернатору.

Содержащегося в киевском тюремном замке студента Макария Васильева.

Прошение

Отношением от 24 сего июля за № 1140 на имя смотрителя тюремного замка г. прокурор киевской судебной палаты известил меня, что дело, по коему я привлекаюсь к ответственности, 23 сего июля перешло на рассмотрение вашего высокопревосходительства. А потому осмеливаюсь обратиться к вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой известить меня о том, какое направление придано вышеназванному делу в дальнейшем его движении, а равно и о том, буду ли я предан суду или же дело мое решится административным порядком.

Студент М. Васильев².

г. Киев, 27 июля 1884 г.

¹ С черновика в д. № 60.

² Это прошение препровождено отношением прокурора судебной палаты за № 1500, на котором есть резолюция рукою Дрентельна: «Узнает в свое время».

ПРОШЕНИЕ В. А. КАРАУЛОВА

Его превосходительству господину председателю киевского военно-окружного суда.

Содержащегося в киевском замке по обвинению в государственном преступлении дворянина Василия Караулова.

Пр о ш е н и е

Принимая во внимание, что значительная часть обвинений, падающих на мою долю в деле, к суждению о котором в военно-окружном суде я привлекаюсь в качестве обвиняемого, и обвинительный акт по которому мне вчера вручен, основывается на сведениях, доставленных киевским и петербургским жандармскими управлениями, добытых агентурным путем, касающихся съезда революционеров, имевшего, по предположению обвинительной власти, собраться в Киеве, и моего участия как в этом съезде и эмигрантских сходках в Париже, так и в революционной деятельности в Петербурге, честь имею просить ваше превосходительство о вызове на суд, в качестве свидетелей, агентов, доставивших упомянутые сведения, в виду чрезвычайной важности точного установления степени достоверности этих сообщений в интересах правосудия и моей защиты. Сверх всего имею честь просить ваше превосходительство о вызове на суд, в качестве свидетеля, обвиняемого в убийстве подполковника Судейкина отставного штабс-капитана Сергея Петровича Дегаева, а в случае неразыскания его, о истребовании его подлинного показания по вопросу о моей принадлежности к революционной партии, или точной, законно засвидетельствованной копии с этого показания

Содержащийся в киевском тюремном замке, по обвинению в государственном преступлении дворянин

Василий Караулов.

22 октября 1884 года¹

¹ Дело киевск. воен.-окр. суда. 1884 г. № 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННОГО ПРОКУРОРА
ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО СТУДЕНТА
МИХАИЛА ПЕТРОВА ШЕБАЛИНА
И ЖЕНЫ ЕГО ПРАСКОВЬИ ФЕДОРОВОЙ ШЕБАЛИНОЙ

Из протоколов обыска, произведенного 4 марта текущего года, у проживавших по Большой Владимирской улице в доме Криницкой под № 43 Шебалиных и осмотра взятых при названном обыске вещественных доказательств, каковой осмотр был произведен 10-го того же марта, — видно, что в квартире Шебалиных найдены следующие предметы, имеющие отношение к предъявленному против них обвинению:

- 1) револьвер большого размера системы «Смита и Вессона», заряженный боевыми патронами на все шесть стволов барабана;
- 2) также заряженный шестью боевыми патронами револьвер небольшого размера системы «Лефаше»;
- 3) три аспидных дощечки с вырезанными на них фальшивыми печатями: на одной витебского губернского казначейства и подольской контрольной палаты, а на остальных двух — воронежского и харьковского полицмейстера;
- 4) 10 снимков на восковой бумаге печатей разных правительственных учреждений, а именно: полтавской духовной консистории, купянского уездного предводителя дворянства, витебского губернского казначейства, волынского губернатора, начальника острожской уездной полиции, жосельского волостного правления Трокского уезда, подольского губернатора, киевской мещанской управы со снимками подписей члена управы и столоначальника, Иоанно-Предтеченской церкви города Прилук со снимком подписи настоятеля церкви священника Тимофея Тройницкого и воронежского полицмейстера со снимком полицейской визировки Басманной части 1 участка по дому № 28-й Иванова от 19 августа 1882 года;
- 5) шесть клочков восковой бумаги со снимками подписей разных должностных лиц и духовных особ, занимающих известные должности как членов духовных консисторий и др.;
- 6) три клочка бумаги, повидимому, оторванные от документов, с печатями: харьковского полицмейстера, черниговской город-

ской управы и подольской контрольной палаты и два клочка бумаги с печатями Бердянской гимназии;

7) два снимка с метрических свидетельств о рождении и крещении у поручика Дмитрия Маркевича сына Петра и дочери Веры, первое из полтавской духовной консистории, а второе из Иоанно-Предтеченской церкви г. Прилук; клочек бумаги с формой свидетельства от предводителя дворянства на имя жены дворянина; четыре клочка от билетов на танцевальные вечера в пользу женских курсов с печатями киевского полицеймейстера и клочок бумаги с обозначением, какой мастики должна быть печать и в каком порядке следуют подписи должностных лиц жосельского волостного правления;

8) 5 писем на 8 почтовых листах среднего формата, писанные в два текста, один из коих обыкновенный, а другой химическими чернилами и, очевидно, восстановлен составом желтого цвета, частью зашифрованные, причем три из них с обращением на имя: «Михаил Петрович» и одно на имя «Михаил Викентьевич», в письме от 19-го февраля 1884 года на 2-х листах начинающемся: «Михаил Петрович», между прочим, говорится об установлении связи между петербургскою и киевскою революционными организациями, о типографиях в Киеве и Петербурге, а также указываются способы и пути сношений лиц революционной партии между собой, а равно говорится о высылке 4-х паспортов, из коих три фальшивых. Далее автор письма просит прислать поскорее Вас. Ан. и с ним несколько крупных заглавных букв и виньеток и прибавляет: «Порешили также пригласить вас в Питер — здесь вы будете нужный человек». Затем сообщается зашифрованный цифрами адрес для переписки киевской группы с центральной группой; далее на случай переезда в Петербург сообщается фамилия (зашифрованная) лица, к которому следует обратиться и сообщить пароль или, как сказано в письме, можете явиться и по присланной вам ранее явке (по этой явке местная группа может присылать вообще людей организации). После этого Михаил Петрович приглашается отобрать мнение от своих товарищей: как Н. В. следует отнестись к дегаевским штукам, так как, неправильно решив этот вопрос, партия эта может дискредитироваться. Наконец в письме заключается просьба сообщить новый вполне надежный адрес, а если надежнее настоящий, то необходимо отобрать его у местных групп, так как при общности его он будет менее прочен.

Второе письмо от 28 февраля 1884 года в два текста; один из коих с обращением: «Михаил Петрович. Не скупитесь пожалуйста на письма — столько человек и почаще писать не можете»; письмо во многих местах зашифрованное; содержит приглашение приехать, говорит о барыне, с которой послано несколько прокламаций, заканчивается письмо так: «о Вас. Ан. ни слуху, ни духу, не знаете ли вы чего-нибудь. Михаил Петрович и М. Ад. Пишите поскорее — как то дело (подчеркнуто) — вот если бы! Ваш Алекс. Ив.».

Сверху письма находится подпись: «третью и четвертую страницу отдайте Мак. Ник.» и второй текст этого письма (написанного на половине почтового листа малого формата, т. е. на двух страницах) написан с обращением: «Макар Николаевич» и за подписью Вера Михайлова.

3-е письмо в два текста, из коих первый с обращением «Милостивый Государь» и, повидимому, содержания безразличного — речь идет о том, что будут высланы на комиссию книги. причем просят выслать деньги, а второй текст с обращением «Михаил Петрович» почти весь зашифрован, кроме следующих фраз: «если найдете необходимым выехать с супругою» и «важно это для нас в смысле заготовления для вас», подпись: «Алекс. Ив.»

4-е письмо в два текста: один с обращением «Билевич», с упреком в неаккуратной высылке книг, за подписью Вас. Алексеев, а второй текст другим почерком и почти весь зашифрован — в конце латинское слово *finis* (конец). 5-е письмо с обращением «Михаил Викентьевич», говорится о заказе книг, за подписью М. Петров, а на другой — письмо, восстановленное составом, с шифром, писанное, повидимому, тем же лицом, что и 1-е письмо, и трактует о делах преступной партии.

Начальник с.-петербургского губернского жандармского управления, к которому были препровождены приведенные 5 писем, для установления лиц, являющихся их авторами, возвратив письма, уведомил, что произведенную экспертизою установлено, что первое и последнее письма, подписанные Алексеем Константиновичем, писаны отставным артиллерии штабс-капитаном Константином Алексеевичем Степуриным, а 2-е и 3-е письмо за подписью Александра Ивановича — бывшим студентом С.-Петербургского университета. Петром Якубовичем; кем писано письмо 4-е, шифр коего не разобран, выяснить не удалось.

Константин Степурин, привлеченный в качестве обвиняемого

к дознанию, от всяких объяснений по поводу предъявленных ему писем отказался, а Петр Якубович, подлежащий заарестованию, еще не разыскан.

9) Далее при обыске у Шебалиных найдено: письма ссыльных преступников, изображающие в неблагоприятном свете положение сосланных и заключенных государственных преступников;

10) документы, значащиеся выданными из разных правительственных учреждений на свободное проживание девицам Шульгиной и Шпилевской, коллежскому регистратору Соколовскому, коллежскому ассесору Мирецкому, сыну священника Сторожевскому, дочери губернского секретаря Чеботаревой и указ об отставке штабс-капитану Раменскому. Все эти документы, как оказалось по собранным справкам, подложны.

11) 4 фотографических карточки, из коих 3 мужских и одна женская, причем две мужские изображают раненых при вооруженном сопротивлении во время обыска в 1879 г. в г. Киеве братьев Ивичевичевых, впоследствии умерших, а на 3-й мужской карточке имеется подпись: «на память нашему мудрому, любезному Осло-Козло, родился в ноябре 1882 — Ильи (Козло-Осло). Ростов, 22 августа 1882 года»;

12) гектографированный журнал на 79 листах под заглавием: «Студенчество» 1883 года, № 5, сентябрь, цена 30 коп. С.-Петербург, содержания революционного, в нем, между прочим, высказывается потребность в широко и строго организованной революционной партии в России и содержится хроника арестов по государственным преступлениям.

Зашифрованная цифрами записка, хроника арестов в Полтаве за 1883 год; клочок бумаги с разными адресами, на обороте коего, повидимому, шифрованная заметка; стихотворения «Обжоры» (из Виктора Гюго) и «Перед грозой» — тенденциозного содержания, и конверт, по почтовому штемпелю, из Варшавы с адресом: г. Киев, духовная академия Г. Арсению Селецкому;

13) книга в обертке под заглавием «Динамит» — руководство для работающих динамитом, с чертежами. — Составил Г. Лиандер;

14) гектографированная программа «Вестника «Народной Воли», имеющего задачей утверждение, распространение и окончательное торжество социально-революционных начал; гектографированный же устав «Северной кассы», предназначенной для подачи материальной помощи пострадавшим по политическим де-

лам; письмо из Варшавы, в котором изображается положение Польши после 1863 года, говорится об отношении ее к революционному движению и о распространении среди крестьян манифестов центрального комитета партии «Пролетариат»; рукописная статья, предназначенная, повидимому, для печати, по поводу воззвания, изданного группою конституционалистов, призывающего партию к протесту против правительственного произвола, и писанная инструкция для охраны бывшего Королевского замка и командующего войсками Варшавского военного округа, утвержденная 14-го октября 1883 года и имеющая сверху подпись: «мелочи и курьезы»;

15) две печатных прокламации, из коих одна под заглавием: «Заявление от Южно-Русской боевой дружины» по поводу убийства 8-го января 1884 года в г. Харькове рабочего Шкриоба, а другая от «Рабочей Группы «Народной Воли», с обращением «Товарищи», в которой действия правительства по поводу еврейских беспорядков в г. Екатеринославе представляются в самом мрачном и извращенном виде;

16) один экземпляр социально-революционного обозрения «Народной Воли» № 4 от 5 декабря 1880 г.;

17) цинковая доска с толстыми, с трех стороны выступающими краями, на ней типографский шрифт, завернутый в пяти больших и трех малых бумажных пачках; весом шрифт без доски 1 пуд 15½ ф.; доска и шрифт завернуты в синий коленкор;

18) завернутый в шерстяной темного цвета платок деревянный ящик, разделенный на 35 гнезд, в которых помещается типографский шрифт, металлические квадраты и пластинки, причем часть шрифта помещена в 9 мешочках, вложенных в гнезда; весит шрифт с квадратами и пластинками 17½ фунтов и поверх ящика прикрыт двумя кусками гуттаперчи, на которой имеются следы типографской краски;

19) завернутый в газетную бумагу деревянный ящик с 14-ю продольными перегородками, наполненными типографским шрифтом, прикрытым войлоком и картоном;

20) деревянный же ящик, разделенный на 10 узких, одну широкую и одну средней величины продольных перегородок, наполненных типографским шрифтом, причем вес как этого шрифта, так и указанного в предыдущем пункте, 26¾ фунта;

21) три холщевых мешечка с типографским шрифтом, весом в 11 с ¼ фунтов;

22) 57 медных пластинок различных размеров и 2 жестяные пластинки, составляющие принадлежность типографии;

23) две железных верстатки для типографского набора;

24) двое железных типографских шипчиков;

25) три железные рамы для типографского набора;

26) жестяная кастрюля для варки гектографской массы, следы которой имеются на внутренних стенках кастрюли, и жестяной лист для той же массы;

27) жестяной цилиндр и деревянный валик для типографских работ, причем последний, для вкладывания в пазы, имеет вырезные выступы;

28) масса для гектографирования и стеклянка с полуторахлористым железом;

29) типографский шрифт в пяти пачках, завернутых в белую бумага, весом 1 пуд 10½ фунтов;

30) деревянный ясеневый ящик с внутренним замком и оторванной крышкою, предназначенный для шрифта, имеет три отделения для вставляющихся сбоку трех ящиков и выдвинутую с той же правой стороны стенку — общий вес всего шрифта 4 пуда 6¼ фунтов.

По дешифрировании найденных при обыске в квартире Шебалиных шифрованных записок в них оказались адреса следующих лиц: Грекова, Эртеля, Юрасова, Павлова, Леонтьевой, Тур, Толкачевой и Гандельман. Из числа этих лиц: Греков, Эртель, Юрасов, Леонтьева и Тур, как сообщил начальник С.-Петербургского губернского жандармского управления, содержатся под стражей и привлечены в качестве обвиняемых к производящемуся дознанию об обнаруженной 31 марта текущего года в С.-Петербурге тайной типографии, причем прикосновенность названных лиц в преступной деятельности по С.-Петербургу несомненно установлена как результатами произведенных у них обысков, так и другими добытыми дознанием данными.

Из сообщения нач-ка харьковского губ. жанд. управления видно, что 8 января текущего года в 12 часов дня проживающий в г. Харькове гадячский мещанин Полтавской губернии Федор Шкриоба вышел из своей квартиры и больше в нее не возвращался, а 9 января утром на окраине г. Харькова был найден его труп, причем, по обстоятельствам дела, следует предположить, что Шкриоба убит не на том месте, где найден его труп. Убий-

ство совершено выстрелом из револьвера системы Смита и Весона, причем, однако, виновные в этом убийстве не обнаружены.

В ночь на 10-е января в г. Харькове были разбросаны печатные экземпляры об убийстве Шкриоба, причем один экземпляр доставлен к настоящему дознанию и приобщен к делу.

Содержание упомянутого объявления следующее: «От Харьковской боевой дружины. В воскресенье по приговору Исполнительного комитета казнен изменник и шпион рабочий Федор Шкриоба.

Лет. Тип. Народной Воли. 9 января 1884 г.»

Из протокола осмотра принадлежностей тайной типографии, найденной при обыске в квартире Шебалиных, каковой осмотр был произведен 12 марта при участии экспертов-специалистов типографного дела, видно следующее:

1) Шрифт, найденный на цинковой доске и указанный выше в п. 17, есть типографский цигеро на кегль 12, бывший не раз в употреблении, и представляет собой готовый набор в 8 пачках. Сделанные экспертами оттиски набора совершенно тождественны с корректурными листами, найденными при обыске у обвиняемого студента Васильева, причем эти последние листы, по мнению экспертов, печатаны именно этим набором; цинковая доска есть так называемая гранка и служит для верстки набора;

2) шрифт, указанный выше в пункте 18, на кегль 12 — строчной, средний; в мешечках содержатся типографские цифры 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 и др.; квадраты и так называемые марзаны употребляются при печатании для обозначения промежутков, а три из них называются углами и служат украшением при печатании; весь отдел этого шрифта с цифрами и квадратами был в употреблении;

3) в деревянном ящике с 14 перегородками (пункт 19) содержится типографский шрифт 5 сортов: а) заглавный со строчными на кегль 36 — плотный; б) полквadrата заглавный на кегль 24 — черный; в) строчный средний на кегль 24; г) терция на кегль 16 гротеско, прописные, т. е. заглавные, с цифрами и знаками препинания, и д) терция на кегль 16 узкая, египетская — одни заглавные, с цифрами и знаками препинания. Первый и третий сорт был в употреблении весь; второй и пятый — только частью; причем из 2-го сорта были в употреблении только буквы, составляющие слово «звание», а 4-й сорт вовсе в употреблении не был;

4) деревянный ящик с 12-ю перегородками (пункт 20) заклю-

часть в себе типографский шрифт 3-х сортов: а) заглавный на кегль 20, узкий, египетский; б) цидеро на кегль 12 — гротеско, одни прописные, с цифрами и знаками и в) цидеро на кегль 12, заглавный с цифрами и знаками и несколько кусков для обозначения украшений при отделении статей во время печатания;

5) в трех холщевых мешечках (пункт 21) — типографская круглая шпация для разрядов и скрепления в наборах строк и со знаками тире, которые помещены в одном мешечке, а шпации в двух остальных, все это было в употреблении;

6) медные пластинки разных размеров (пункт 22) — типографские систематические линейки, служащие для разных типографских работ, жестяные пластинки никакого значения в типографии не имеют;

7) две железные верстатки (пункт 23) служат для предварительного набора шрифта;

8) двое щипчиков (пункт 24), называемых пинцетами, служат для вынимания шрифта из наборов;

9) три железные рамы (пункт 25) служат для закладки форм набора;

10) железная кастрюля (пункт 26), судя по следам на внутренних стенках, служила для варки вальцевой массы, употребляемой для валиков, служащих для накатывания краски по набору;

11) жестяной цилиндр с валиком (пункт 27) служит для отливки вальцев, употребляемых при накатывании краскою форм набора;

12) масса (пункт 28) употребляется для отливки вальцов;

13) типографский шрифт в пяти пачках (пункт 29) — совершенно новый цидеро на кегль 12 средний, заглавный, в употреблении не бывший и отливки неудовлетворительной;

14) деревянный ясеневый ящик (пункт 30), имеющий вид шкапулки, с местами для трех выдвижных ящичков, хотя и не представляет настоящей кассы для шрифта, но может заменить ее вполне.

По примерке двух деревянных ящичков с 35 гнездами в каждом с алфавитом на перегородках одного из них, взятых при обыске у обвиняемой Шулепниковой, такие свободно вошли в ящик.

Допрошенный 5-го марта в качестве обвиняемого действительный студент Михаил Шебалин объяснил, что, по окончании

курса в 1882 году в С.-Петербургском университете он, обвиняемый, сначала проживал в Петербурге, откуда выехал в конце октября прошлого года и, пробыв некоторое время в Москве, в конце декабря того же года прибыл с женою в Киев с целью приискать себе место; знакомых в Киеве он, Шебалин, имеет, но называть их не желает во избежание причинения им беспокойства.

Далее обвиняемый Шебалин заявил, что он принадлежит к русской социально-революционной партии — к фракции «Народной Воли», вполне и во всем объеме исповедует программу и задачи этой партии, клонящиеся к ниспровержению существующего в России государственного строя.

Личного своего положения в организации названной партии он, обвиняемый, объяснить не может, причем добавил, что содействовал сообществу только тем, что хранил у себя принадлежащие ему предметы, как-то: оружие, типографский шрифт с принадлежностями для печатания, фальшивые печати, паспорта и другие документы, взятые при обыске. Каким путем и откуда попали к нему, обвиняемому, найденные у него предметы, он, Шебалин, объяснить не желает; сделать указаний относительно состава и организации партии «Народной Воли» не может, причем обвиняемый заявил, что он никого фальшивыми документами не снабжал и участия в изготовлении печатей не принимал и кто этим занимается ему, обвиняемому, неизвестно. По словам Шебалина, жена его не принимала никакого участия в революционных делах, но знала о хранении им, обвиняемым, отобранных у него вещей. Принадлежности типографии были доставлены к нему, Шебалину, на квартиру неизвестным лицом, но он, обвиняемый, знал о том, какие это вещи и что они принадлежат сообществу, причем Шебалин показал, что у него на квартире ничего не печаталось, а производилась ли типографская работа в других местах — он не знает.

По содержанию отобранных у него писем, записок и заметок он, Шебалин, никаких объяснений дать не может, так как большинство авторов писем и упоминаемых там лиц ему, обвиняемому, неизвестны; объяснений же по поводу найденных в его квартире шифрованных записок он, Шебалин, частью дать не может, а частью не желает.

Взятые у него, обвиняемого, два револьвера с патронами не принадлежат ему, Шебалину, а составляют собственность партии.

К этому Шебалин добавил, что никого из лиц, привлеченных по одному с ним делу в качестве обвиняемых, он не знает.

При допросе 14 апреля обвиняемый Шебалин показал, что ему было известно то обстоятельство, что у него в квартире находился готовый набор для издания газеты «Социалист», но оттисков и печатания в квартире его, обвиняемого, не производилось, и набор доставлен готовым, но кем таковой сделан — он, Шебалин, объяснить не желает.

В книжный магазин, содержимый на Большой Владимирской улице Билевичем, он, Шебалин, заходил раза два за покупкою газет, причем видел там за прилавком лицо, изображенное на предъявленной фотографической карточке (была предъявлена фотографическая карточка обвиняемого Билевича), но ни знакомства, ни каких-либо связей с Билевичем не было у него, обвиняемого; а если в некоторых отобранных у него, Шебалина, письмах и говорится о Михаиле Викентьевиче Билевиче, то объяснить это обстоятельство он, Шебалин, не желает.

Обвиняемого Василия Караулова, он, Шебалин, знает года полтора и познакомился в Петербурге случайно у общих знакомых, но у кого именно — не помнит, причем Караулов заходил к нему, Шебалину, в Киеве несколько раз и рассказывал, что приехал из-за границы, но зачем — он, Шебалин, не помнит. О принадлежности Караулова к социально-революционной партии ему, Шебалину, ничего неизвестно; равно также он, обвиняемый, не знает и того: предполагался ли в Киеве съезд членов партии «Народной Воли» или нет.

При предъявлении фотографических карточек обвиняемых: Борисовича, Завадовского, Степанова, Васильева, Щулепниковой, Панкратова, Дашкевича, Данилевского, Дирдовского и Георгия Гуковича, — Шебалин заявил, что лиц этих он совершенно не знает и видит их в первый раз.

Относительно найденного в его квартире конверта от письма из Варшавы на имя студента киевской духовной академии Селецкого Шебалин объяснил, что ни Селецкого, ни Дашкевича, ни кого-либо из числа студентов названной академии он, обвиняемый, не знает и решительно не в состоянии себе объяснить: каким образом в его, обвиняемого, квартире очутился упомянутый выше конверт.

Обвиняемая жена действительного студента Прасковья Шебалина, урожденная Богораз, показала, что по окончании в

1877 году курса в Таганрогской женской гимназии она первоначально занималась уроками в г. Таганроге, а затем в 1879 году поступила на Бестужевские высшие женские курсы, где пробыла 4 года и, не окончив курса, с мая 1883 года посещать их перестала и жила с мужем в Петербурге, а затем с ним же переехала в Киев, где определенных занятий не имела, причем она и муж, не успевший достать себе места, жили на средства брата мужа — помещика Казанской губернии Дмитрия Шебалина, высылавшего ежемесячно 40—50 рублей.

Далее обвиняемая Шебалина заявила, что она принадлежит к тайному противозаконному сообществу, именуемому русское социально-революционное партией «Народная Воля», стремящемуся к ниспровержению, путем насилия, существующего в России государственного порядка, причем она, Шебалина, вполне разделяет всю программу и задачи этой партии, однако, определенной функции в организации партии не имеет, почему и не признает себя виновной в принадлежности к тайной организации; чем именно определяется связь ее с организацией, она, обвиняемая, объяснить не может, но удостоверяет, что никаких планов и проектов действовать в интересах партии в г. Киеве не было.

Относительно отобранных при обыске вещей обвиняемая Шебалина объяснила сходно с показанием своего мужа, добавив, что в г. Киеве они никого не посещали и у себя никого не принимали.

Относительно знакомства с Карауловым Шебалина показала, что была с ним знакома шапочно и встречалась в Петербурге раза два, в Киеве же Караулов к ним не заходил.

В Петербурге вместе с ними, Шебалиными, проживала некая Мария Кулябко, причем относительно этой последней в деле имеется сведение, что она содержится под стражею в С.-Петербурге и привлечена к дознанию в качестве обвиняемой в государственном преступлении.

Из отзыва помощника начальника екатеринославского губернского жандармского управления в Таганрогском градоначальстве за № 138 видно, что родной брат Шебалиной — Натан Богораз содержится в таганрогском тюремном замке по обвинению в государственном преступлении.

Отделение по охранению порядка и общественной безопасности сообщило, что по сведениям, доставленным бывшим III от-

делением собственной его величества канцелярии, Богораз, ныне по мужу Шебалина, в октябре 1879 года производила среди слушательниц женских курсов денежный сбор в пользу какого-то студента, арестованного по политическому делу.

Показание Шебалиных о том, что они незнакомы с кем-либо из лиц, привлеченных к настоящему делу в качестве обвиняемых, опровергаются показаниями тех чинов жандармского управления, которым было поручено наблюдать за обвиняемыми до их ареста и производства у них обысков.

Так из показаний унтер-офицеров Качановского и Золотых, наблюдавших за квартирой обвиняемой Шулепниковой, проживавшей по Малой Владимирской улице в доме под № 57 под именем Кочетовой, видно, что Шебалин очень часто, а в конце февраля ежедневно, посещал Шулепникову, являясь к ней иногда и с своей женой, причем Шебалин приносил какие-то небольшие тюки, повидимому, тяжелый холщевый мешочек и свертки бумаги и являлся нередко вместе с обвиняемым Дашкевичем.

5-го февраля в 10 часов утра Шебалин, придя на Малую Владимирскую в дом под № 30, вынес оттуда небольшой завернутый в тряпку тючок и отнес таковой к Кочетовой в дом под № 57 по той же улице. Дня через два Шебалин снова пришел в дом под № 30, оттуда вскоре вышел, имея с собою большой против прежнего тюк, завернутый в холст, и отнес также к Кочетовой. 17-го февраля жена Шебалина вместе с какою-то бабышнею приехала к Кочетовой и привезла какой-то тюк, завернутый в бумагу и имевший вид ящика.

Унтер-офицер Фомин, наблюдавший с 27-го января текущего года за квартирой Шебалиных, удостоверил, что Шебалин и Дашкевич посещали друг друга, причем Шебалин ходил чаще к Дашкевичу, который был у Шебалиных только два раза. Личность, проживавшая по Андреевской улице в доме № 6 (как оказалось впоследствии, привлеченный в качестве обвиняемого в государственном преступлении к дознанию, производящемся в С.-Петербурге, сын священника Николай Стародворский), весьма часто посещала Шебалина, вместе с которым, а также со студентами Завадовским и Степановым, они часто ходили на Ильинскую улицу в дом под № 3.

Кроме того Шебалин, его жена и Стародворский заходили к обвиняемому Панкратову.

Обвиняемый Васильев часто ходил к Шебалину, который также бывал у Васильева, но реже.

По показанию унтер-офицера Варфоломея Скринниченко, у Шебалина бывали: Степанов, Завадовский, Дашкевич и Караулов, кроме того, Шебалин заходил к Панкратову.

Тот же Скринниченко, наблюдавший 2, 3 и 4 марта за квартирою обвиняемого Караулова, удостоверяет, что 2 марта Караулов два раза заходил в тот дом, где жили Шебалины.

Унтер-офицер Ставцев, наблюдавший за обвиняемым Васильевым, проживавшим по Лютеранской улице в доме № 30, удостоверил, что Васильев бывал у Шебалиных очень часто, иногда даже по два раза в день; Шебалин же заходил к Васильеву раза 3 или 4.

Наблюдавший за квартирою Шебалиных с первых чисел февраля в течение около двух недель унтер-офицер Волков также удостоверил о знакомстве и непрерывных сношениях Шебалиных с обвиняемыми: Васильевым, Шулепниковой, Дашкевичем, Панкратовым и Стародворским, а также с женщиною, проживавшею в доме под № 30 по Мало-Владимирской улице.

Из протокола осмотра подворной книги за 1884 год для записи проживающих в доме под № 30 по Мало-Владимирской улице видно, что в книге этой, в соответствующих графах, имеется запись следующего содержания: «12 января из С.-Петербурга Бельцева Людмила Евстафьевна, жена исправника, надворного советника, православная; по свидетельству мужа ее, черкасского уездного исправника, от 2 апреля 1881 года за № 44, на квартире у Колотиной, документ явлен 13 января 1884 года, была в С.-Петербург 21 марта 1884 года».

Начальник киевского губернского жандармского управления сообщил к дознанию, что проживавшая по Мало-Владимирской улице в доме под № 30 молодая женщина, с которою Шебалины находились в близких отношениях, по документу, выданному на имя жены бывшего черкасского уездного исправника Белевцевой, накануне заарестования Шебалиных перевезла к ним свои вещи. Та же Белевцева находилась на извозчике у Софийского собора в день заарестования Панкратова и вместе с ним поехала, а когда Панкратов был задержан, то Белевцева успела скрыться и ныне разыскивается, по справкам оказалось, что личность эта ничего общего с Белевцевой не имеет, и эта последняя была

в Киеве только в 1881 году, а затем безвыездно проживала в С.-Петербурге.

В доме под № 3 по Ильинской улице проживали студенты киевской духовной академии Сецынский и Шаравский, находившиеся в приятельских отношениях с Дашкевичем, и так как из всех лиц, проживающих в названном доме, никто, кроме Сецынского и Шаравского, не обращал на себя внимания своею неблагонадежностью, то следует заключить, что Шебашины и их единомышленники бывали именно у Сецынского и Шаравского.

Допрошенные в качестве свидетелей студенты Киевской духовной академии Шаравский и Сецынский, по предъявлении им фотографических карточек всех обвиняемых по настоящему делу лиц, показали, что никого из них не знают, кроме своего товарища Дашкевича, который у них действительно бывал, а Сецынский, кроме того, указал на Билевича, которого он знает, как содержателя книжного магазина, но не по фамилии.

Унтер-офицер Шимиков, которому поручено было наблюдать за квартирою Шебашиных с 16 по 22 февраля сего года, показал, что в продолжение этого времени Шебаши почти ежедневно заходил на Константиновскую улицу в дом под № 42, где жил Панкратов, и оставался там от 1½ до 2-х часов. 21 февраля Шебаши виделся с Васильевым, а 2-го марта какая-то девушка подъехала к квартире Шебашиных и привезла с собою парусинный чемодан и сверток, каковые вещи Шебаши, прохаживавшийся возле своей квартиры как бы в ожидании приехавшей, взял и отнес к себе.

Спустя некоторое время, из квартиры Шебашиных вышел обвиняемый Дашкевич с книгами, а затем привезшая вещи девушка, и наконец сам Шебаши, причем все они разошлись в разные стороны и после выхода из квартиры Шебашиных между собою не сходились. Раза два, в том числе 17-го февраля, Шебаши заходил к Васильеву, а во время контрактов два раза Шебаши был в Братском монастыре, где проживал обвиняемый Дашкевич.

Отставной рядовой Кацелло, служащий дворником в доме Криницкой по Большой Владимирской улице, где 20 января проживали Шебашины показал, что он, свидетель, приносил им в переднюю воду и дрова, других же услуг Шебашины не требовали, хотя никакой прислуги не держали, причем, когда он, свидетель, сам предлагал помочь им по хозяйству, то предложения эти

отклонялись Шебашиною, которая говорила, что она привыкла трудиться и что это полезно для здоровья.

Из числа лиц, посещавших Шебашиных, он, Кацелло, помнит двух молодых людей, которых он признал по фотографическим карточкам, указав на карточки обвиняемых Васильева и Степанова, первый из коих бывал у Шебашиных чаще.

ХІХ

ВЫПСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СУДА 1 НОЯБРЯ

«По окончании чтения обвинительного акта председатель, изложив кратко существо обвинений, спрашивал каждого из подсудимых: признают ли они себя виновными. Из подсудимых заявили: Борисович — в проживательстве по чужому виду себя не признает, хотя и проживал по такому виду, и теперь не желает открыть свое звание; в вооруженном сопротивлении жандармам не виновен, хотя и стрелял, не зная, что задерживавшие его были жандармы; к революционной партии «Народная Воля» принадлежит, но активного участия в ней не принимал. Шебаши и Панкратов — что они принадлежат к революционной партии, а Панкратов, кроме того, что хотя он и проживал по подложному виду, но виновным себя в этом не признает, а раз но не признает себя виновным в вооруженном сопротивлении жандармам, потому что не знал, что они жандармы. Шулепникова — что хотя она и проживала по подложному виду, но по своему убеждению виновною в этом себя не признает, к революционной партии фактически не принадлежит, а сочувствует ей. Караулов — что признает себя виновным только в проживательстве по чужому виду, а затем Караулов и все остальные подсудимые в принадлежности к революционной партии себя не признали. Борисович давал суду подробные объяснения, а Панкратов и Шебаши от дальнейших объяснений отказались. Суд постановил: в виду того, что большинство подсудимых не признало себя виновными в преступлениях, изложенных против них в обвинительном акте, приступить к рассмотрению и поверке доказательств. Заседание прервано в 6 ч. и 30 минут вечера до 10½ часов утра¹.

¹ Извлечение из протокола заседания суда. Дело № 1 за 1884 г. киевского военно-окружн. суда.

XX
ЗАПИСКИ ДУНИНА-БОРКОВСКОГО
О ЗАСЕДАНИЯХ СУДА

1

Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что заседание киевского военного суда по делу Борисовича и др. возобновилось сегодня приводом всех свидетелей к присяге, за исключением 3 неявившихся (студентов унив-та св. Владимира), причем защитник Борисовича, пр. повер. Баженов, ходатайствовал о допросе без присяги свидетелей Волкова, Хмары и Качановского, как лиц потерпевших, но суд, основываясь на мнении прокурора, что пострадавшим является в данном случае правительство, органам которого было оказано вооруженное сопротивление, в этом ходатайстве отказал.

Затем суд приступил к рассмотрению вещественных доказательств:

1) В квартире Борисовича по заявлению прокурора была прочитана: «Программа членов партии «Народная Воля», по прочтении которой Борисович высказал: что террор, о котором упоминается в этой программе, есть печальная необходимость, к которой вынуждена была прибегнуть партия после того, как письмо ее на имя его величества Александра III, в котором, письме, партия предлагала мирный исход, осталось без ответа. Затем была прочитана брошюра «Подпольная Русь», в которой изложен весь ход революционной пропаганды с начала 1860-х годов; по прочтении ее подсудимый Караулов объяснил, что эта брошюра плохой перевод с итальянского сочинения, написанного с целью успешного распространения ее между итальянцами, весьма падкими на такого рода террористические сочинения. Относительно найденного у Борисовича оружия (револьвер и кинжал) Борисович резко отвечал, что, конечно, не скажет, откуда его приобрел, а о фальшивом паспорте отозвался, что он получил его от партии, к которой имеет честь принадлежать.

2) В квартире Шебалиных: по ходатайству прокурора были прочитаны два письма, полученных Шебалиным через посредство подсудимого Васильева, в которых сообщается об арестах в Варшаве, о бунтах в одной деревне С.-Западного края и на Дону и пр. Шебалин при этом объяснил, что с Васильевым он был знаком еще в Петербурге в 80-м году, когда был студентом,

что, приехав в Киев, он случайно встретился с ним на улице и, будучи уверен, что он не выдаст, просил его позволить получать через него письма. — Затем была прочитана «Программа «Вестника «Народная Воля» и осмотрены револьвер, типографские принадлежности и оттиск. Шебалины (муж и жена) стремились доказать, что в их квартире обнаружена была не типография, а лишь типографские принадлежности, которые у них были на хранении. Васильев при этом заявил, что желал бы узнать мнение экспертов: была ли найдена в кв. Шебалиных полная типография и пригодна ли была сама квартира, чтобы иметь в ней действующую нелегальную типографию? так как он утверждает, что в этой квартире ничего не печаталось. Суд нашел, что подсудимый должен был раньше просить об экспертизе и что теперь уже поздно.

3) В квартире Васильева: прочитано писанное его рукой «Объявление об издании в Киеве нелегального органа «Социалист», после чего Шебалин объяснил, что он посвятил Васильева в тайну издания этого органа их партии и пригласил его в качестве корреспондента, а не сотрудника, а Васильев силился доказать, что оно предпринималось не исключительно в видах партийных, но и в видах свободы слова, чтобы противостоять правительственному гнету на легальную прессу.

4) В квартире Шулепниковой: предъявлены суду и прочитан текст 6 прокламаций боевой дружины. Шулепникова при этом заявила, что вещи, помещенные в протоколе обыска, принадлежат не ей, что она является лишь хранительницей, что к партии «Народная Воля» не принадлежит, так как не жила на средства партии, а добывала средства уроками музыки, что она случайно сделалась нелегальной, так как бежала от отца, ей нужен был вид и ей он был предложен лицом партии, под этим видом она скрывалась, и за это должна была согласиться, чтобы ее квартира была складом обнаруженных у нее вещей.

Заседание затем было отложено до след. дня 11 час. утра 2 ноября 1884 г.

Чиновник особых поручений Дунин-Борковский¹

¹ Дело № 60.

Имею честь доложить вашему высокопревосходительству, что в заседании киевского военного суда по делу Борисовича и др. 3 сего ноября окончен судом осмотр вещественных доказательств и приступлено к допросу свидетелей, допрошены два — Качановский (жандарм) и Дубницкий (б. студент). При осмотре вещественных доказательств прокурор силился установить наибольшую связь между найденными у подсудимых листками пожертвований (одинаковость штемпелей), прокламациями, брошюрами и т. д., что до известной степен было установлено.

Продолжительные прения возбудило письмо сестры Шулепниковой, найденное в духовной академии.

Караулов и Дирдовский дали подробные показания по отношению к найденному у них, причем последний рассказал суду об отношениях своих к Оленину.

Особенно выдающегося в этом заседании ничего не было.

Чиновник особых поручений *Дунин-Борковский*¹.

3 ноября 1884 г.

XXI

ПРИГОВОР

1884 года ноября 8 дня. По указу его императорского величества, киевской военно-окружный суд в закрытом судебном заседании в следующем составе:

Председатель — генерал-лейтенант Кузьмин,

Военный судья — генерал-майор Кониский,

Временные члены: полковники: командир 6 саперного батальона Извеков, командиры пехотных полков 129 Бессарабского фон-Шульц, 131 Тираспольского Гловацкий и командир 2 бат. 33 артил. бригады полковник Ярошев, при военном прокуроре полковнике Щербовиче и помощнике секретаря надворном советнике Соколове — слушал дело об именуемом себя дворянином Аполлинарием Борисовичем, действительном студенте Михаиле Шебалине, его жене Парасковии Шебалиной, дворянке Варваре Шулепниковой, студенте киевской духов-

ной академии Петре Дашкевиче, мещанине Василии Панкратове, дворянине Василии Караулове, студентах университета св. Владимира Макарии Васильеве, Якове Затворницком, Николае Завадовском, Евгении Степанове и сыне священника Николае Дирдовском, преданных военному суду киевским, подольским, волынским, временным черниговским и полтавским генерал-губернатором по обвинению в принадлежности к тайному революционному сообществу, заявившему себя рядом убийств и покушений на жизнь правительственных органов и имеющему целью ниспровержение путем насилия существующего в России государственного и общественного порядка и, кроме того: именующийся Борисовичем в проживательстве по подложному виду, бродяжестве и вооруженном сопротивлении чинам полиции.

Панкратов в проживательстве по подложному виду и вооруженном сопротивлении чинам полиции.

Шулепникова и Караулов в проживательстве по подложному виду.

Из дела видно, что именующий себя Борисовичем, по его показанию Аполлинарий Алексеевич, 29 лет, православный, грамотен, холост, из дворян Могилевской губернии, Рогачевского уезда, знает токарное, слесарное и другие мастерства, а также знаком с чертежным искусством. Михаил Петрович Шебалин, 26 лет, православный, женат, действительный студент С.-Петербургского университета, из дворян Казанской губернии. Петр Григорьевич Дашкевич, 23 лет, православный, холост, студент киевской духовной академии, сын священника Луцкого уезда, Волынской губ. Прасковья Федоровна Шебалина, 23 лет, православная, жена действительного студента, грамотна. Макарий Васильев, 27 лет, православный, холост, из мещан г. Смоленска, студент университета св. Владимира. Василий Семенович Панкратов, 22 лет, православный, холост, грамотен, мещанин г. Москвы. Евгений Дмитриевич Степанов 19 лет, православный, холост, из дворян Херсонской губернии, студент университета св. Владимира. Николай Никандрович Завадовский, 21 года, православный, холост, сын надворного советника, уроженец Херсонской губернии, студент университета св. Владимира. Василий Андреевич Караулов, 29 лет, православный, женат, дворянин Саратовской губернии. Николай Петрович Дирдовский, 21 года, православный, сын священника Киевской губернии, Чигиринского уезда, воспитан-

¹ Д. № 60.

вался в духовной семинарии, но курса не окончил, холост. Варвара Васильевна Шулепникова (она же Кочетова), 23 лет, православная, девица, дочь дворянина Костромской губернии, и Яков Михайлович Затворницкий, 20 лет, православный, из дворян Черниговской губернии, студент университета св. Владимира, холост.

Выслушав дело, суд признал виновными: 1) подсудимых Шебалина, Панкратова, именующего себя Борисовичем, Караулова, Васильева, Дашкевича, Шулепникову и Шебалину в принадлежности к русскому тайному преступному социально-революционному сообществу, называемому партией «Народная Воля», имеющему задачей ниспровержение существующего в Российской империи государственного и общественного строя; при этом признано судом, что подсудимые Шебалин, Панкратов и именующий себя Борисовичем имели намерение, для достижения указанной цели, действовать насильственно, что деятельность подсудимого Шебалина, как члена партии, выражалась в сношениях с другими лицами, принадлежащими к преступному сообществу вне г. Киева, в снабжении лиц партии фальшивыми видами, привлечении других лиц в сообщество, устройении типографии для издания и распространения преступного содержания сочинений, и что действия всех этих подсудимых, как сообщников партии, не повлекли до обнаружения их ни смутений, ни беспорядков или иных вредных последствий; 2) подсудимого Панкратова в том, что с января по март настоящего года проживал в Киеве под именем дворянина Луцкого уезда Черновского, предъявив для прописки вид на жительство заведомо подложный, выданный будто бы Луцким уездным полицейским управлением; 3) того же Панкратова в том, что 4 марта сего года при задержании его по распоряжению начальства унтер-офицерами киевского губернского жандармского управления Хмарой, Волковым и Ставцевым (одетым в партикулярное платье) он, Панкратов, оказал вооруженное сопротивление, сделав с намерением лишить жизни задержавших его четыре выстрела из бывшего при нем револьвера, направив один выстрел в Волкова, а три в Хмару, которому две пули попали в ноги, причинив легкие поранения. При задержании отняты у подсудимого кинжал и револьвер, причем знал, что стреляет в чинов полиции; 4) подсудимого, именующего себя Борисовичем, — в том, что, приехав в начале текущего года в Киев, проживал по фальшивому виду, будто бы выданному Ро-

гачевским уездным полицейским управлением на имя дворянина Рогачевского уезда Аполлинария Алексеевича Борисовича; 5) его же в том, что когда несомненно было установлено, что подсудимый не есть Аполлинарий Борисович и предъявленный им вид на жительство подложен, он, обвиняемый, отказался объявить свое состояние, имя и фамилию и скрывает это по сие время; 6) того же, именующего себя Борисовичем, в том, что 3 марта сего года, когда следившие за ним по распоряжению начальства унтер-офицеры киевского губернского жандармского управления Качановский и Золотых (переодетые в партикулярное платье), преследуя его, приступили к его задержанию, то именующий себя Борисовичем оказал тем унтер-офицерам вооруженное сопротивление, произвел в них с намерением лишить их жизни два выстрела из револьвера, бывшего при нем, а затем сделал два выстрела в извозчика, пытавшегося задержать обвиняемого по крику названных унтер-офицеров, а когда подсудимый, израсходовав все патроны, взяв в руку бывший при нем кинжал, хотел вновь зарядить револьвер, то был задержан Качановским и вышедшим из фабрики рабочим, причем револьвер и кинжал были у подсудимого отобраны; причем подсудимый не знал, что задерживавшие суть полицейские или жандармские чины; 7) подсудимого Караулова в том, что, прибыв в начале сего года из-за границы в Киев, проживал под именем губернского секретаря Тейш, предъявив заведомо подложный вид, выданный будто бы на имя губернского секретаря Тейша управляющим временною комиссией государственного контроля; 8) подсудимую Шулепникову — в том, что в конце прошлого года и в начале нынешнего года проживала в Киеве под именем умершей дочери священника Софии Павловой Кочетовой, по заведомо подложному виду на жительство, выданному будто бы на имя Кочетовой костромскою духовною консисторией; 9) подсудимого Дирдовского в имени сочинений преступного содержания, не распространяя их; и 10) его же, Дирдовского, в том, что передал другому лицу, для проживания, чужой вид на жительство.

Обвинения подсудимых: 1) Завадовского, Степанова, Затворницкого и Дирдовского в принадлежности к русскому тайному преступному сообществу, называемому партией «Народная Воля», имеющему задачей ниспровергнуть насильственным путем существующий в Российской империи государственный и общественный строй, и 2) подсудимого, именующего себя Борисо-

вичем, в том, что, оказывая сопротивление задержавшим его 3 марта, как это изложено выше в 5 пункте, знал, что задерживавшие суть полицейские или жандармские чины, киевский военно-окружный суд признал недоказанным и потому по этим обвинениям, на основании 1 п. ст. 910 II разд. В. С. У. 1884 г., определил считать их по суду оправданными. Обстоятельствами, уменьшающими вину, суд признал сознание относительно Шебалина, Караулова, Васильева и Дирдовского, относительно Борисовича, кроме сознания, его неразвитость, а относительно Панкратова, сверх этих обстоятельств, и молодость его лет, относительно Шебалиной то, что она действовала под влиянием мужа, имевшего на нее сильное влияние; относительно Шулепниковой молодость ее лет, семейные невыгодные для нее отношения и вредное влияние лиц, имевших на нее сильную власть, и относительно Дашкевича молодость лет. Обращаясь к определению по закону преступных деяний подсудимых и следуемых за оные наказаний, суд находит: а) что противозаконное деяние подсудимых: Панкратова, именующего себя Борисовичем, Шебалина, Караулова, Васильева, Шулепниковой, Дашкевича и Шебалиной, изложенное в 1-м пункте, — составляя принадлежность к преступному сообществу, имеющему цель ниспровержение существующего в Российской империи государственного, общественного и экономического порядка, причем злоумышление подсудимых обнаружено правительством ранее нежели действия их повлекли смятение, беспорядки или иные вредные последствия, — влечет по мере участия для Панкратова, именующегося Борисовичем и Шебалина, как имевших намерение действовать насильственно, наказание по 1 ч. 250 ст. улож. о наказ., определяющей виновным лишение всех прав состояния и ссылку в каторжные работы в рудниках на время от 12 до 15 лет, или же в крепостях на время от 10 до 12 лет, а для остальных, как не обнаруживших умысла действовать мерами насильственными, по 2 ч. той же 250 ст., или лишение всех прав состояния и ссылку в каторжные работы на заводах на время от 4 до 6 лет, или лишение всех прав состояния и ссылку в Сибирь на поселение, или лишение всех особых прав и преимуществ и ссылку на жительство в Сибирь, или отдачу в исправительное отделение гражданского ведомства по одной из степеней ст. 31 улож. о наказ., или же лишению некоторых особых прав и преимуществ и заключению в крепости на время от 1 года и 4 месяцев до 4 лет; при этом,

по соображению меры участия подсудимых в упомянутом преступном сообществе, им, как сообщникам, согласно 119 ст. улож. о наказ. и той же 250 ст., суд определяет: Шебалину — ссылку в каторжные работы в рудниках по низшей мере 3 степ. 19 ст. на двенадцать лет, Караулову — ссылку в каторжные работы на заводах по низшей мере 7 степ. 19 ст. на четыре года, Васильеву — по 1 степ. 20 ст. ссылку на поселение в отдаленнейших местах Сибири, Шулепниковой и Дашкевичу — по 2 степ. той же 20 ст. ссылку на поселение в местах Сибири не столь отдаленных, а Шебалиной — по 5 степ. 31 ст. ссылку на жительство в Тобольскую губернию; б) что деяния подсудимых: именующего себя Борисовичем, Панкратова, Караулова и Шулепниковой, изложенные в 2, 4, 7 и 8 пунктах, составляя проживание по заведомо чужому виду на жительство, влечет для них, согласно 977 и 976 ст. улож. о наказ., лишение всех особых прав и преимуществ и ссылку на жительство в отдаленные губернии, кроме сибирских, или отдачу в рабочий дом, по 3 степ. 33 ст. улож. о наказ.; в) что таковой же ответственности, согласно той же ст. 977 и решения правительствующего сената, подлежит и подсудимый Дирдовский за передачу другому лицу, заведомо для прожительства, чужого вида на жительство, как это изложено в 10 пункте; при этом, по соображению обстоятельств дела, суд определяет подсудимому Дирдовскому — ссылку на жительство в отдаленные губернии, кроме сибирских, по 4 степ. 33 ст. улож. о наказ.; г) что противозаконное деяние подсудимого, именующего себя Борисовичем, изложенное в 5 п., составляя, согласно 950 ст. улож. о наказ., бродяжничество, за что, по 951 ст. того же уложения, подлежит отдаче в исправительные отделения гражданского ведомства на 4 года, а равно, в случае неспособности к работам, водворяется в сибирских или других отдаленных губерниях по усмотрению министра внутренних дел; д) что деяние того же подсудимого, именующего себя Борисовичем, изложенное в 6 пункте, составляет, согласно 9 ст. улож. о наказ., покушение на убийство, так как подсудимый, оказывая сопротивление задерживавшим его лицам, хотя и не знал, что это полицейские и жандармские чины, действующие по приказанию начальства, но, сознавая, что это не есть нападение с противозаконными целями, стрелял неоднократно в них с намерением лишить их жизни, и хотя от этих выстрелов никто из за-

держивавших не был убит, но это случилось уже независимо от воли подсудимого, который, израсходовавши все патроны, которыми был заряжен револьвер, следовательно, сделав все, что мог к достижению задуманного, был схвачен и обезоружен,—влечет для подсудимого наказание, определенное в 1455 ст. улож. о наказ., с понижением оного, на основании 115 ст. того же уложения, на одну, две или три степени, а как 1455 ст. определяет виновному, если убийство действительно было бы учинено, лишение всех прав состояния и ссылку в каторжные работы в рудниках, по 2 степ. 19 ст., на время от 15 до 20 лет, так как выстрелы подсудимого были в несколько человек, то за изложенное покушение на таковое убийство суд определяет ссылку в каторжные работы в крепостях, по 5 степ. той же 19 ст., на время от 8 до 10 лет, е) что деяние подсудимого Панкратова, изложенное в 3 пункте, составляя вооруженное сопротивление чинам полиции, при исполнении ими обязанностей службы, сопровождавшееся покушением на убийство и нанесением ран, влечет для него, согласно 18 пункта высочайше утвержденного 14 августа 1881 года положения о мерах к сохранению государственного порядка и общественного спокойствия и 279 ст. XXII кн. С. В. П. лишение всех прав состояния и смертную казнь; 3) что подсудимый Дирдовский, за имение у себя сочинений преступного содержания, но не распространяя оных, как то указано в 9 пункте, подлежит, по 251 ст. улож. о наказ., аресту на время от 7 дней до 3 месяцев, и потом могут быть отдаваемы под надзор полиции на время от 1 года до 3 лет.

По правилам назначения наказаний, в случае совокупности преступлений, на основании 152 ст. улож. о нак., подсудимые Панкратов и именующий себя Борисовичем, как признанные виновными в учинении двух законопротивных деяний, подвергающих наказанию уголовным, и деяний, подвергающих исправительным наказаниям, должны быть приговорены к тяжчайшему из наказаний, и в самой высшей оного мере, из числа следующих за каждое из уголовных деяний, согласно 1 пункта указанной 152 ст.; подсудимые Караулов и Шулепникова, как признанные виновными в учинении законопротивных деяний, из коих одно подлежит уголовному, а другое исправительному наказанию, должны быть приговорены к тому наказанию, коему они подверглись бы, если бы были изобличены в одном уголовном деянии, по 2 пункту той же 152 ст., а подсудимый Дирдовский,

как совершивший такие деяния, из коих одно подлежит наказанию, соединенному с лишением всех прав особенных и преимуществ, а другое, не влекущее за собою ограничения прав и преимуществ, должен быть приговорен к тому из наказаний, которому он подвергся бы, если бы был изобличен в одном только деянии, влекущем за собою лишение всех особенных прав и преимуществ; по сему суд и приговорил подсудимых: Панкратова—к лишению всех прав состояния и к смертной казни, именующего себя Борисовичем—к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в рудниках по высшей мере 3 степени 19 ст. на 15 лет, Караулова—к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы на заводах по низшей мере 7 степ. той же 19 ст. на четыре года, Шулепникову—к лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в местах Сибири не столь стдаленных по 2 степ. 20 ст. улож. о наказ., и Дирдовского—к лишению всех особенно лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке на житье в отдаленных губерниях, кроме сибирских, по 4 степ. 33 ст. улож. о наказ., а именно—Олонецкую. При назначении определенных выше наказаний подсудимым, за исключением Панкратова и именующего себя Борисовичем, суд принял во внимание и признанные им за ними уменьшающие вину обстоятельства, но как определение рода степени и меры наказаний сим двум подсудимым последовало в силу таковых правил о совокупности, при коих признанные судом для них уменьшающие вину обстоятельства не могли иметь места, то суд, руководствуясь 153 ст. улож. и 906 II разд. В. С. У., признал справедливым, принимая во внимание оные, понизить следующие им по закону наказания Панкратову на две степени, а именующему себя Борисовичем на одну и определил: Панкратову—ссылку в каторжные работы в рудниках по высшей мере 2 степ. 19 ст. на двадцать лет, а именующему себя Борисовичем—ссылку в каторжные работы в крепостях по высшей мере 4 степ. той же 19 ст. на двенадцать лет, с лишением обоих всех прав состояния. А потому киевский военно-окружный суд, на основании 250, 251, 950, 951, 976, 977, 1455, 9, 115, 119, 153, 134, 152, 18, 19 степ. 2, 3, 4, 7; 20 ст. 1 и 2; 31 степ. 5 и 33 степ. 4 улож. о наказ., 279 ст. XXII кн. С. В. П. и 18 пункта положения об охране, приговорил: 1) по лишению всех прав состояния, с последствиями в 22—28 ст. ст. указанными, сослать в каторжные работы подсудимых: Панкратова в рудниках на двад-

цать лет. Шебакина в рудниках на двенадцать лет, именующегося Борисовичем в крепостях на двенадцать лет, Каравлова на заводах на четыре года; сослать в ссылку на поселение в Сибирь подсудимых: Васильева в местах отдаленнейших, а Дашкевича и Шулепникову в местах не столь отдаленных; 2) по лишении всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, с последствиями в 43 и последующих статьях Улож. о наказ. определенных, сослать на жительство подсудимых: Шебакину—в Тобольскую губернию, а Дирдовского—в Олонецкую губернию; 3) с вещественными доказательствами, по миновании в них надобности, поступить согласно 916 ст. II разд. В. С. У.; 4) судебные по делу издержки взыскать с имущества подсудимых, признанных виновными, согласно 1128, 1129, 1148 и 1149 ст. II разд. В. С. У., а в случае несостоятельности всех их, принять за счет казны согласно 1115 ст. II разд. В. С. У. Подсудимых: Завадовского, Степанова и Затворницкого, по недоказанности обвинения, считать по суду оправданными вообще, а подсудимого Дирдовского лишь по обвинению в принадлежности к преступному сообществу, согласно 1 п. 910 ст. II разд. В. С. У. Приговор, по вступлении в законную силу, представить его вступу киевскому, подольскому и волынскому и временному черниговскому и полтавскому генерал-губернатору на утверждение, согласно 19 п. положения об охране.

Председатель генерал-лейтенант Кузьмин.

Военный судья генерал-майор Кониский.

Временные члены: полковник Извеков, полковник Ф. Шульц, полковник Гловацкий, полковник Ярошев¹.

¹ Д. К. В. Ок. С. № 1.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ВАННОВСКИЙ
О «МЯГКОСТИ» ПРИГОВОРА

Копия.

Военный министр
по главному
военно-судному управ-
лению
19 ноября 1884 г.
№ 144

Секретно.

Милостивый государь
Александр Романович.

Министр внутренних дел довел до моего сведения, что в начале сего ноября в киевском военно-окружном суде было рассмотрено дело о 12 лицах, обвинявшихся в государственных преступлениях, причем из числа подсудимых: четверо приговорены к ссылке в каторжные работы от 20 до 4 лет, пять человек к более слабым наказаниям и, наконец, остальные трое оправданы.

Принимая во внимание, что передача дел по государственным преступлениям на рассмотрение военных судов допускается исключительно при наличности таких обстоятельств, существование которых в деле дает право рассчитывать на применение к вине подсудимых строжайших наказаний из числа указанных в подлежащих статьях закона и что и в настоящем случае эти же обстоятельства подали повод к преданию вышеозначенных обвиняемых военному суду,—граф Толстой пришел к заключению, что, по существу возникших на подсудимых обвинений, приговор о них киевского военно-окружного суда не может быть не признан за весьма слабый.

Сообщая вашему высокопревосходительству означенное мнение графа Толстого относительно состоявшегося в начале сего месяца приговора киевского военно-окружного суда по делу о государственном преступлении, я, имея в виду, что обвиняемые в этом преступлении были преданы военному суду распоряжением вашего высокопревосходительства, покорнейше прошу уведомить меня как о состоявшемся у вас взгляде на виновность вышеупомянутых лиц при предании их суду, так равно и о том впечатлении, которое произвел на нас приговор киевского военно-окружного суда по сему делу.

Примите уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности.

Подлинное подписал: Петр Ванновский.

ВЗГЛЯД ДРЕНТЕЛЬНА НА ПРИГОВОР СУДА

На письме Ванновского Дрентельн написал:

В каторгу: Панкратов, Шебалин, Борисович, Караулов; на поселение: Васильев, Дашкевич и Шулепникова и, наконец, на житье: Шебалина и Дирдовский. Не думаю, чтобы каторжную работу, даже на 4 года, можно было признать слабым наказанием; ссылка на поселение и на житье в Сибирь может быть признано слабым только сравнительно с каторгой, в особенности если принять во внимание, что эти лица ничего реального не совершили, а только собирались. Впечатление сделало оправдание троих, но прокурор отказался еще от обвинения 4-х, которые тоже были бы оправданы. Дело заключалось в непрочности обвинения, основанного на излишнем усердии следователей. Перед лицом судей обвинение оказалось несостоятельным. С моей стороны были приняты все меры и в состав суда было назначено два командира полка, один саперного батальона и один старый батальонный командир. Дело рассматривалось в течении семи дней; председатель вел судебное следствие весьма остро и вполне законно, и лица присутствовавшие отзываются с большою похвалою о ведении дела. Приговор я слабым признать не могу, по моему мнению, наказание определено вполне соответственно вине. Что же касается оправдания, то это дело совести судей, и я не думаю, чтобы при недоказанности обвинения суд мог поступить иначе. К тому же я должен прибавить, что оправданные были мною немедленно высланы из края.

Верно: нач. отдела М. Чуйков¹.

24 ноября 1884 года письмо военному министру П. С. Ванновскому было отправлено через штаб войск Киевского военного округа.

¹ Д. № 60.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТСЫЛКЕ В ШЛИССЕЛЬБУРГ¹

Секретно.

Министерство
внутренних дел
Департамент полиции
по 5-му делопроизводству
4 декабря 1884 г.
№ 5158

Господину киевскому, подольскому, волыньскому и временному черниговскому и полтавскому генерал-губернатору.

Во исполнение состоявшегося 8 минувшего ноября приговора киевского военно-окружного суда о 12 лицах, обвинявшихся в государственных преступлениях, признано необходимым приговоренных к ссылке в каторжные работы Василия Панкратова, Аполинария Борисовича, Михаила Шебалина и Василия Караулова заключить в Шлиссельбургскую тюрьму.

Сообщив вместе с сим главному тюремному управлению о доставлении поименованных государственных преступников в С.-Петербург, имею честь уведомить о вышеизложенном ваше высокопревосходительство для сведения.

Товарищ министра внутренних дел, заведывающий полицией, сенатор, генерал-лейтенант Оржевский.

И. д. директора (подпись)¹

XXV

РАСПОРЯЖЕНИЕ О БРИТЬЕ И ЗАКОВКЕ В КАНДАЛЫ

Секретно.

М. В. Д.
Главное тюремное управление
Часть главного инспектора
по пересылке арестантов
10 декабря 1884 г.
№ 1595

Господину киевскому губернатору.

По уведомлению департамента полиции содержащиеся в киевском тюремном замке государственные преступники: Василий Панкратьев², приговоренный в каторжную работу на 20 лет,

¹ Д. № 60.

² Так в тексте: вместо Панкратов написано Панкратьев.

Аполлинарий Борисович и Михаил Шебалин — на 12 лет и Василий Караулов — на 4 года, подлежат отправлению в Шлиссельбургскую тюрьму С.-Петербургской губернии. Сообщая об этом, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство не оставить в зависящем распоряжении об отправлении названных арестантов из Киева в С.-Петербург обыкновенным этапным порядком, с первой очередною арестантскою партией, не иначе, как обритыми и закованными в ножные кандалы, по положению и под строжайшим присмотром в пути¹.

Начальник главного тюремного управления

Галкин-Враский.

За старшего делопроизв. подполковник (подпись)².

XXVI

РАПОРТ НОВИЦКОГО О ТЮРЕМНЫХ БЕСПОРЯДКАХ

Секретно

Начальник
киевского губ. жандармского
управления
11 декабря 1884 г.
№ 4056. Киев

Господину киевскому, подольскому, во-
лынскому, временному черниговскому и
полтавскому генерал-губернатору.

9-го числа сего декабря месяца осужденные арестанты Борисович, Панкратов, Караулов, Васильев и Шебалин, подлежащие по закону заковке в кандалы и бритью волос половины головы, не желали подчиниться этому и оказали сопротивление, через что приходилось каждого из этих арестантов выносить из камер в контору тюремного замка, где, несмотря на сопротивление, кандалы были набиты и головы обриты; во время производства бритья и набития кандалов все прочие политические арестанты, в том числе и женщины, произвели беспорядки в тюрьме, выразившиеся в криках, ругательствах,

¹ Подчеркнуто в подлиннике.

² Д. К. Губ. 1884 г. № 521.

разбитии стекол во всех камерах, дверей и оконных рам, что вызвало необходимость для пресечения дерзких своеволий некоторых из них, в числе 9 человек, перевязать; кроме названных 5 человек, разбили окна, двери в камерах следующие арестанты: Дашкевич, Дирдовский, Шебалина, Шулепникова, Семяновский, Корниенко, Врочинский, Коновальчик, Скворцов, Вадзинский, Рехневский, Рехневская, Левенталь, Пчелкина; дерзче других были: Корниенко, Семяновский, Врочинский, Коновальчик, Вадзинский, Рехневский; Панкратов выломал две железные оконные рамы; он и именуемый Борисовичем, обладая большою физическою силой, вызывают особый над ними осторожный надзор в будущем, в виду заявления их неоднократно мне, что все их внимание сосредоточено на бегстве из-под стражи во что бы то ни стало; Петр Катиниченко не принимал участия в разбитии окон и дверей в виду только болезненного состояния, но заявил, что он солидарен с другими и просил его связать, что не было сделано; более других из осужденных протестовал Васильев, которым и вызваны были прочие арестанты к солидарным действиям и к беспорядкам; Караулов же не выбивал в камере окон и дверей, но на приглашение следовать в контору не согласился, говоря, что он, не разделяя подобных действий, должен подчиняться поневоле требованию других и быть с ними солидарным.

10 декабря, утром, во время отправки и вывода осужденных политических арестантов со двора тюрьмы — в числе 156 человек этапа с уголовными преступниками, — содержащиеся в тюрьме за беспорядки, произведенные 8 сентября в день университетского юбилейного торжества, бывшие студенты св. Владимира и разночинцы, находившиеся в одной общей камере, выходящей окнами на передний фас тюрьмы, в то время, когда этап ссыльных выводился из тюрьмы, выбили также все окна, выломали рамы и все время провожали этап следующими криками и возгласами: «прощайте, мы все вам сочувствуем, будем помнить вчерашний зверский поступок властей», и извинялись, «что накануне не присоединились к беспорядкам», подобными криками они сопровождали этап до тех пор, пока этап не скрылся с их глаз; в этих криках и разбитии окон и рам принимали участие: Носенко, Яценко, Артемьев, Рейнгардт, Драгошевский, Чижевский, Рубисов, Саломаха, Симонов, Дубницкий; все эти десять человек посажены в темный карцер, на хлеб и воду, на 3-е суток; бес-

порядками в числе этих десяти человек более других руководили подпоручик Чижевский, Рейнгард, Артемьев, Драгошевский.

Мельников, Будкевич и Дьяконенко участия в беспорядках не принимали.

Все оставшиеся в тюрьме арестанты, мужчины в числе 23 человек и две женщины, распоряжением и. д. губернатора лишены чаю, содержатся на хлебе и воде и лишены свиданий с родственниками.

Желание и попытки политических арестантов вызвать к общим беспорядкам уголовных арестантов, находящихся в киевской тюрьме в числе 946 человек, остались безуспешными благодаря распорядительности, смелости и настойчивости в действиях опытного смотрителя тюрьмы Симашкина, вызвавшего своевременно в помощь караулу и тюремной прислуге очередную роту от полка.

Борисович грозил смотрителю Симашкину мщением, говоря, что безнаказанно ему не пройдут его действия от сообщников революционной партии, подобно ему, Борисовичу, находящихся на свободе.

Полковник Новицкий¹.

XXVII

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ БОРИСОВИЧА

Секретно.

Киевское губернское
жандармское управление
6 ноября 1885 г.
№ 2623
г. Киев

Господину киевскому, подольскому,
волинскому, временному черниговскому
и полтавскому генерал-губернатору.

Р а п о р т

Личность именовавшего себя дворянином Аполлиналием Алексеевым Борисовичем, который по приговору киевского военно-окружного суда, состоявшемуся 8 ноября прошлого 1884 года, утвержденным вашим высокопревосходительством, по обвинению в государственных преступлениях, в проживательстве по чужо-

¹ Д. № 60.

му виду, бродяжничестве и в покушении на убийство задержавших его лиц и в сопротивлении им, — приговорен, по лишении всех прав состояния, к ссылке в каторжные работы в крепостях на 12 лет, куда он уже и отправлен, — ныне восстановлена предъявлениями фотографических карточек посторонним свидетелям и родному брату, и именовавшийся Борисовичем оказался мещанин города Серпухова Московской губернии Калиник Федулов Мартынов, о чем к сведению имею честь донести, присовокупляя, что о судимости Мартынова мною вместе с сим, к надлежащему сведению, донесено председателю киевского военно-окружного суда за № 2622 и сообщно серпуховской мещанской управе за № 2625.

Начальник управления полковник Новицкий¹.

¹ Д. № 60.

III

КОММЕНТАРИИ

ПОДГОТОВЛЕНЫ В. И. СУХОМЛИНЫМ

ВВЕДЕНИЕ

В. И. СУХОМЛИН

Помещаемые ниже комментарии к воспоминаниям М. П. Шебалина, надеемся, помогут читателям полнее понять эпоху, в которой протекала революционная деятельность автора, и вместе с тем читатели путем ознакомления с противоречивыми показаниями мемуаристов, будут иметь возможность при решении спорных вопросов истории партии «Народная Воля» выработать свою точку зрения на них.

Трудно требовать от авторов примечаний полного беспристрастия при цитировании и оценке тех или иных версий в воспоминаниях современников. Почти всегда предвзятое решение историка-комментатора побуждает его придавать безусловную веру одним свидетельствам или дезавуировать другие, упуская из вида неоспоримый факт, что через большой промежуток времени самые безукоризненно правдивые люди по многим психофизическим причинам могут давать вполне ошибочные показания даже о событиях, в которых они принимали непосредственное участие. Это замечание я приурочиваю главным образом к статье «Роль Г. А. Лопатина в убийстве Судейкина», в которой оспаривается сообщение М. П. Шебалина (см. стр. 150 его воспоминаний), что Лопатин был прислан парижским центром в Петербург с целью контролировать Дегаева, т. е., другими словами, заставить последнего выполнить свое обязательство убить Судейкина.

Хотя здесь и не место вступать в полемику с автором этих примечаний, но все же считаю нелишним напомнить, что,

кроме Мих. Петровича, такое же сообщение делает еще ряд современников, получивших эти сведения непосредственно от представителей центра на парижском съезде, а именно: Н. С. Русанов (Кудрин), Н. М. Салова и я, нижеподписавшийся, твердо помнящий сообщение об этом со стороны М. Н. Ошаниной и Л. А. Тихомирова. Кроме того, я думаю, Михаил Петрович узнал о роли Лопатина со слов никого другого, как В. А. Караулова, приехавшего в Киев после участия в упомянутом съезде. Против этих свидетельств, кроме утверждений Г. А. Лопатина, нет абсолютно никаких других показаний современников. Приведенные в примечании к стр 150 цитаты из книги П. Л. Лаврова и А. Н. Баха никакого отношения к данному вопросу не имеют. Они констатируют только, что Лопатин в свой приезд в Петербург осенью 1883 года был не членом партии, а партизаном, что нет нужды и оспаривать. Ведь можно оставаться партизаном и в то же время взять на себя исполнение того или другого отдельного поручения дружественной партии. Это подтверждает сам Лопатин, говоря, что «предлагал свою шпагу» «Народной Воле» осенью 1883 года перед поездкой в Россию.

Само собой разумеется, однако, что показание такого крупного и безусловно честного человека, как Г. А. Лопатин, которого, надеемся, никто не заподозрит в сознательном извращении истины, имеет огромный вес, с ним необходимо серьезно считаться; но, тем не менее, никогда не надо забывать, что *errare humanum est* и что при наличии целого ряда авторитетных противоположений этот вопрос, во всяком случае, пока еще нельзя считать выясненным. Выход из затруднения явится лишь тогда, когда удастся более или менее убедительно объяснить причину ошибки той или другой стороны.

То или иное решение этого вопроса имеет огромное значение главным образом для оценки роли членов старого Исполнительного комитета в деле ликвидации дегаевщины. Ведь отказ такой далеко не сентиментальной деятельницы, как М. Н. Ошанина, от услуг Лопатина из-за сентиментальных и наивных соображений, что он-де «из нравственной брезгливости отшатнется навек от группы» и т. д., является для нее, как члена Исп. комитета, не только ошибкой, но

и преступлением по отношению к партии, а таких преступлений, насколько известно, за нею не числилось.

Это обстоятельство и желание посылить способствовать реабилитации поведения в деле ликвидации дегаевщины членов старого Исп. комитета — высокочтимой Марьи Николаевны Ошаниной и даже Л. А. Тихомирова, оставшегося в моей памяти симпатичнейшим человеком, несмотря на его последующее ренегатство, объясняемое мною постигшим его психозом (нечто вроде религиозной мании), дают мне смелость воспользоваться случаем и дать следующее объяснение загадке ошибочности воспоминаний Г. А. Лопатина.

Я считаю, что Г. А. Лопатин выдавался не только умом, дарованиями и мужеством, но и был добрейшим и корректнейшим в общении человеком. Все, кто общался с ним, не могли не проникнуться к нему любовью и уважением, несмотря на некоторые, свойственные ему, как и всем людям, слабости, бывшие в то же время зачастую и достоинствами. Он был талантливым, увлекающим слушателей рассказчиком и, подобно Тургеневу и другим мастерам художественного рассказа, часто украшал рассказ красочными подробностями, которые рисовало ему его живое воображение. Ни для кого из знавших его не секрет, что эти подробности им излагались в разных вариантах, всегда интересных и поучительных для слушателей. Никогда ни хватовства, ни сознательного извращения истины в них не было, и поэтому личность рассказчика неизменно оставалась для слушателей привлекательной, чарующей. Что касается приписывания Лопатиным себе самого факта разоблачения Дегаева, то это может быть объяснено тем, что после многих лет, отделенных от события 20-ю годами, проведенными в крепости, в памяти Лопатина сохранилась главным образом яркая, потрясающая картина покаяния Дегаева, которого Лопатин, путем искусно поставленных вопросов, принудил снова принести повинную.

Так оно, конечно, на деле и происходило. Лопатин только, за давностью лет, забыл, что эти, наводящие Дегаева на покаяние, вопросы были им ему задаваемы по поручению Ошаниной и Тихомирова. Он так привык быть внепартийным партизаном, что ему прямо неприятно было помнить, что в данном деле он был, вопреки обыкновению, агентом и

исполнителем, а не самостоятельным деятелем. Возможно, что здесь имел место указанный Фрейдом в его психоанализах механизм процесса «забывания неприятных моментов жизни», особенно связанных с самолюбием или самооценкой. Цену же себе Лопатин, разумеется, знал и был далек от ее преуменьшения, скорее, наоборот, он был чересчур самонадеян и, благодаря частым жизненным удачам и привычке рисковать, так сказать, верил в свою звезду, за что и поплатился так тяжело и горестно в момент своего ареста, когда звезда ему неожиданно изменила, и, несмотря на всю его ловкость и физическую силу, ему не удалось проглотить клочков папиросной бумаги, на которой он самонадеянно заносил, не шифруя, адреса партийных работников.

Между тем яркая, потрясающая картина беседы с Легаевым в трактире Палкина живо рисуется в памяти и оттесняет на второй план, в тень сознания, его переговоры в Париже с членами Исп. комитета. Как это ни странно, но Лопатин видел свой *point d'honneur* в том, что он всегда действовал самостоятельно, не вступая в ряды какой-либо партии. Это тоже было одной из его слабостей. Он даже жандармам считал нужным объяснять, что его свободолюбивой натуре чуждо подчинение партийной дисциплине, и лишь на суде он решил, наконец, скрепя сердце, признать себя агентом Исп. комитета.

В заключение обращаю внимание читателей на следующие, подчеркнутые мною, слова Лопатина, приведенные в том же примечании к стр. 150-й:

«Непосредственного участия в этом деле (т. е. в убийстве Судейкина) он (Лопатин) не принял, объяснив впоследствии, кому следует, что он считал неприличным для себя участвовать в одном деле с двойным предателем и выпустить этого предателя живым, а убить его самовольно, т. е. портить чужие расчеты собственными своевольными изменениями плана, он не считал себя в праве».

Этими словами Герман Александрович как бы невольно проговаривается, что план Исп. ком-та ему был известен. Не мог же он доверять предателю, что жизнь ему была, так сказать, формально гарантирована партийным постановлением. Трудно также допустить, чтобы Лопатин подоб-

ные вопросы решился выяснять путем переписки с Парижем, даже прибегая к шифровке писем.

Я, конечно, не претендую на то, чтобы считать свои объяснения причины aberrации памяти у Герм. Александровича исчерпывающими или для всех убедительными. Я хотел только наметить один из путей, могущих в будущем привести к решению вопроса, чем объясняется данное противоречие в показаниях, одинаково, казалось бы, добросовестных мемуаристов.



КОММЕНТАРИИ

I. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

(К стр. 124)

Труды авторов, о которых здесь упоминает М. П. Шебалин, печатались как отдельными изданиями, так и в журналах статьи. См. А. Н. Бах «Записки народовольца», изд. «Молодой гвардии», М. 1930; И. И. Попов «Минувшее и пережитое», изд. «Колоса», Л., 1924 (в настоящее время выпускается дополненное издание «Академией»), а также «Автобиография» в словаре «Граната» (приложение к 40 тому), и кроме того статья «Революционные организации в Петербурге в 1882—1885 гг.» в сб. «Народовольцы после 1 марта», изд. политкаторжан, М., 1928. Касается этого периода И. И. Попов также в брошюрах-биографиях П. Ф. Якубовича и Г. А. Лопатина (в серии «К 50-летию «Нар. В.», изд. политкаторжан). У В. И. Сухомлиной см. серию статей «Из эпохи упадка «Народной Воли» в «Каторге и ссылке» кн. XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, а также статью «О предательстве Овчинникова» в кн. XXIV, и статью о процессе 21-го в сб. «Нар. В.» перед царским судом». Из других мемуаристов см. Г. Н. Добрускина «Автобиография» в словаре Граната, статью в сб. III «Народовольцы», изд. политкаторжан, и М. Н. Костюриной-Емельяновой статью в кн. XXIV «Кат. и сс.», а также «Автобиография» Н. М. Саловой в словаре Граната. Из исследовательских работ о «Молодой «Нар. В.» следует отметить статьи С. Н. Валка (по архивным источникам) в «Проблемах марксизма», кн. 1-я за 1930 г., «Каторге и ссылке» кн. 75 и в «Красн. арх.» в кн. 36, 37, 38 (документы к процессу 21-го и примеч. к ним). Все эти публикации представляют собою отрывки из специальной работы о «Молодой «Нар. В.», подготавливаемой автором к печати. Необходи-

димо упомянуть также о статье Б. Г. Кубалова об Овчинникове в кн. 12 «Кат. и ссылки», написанной по материалам самого Овчинникова, и о статье В. Я. Богучарского об Якубовиче в № 5 «Русск. богатства» за 1911 г. Тому же П. Ф. Якубовичу посвящена статья К. Обручева «Год жизни П. Ф. Якубовича» в кн. VII «Голос мин.» за 1914 г. (написана по материалам обвинительного акта). Наконец, самим П. Ф. Якубовичем дана краткая биография М. П. Шебалина в т. I «Галереи шлиссельбургских узников» (СПб., 1907) и некролог С. Н. Кривенко в кн. VI «Русск. бог.» за 1906 г., в котором есть указания на принадлежность Кривенке некоторых революционных произведений того времени. Есть материалы, касающиеся «Молодой «Нар. Воли», также в отчете «Процесс 21-го» (по записи брата П. Ф. Якубовича, Влад. Петр. Якубовича), изданном в Женеве в 1888 г. с приложением заметки П. Л. Лаврова о Лопатине.

II. К БИОГРАФИИ Р. Ф. ФРАНК-ЯКУБОВИЧ

(К стр. 125)

Роза Федоровна Франк, впоследствии Якубович (жена Петра Филипповича Якубовича), была близким человеком М. П. Шебалину со времени отроческих лет и до конца ее жизни (умерла 9 апреля ст. ст. 1922 г.). Родилась она 21 марта 1861 г. в Каменец-Подольске. Детство и юность Розы Федоровны описаны П. Ф. Якубовичем в его повести «Юность» (первоначально напечатана в журнале «Русск. бог.» в 1898 г.). Роза Федоровна выведена там под именем главной героини — Ловицкой. Среди друзей Розы Федоровны в эту пору находился, между прочим, и М. П. Шебалин. Окончив гимназию, Роза Федоровна едет в Петербург и здесь, наряду с занятиями медицинскими предметами на женских курсах, ведет кружковую работу среди молодежи и рабочих. К 1882 году относится первая справка о ней департамента полиции «об удалении Розы Франк принудительным образом на родину» за ее политическую деятельность («Лица, занимающиеся социально-революционной пропагандой в Каменец-Подольске, ведут сношения с своими единомышленниками в Петербурге через посредство слушательницы врачебных курсов еврейки Розы Федоровны Франк», — говорится в этой справке департамента). Среди ее кружковых учеников был одно время Тимофей Михайлов, будущий первомайовец. Она встречалась также с Ры-

саковым и Гриневским. Осенью того же 1881 года она знакомится через посредство М. П. Шебалина с П. Ф. Якубовичем при следующих обстоятельствах. Якубович П. Ф. был направлен М. П. Шебалиным, своим университетским товарищем, к Розе Федоровне за №№ «Нар. воли». Знакомство произошло на улице, случайно, по дороге в дом предварительного заключения, куда П. Ф. Якубович ходил на свидание к своему университетскому товарищу О. И. Нагорному, а Роза Федоровна к своему (и Шебалина) каменецкому знакомому Н. П. Коновкину. К весне 1883 г. относится знакомство Розы Федоровны (и П. Ф. Якубовича) с Дегаевым. Роза Фед. отнеслась первоначально очень недоверчиво к Дегаеву (тогда уже предателю), как и некоторые другие тогдашние революционеры. 15 ноября 1884 г. Роза Федоровна была арестована на улице в один день с П. Ф. Якубовичем, но в разных местах. В справке департамента полиции (от 3 окт. 1892 г.) говорится о ней: «Франк привлекалась к дознанию о руководящем кружке партии «Нар. Воля» в виду того, что ее фамилия найдена в записке государственной преступницы Неонилы Саловой: находилась в близких сношениях с государственным преступником П. Якубовичем, сосланным в каторжные работы на 18 лет. Из переписки Франк с Якубовичем усматривается, что Якубович назначал в квартире Франк свидания другим лицам. По высочайшему повелению Франк 1 апреля 1887 г. выслана в Вост. Сибирь под гласный надзор полиции на 3 года». В Сибири, в Якутске, она принимала участие в Якутской драме 22 марта 1889 года и получила за это 15 лет каторжных работ, замененных тогда же 4 годами. Каторжные работы отбывала в Вилюйске, в той самой тюрьме, в которой в 70-х гг. помещался Н. Г. Чернышевский. Осенью 1893 г. Розе Федоровне удается переехать в с. Кадаю, Забайкальской обл., куда перед тем вышел в вольную команду П. Ф. Якубович. Здесь 22 августа 1894 года в Горном Зерентуе состоялась свадьба Розы Федоровны и П. Ф. Якубовича, через 10 лет после их ареста. Приезд Розы Фед. в Кадаю описан в т. II «Мира отверженных» в главе «Среди сопок», где Роза Федоровна выведена под именем «сестры» автора. С тех пор они уже не разлучались до самой смерти Петра Филипповича. Из стихотворений П. Ф. Якубовича очень многие посвящены Розе Фед. (См. все эти факты, даты и официальные ссылки в биографии Р. Ф. Франк-Якубович в сб. «Якутская трагедия», изд. политкаторжан, М., 1925 г., стр. 171—184).

III. П. Ф. ЯКУБОВИЧ И «РУССКОЕ БОГАТСТВО» 80-х гг.

(К стр. 125)

Журнал «Русское богат.» первоначально (1877 г.) был журналом сельскохозяйственным. Отсюда и его название. С 1880 года «Русское богатство» стало издаваться артелью писателей во главе с С. Н. Кривенко. Редакция журнала помещалась тогда на Знаменской ул. дом № 11, в «маленьких коморочках на заднем дворе одного из старых и грязных домов на Знаменской ул.» — говорит об этом А. М. Скабичевский в своих «Литерат. воспомин.» (изд. ЗИФ, стр. 325). Об этом помещении и говорит М. П. Шебалин. Артельным журналом «Русск. богат.» оставалось в 1880, 1881 и 1882 гг., при чем в том же 1882 году оно перешло в руки Л. Е. Оболенского. Что касается участия в «Русск. бог.» П. Ф. Якубовича, то в первое время мы там совсем не встречаем его произведений. Это относится именно к 1880 году, когда П. Ф. Якубович был занят еще студенческими делами и изданием сборника «Отклик». Но с 1881 года П. Ф. Якубович начинает все чаще и чаще появляться в «Русск. бог.» При этом он выступает здесь и как поэт, и как литературный критик, и как публицист. «П. Ф. Якубович писал критические и публицистические статьи в «Русском бог.» в 1882 году под псевдонимом «М. Гарусов» и еще каким-то, — говорит об этом М. П. Шебалин. — Он мне сам говорил об этом, помнится, тогда же, то есть в 1883—1884 годах. По его словам вспоминаю, что и Шаталов, его приятель и товарищ по историко-филологическому факультету, вместе с которым он издавал сборник «Отклик», работал тоже в «Русск. бог.», когда другие «артельщики» как-то забросили журнал, перестав давать материал в него» (цит. по неизд. заметкам для настоящего издания). Эти указания М. П. Шебалина очень ценны для изучения тогдашней литературной деятельности Якубовича. Они дают возможность раскрыть несколько статей Якубовича, напечатанных под псевдонимом «М. Гарусов», принадлежность которых Шебалину не была известна. Так, в мартовской книжке «Рус. бог.» за 1882 год были напечатаны следующие произведения Якубовича, как переводные, так и оригинальные, как стихотворные, так и прозаические. На стр. 96—129 большая статья за подписью: «П. Я. Якубович»: «Песни Мирзы-Шаффи» (Фр. Боденштедта). К статье приложен перевод 25 пьес Боденштедта. В № 4 на стр. 101—102 и на стр. 114 два стихотворения за подписью «П.

Якубович («Русск. бог.» апрель 1882). Там же статья: «Охранитель в маске радикала» (Об Ив. Аксакове) за подписью: «М. Гарусов», на стр. 33—45, и «Внутреннее обозрение» тоже за подписью: «М. Гарусов», стр. 45—57. В № 6 «Русск. бог.» имеются опять 3 стихотворения за подписью: «П. Якубович», на стр. 174—175, 176, 177, и статья «М. Гарусова» «Мнимое оскудение талантов» в серии «Литературная летопись», стр. 59—79. В № 7 «Русск. бог.» за 1882 г. еще три стихотворения за подписью «П. Якубович» и статья «Литературная летопись. — Наши молодые беллетристы», стр. 1—27, за подписью: «М. Гарусов». Тому же Якубовичу, за подписью: «М. Г. — в» (И. Гарусов), в том же номере принадлежит заметка: «Селифановщина. — Беседы с читателем о наших нравах», стр. 46—54. Наконец, в № 8 «Русск. бог.» за 1882 г. за подписью «М. Гарусов» напечатана большая статья П. Ф. Якубовича: «Гамлет наших дней» (Рассказы Всев. Гаршина), стр. 58—80, и заметка (без подписи) о новых журналах, стр. 79—86. Из всего этого видно, насколько ценны для изучения литературной деятельности П. Ф. Якубовича указания, имеющиеся в воспоминаниях М. П. Шебакина.

IV. И. И. ПОПОВ и В. Н. ФИГНЕР о И. Н. КОМАРНИЦКОМ

(К стр. 126)

О приезде Комарницкого в Петербург упоминают также и другие мемуаристы того времени, напр. И. И. Попов. В своей «Автобиографии» он пишет: «В конце января (1883 г.) в Петербург от Фигнер приехал Комарницкий, и в беседах с ним мы установили факт, что «Народная Воля» еще никогда не была так сильна как на рубеже 1882—1883 гг.» (Словарь Граната, стр. 338). И. И. Попов имеет в виду, что в этот момент оставалась совершенно нетронутой вся военная организация «Нар. Воли», представлявшая, несомненно, очень реальную силу (до предательства Дегаева), затем параллельно военной организации имелись очень серьезные связи среди рабочих, руководимые особой организацией, примкнувшей к «Нар. В.», во главе с своим Центр. комит., из Флерова, Бодаева и самого Попова, наконец, имелись также большие связи среди интеллигенции, в частности среди молодежи. Были также расчеты на собственную типографскую технику, которая вскоре и была поручена М. П. Шебакину. Были и терро-

ристические планы, а главное была еще на воле В. Н. Фигнер, связывавшая все эти группы преемственной нитью со старым Исп. комит. Приезд Комарницкого помог петербургским народо-вольцам выяснить все это положение и естественно окрылил их большими надеждами. В Петербург Комарницкий приехал из Харькова от В. Н. Фигнер. «В Харькове я нашла небольшую местную группу из хороших и энергичных людей, — пишет сама В. Н. Фигнер. — Это были: Комарницкий, Анненков, Александр Кашицев, Немоловский (умер в Шлиссельбурге) и Линицкий, который позже устранился от деятельности. Главной и можно сказать единственной деятельностью группы была пропаганда среди рабочих и занятия с ними». Сочин., т. I, стр. 311). Комарницкий Ив. Ник. перед этим входил (будучи студентом) в московскую группу Теллалова и прошел там хорошую школу революционного работника. Командированный В. Н. Фигнер в Петербург, он и там, как видно из воспоминаний М. П. Шебакина и И. И. Попова, успешно выполнил поставленные перед ним задачи и сообщил местной революционной работе должный темп напряженности. К сожалению, ему пришлось сравнительно скоро выехать из Петербурга. Попов И. И. рассказывает об этом так: «Судейкин узнал о пребывании Комарницкого в Петербурге, и ему нужно было бежать из Петербурга, но так, чтобы миновать вокзал. Дело это устроил Бодаев совместно с С. С. Салазкинским, Е. И. Шмаровым и бестужевкой А. В. Кузнецовой. Комарницкого увезли из Петербурга на тройке в Любань, откуда он поехал уже по железной дороге. В Москве, однако, его арестовали и выслали на 5 лет в Вост. Сибирь» (см. сб. «Народовольцы после 1 марта», изд. политкаторжан, стр. 52).

V. Г. А. ЛОПАТИН О «СОЛОМЕННОМ» КОМИТЕТЕ

(К стр. 128)

Каким образом возникло у Г. А. Лопатина прозвание «Соломенный исполн. комитет» и к кому именно он его относил, об этом Г. А. Лопатин вполне точно рассказал в заметке по поводу смерти В. А. Караулова (умер в 1911 г.). «Впервые я услышал имя Караулова, — пишет Г. А. Лопатин, — от Дегаева в тот памятный вечер, когда, сидя за чаем в трактире Палкина, он внезапно развернул предо мною картину своего предательства, своего по-

кайния, взятого на себя кровавого поручения, своей новой деятельности, планов приготовления и пр. Это был жуткий и страшный момент... В этот вечер я узнал от Дегаева, что существующий в данную минуту Исполнительный комитет «Нар. Воли», состоящий из него, Дегаева, двух братьев Карауловых, Якубовича и Усовой, весь известен Судейкину и действует под его эгидой и с его милостивого соизволения, что, впрочем, неизвестно никому из членов этого комитета (прозванного мною после «Соломенным»), кроме одного Дегаева. Он прибавил, что, в виду предстоящей «казни» Судейкина и имевших последовать затем строгостей, он, по поручению парижан, выслал одного из Карауловых в деревню, а другого (Василия Андреевича) — в Париж. И, действительно, приехав в Париж (в декабре 1883 г.) вскоре после смерти Судейкина, я застал там Караулова и впервые познакомился с ним» (См. журнал «Современник», № 1 за 1911 г., или об. статей Г. А. Лопатина, изд. ГИЗа, ред. А. А. Шилова, Петроград, 1922, стр. 158—159). Для большего уточнения этого рассказа представляется необходимым установить, когда именно происходил разговор Лопатина с Дегаевым в трактире Палкина. Такую хронологию помогает определить другое автобиографическое показание Лопатина, его письмо к В. В. Водовозову, где он устанавливает такие даты: в сентябре 1883 года Дегаев был за границей для свидания с Тихомировым и Ошаниной (это была вторая заграничная поездка Дегаева, о первой см. примеч., стр. 332). В том же сентябре месяце Г. А. Лопатин вел переписку с М. Н. Ошаниной из Лондона (см. прим., стр. 334), стало быть находился тоже вне Петербурга. Таким образом, в Петербурге Лопатин появляется не раньше второй половины октября месяца 1883 года. Это подтверждается также свидетельством «Хроники» ген. Шебеко, на стр. 261, в которой (по изд. 1906 г.) говорится о Лопатине: «Из его памятной книжки видно, что 23 октября 1883 года он был уже в Петербурге». Появившись в Петербурге, Лопатин, по его собственным словам в вышецитированном письме к В. В. Водовозову, «быстро наткнулся на Дегаева, через месяц уже заподозрил его двуличность (ук. сб., стр. 14). О самом разговоре у Палкина, который таким образом происходил не раньше конца октября 1883 года или начала ноября, нет печатных воспоминаний Г. А. Лопатина, а сохранились только устные его передачи. Г. А. Лопатин рассказывал именно, что в тот вечер у Палкина он стал спрашивать об Одессе Де-

гаева, как именно состоялся его побег (как известно мнимый и подстроенный по уговору с Судейкиным), а так как технику побегов Лопатин на собственном примере знал в совершенстве и его обмануть было трудно, то Дегаев под рядом перекрестных вопросов скоро сбился в своем рассказе и попал в тупик. Тогда, видя, что дальнейшее заpiresательство все равно не поведет ни к чему, он покался и перед Лопатиным и рассказал ему всю правду. С этого момента Лопатин взял (по собственной инициативе) Дегаева под неусыпное наблюдение и заставил его довести успешно до конца дело с организацией убийства Судейкина.

VI. КАРМАННАЯ ТИПОГРАФИЯ АНДРЖЕЙКОВИЧА

(К стр. 129)

Андржейкович С. А. работал перед тем (в апреле — мае 1883 г.) в типографии, организованной Н. К. Паули (впоследствии провокатор) и С. А. Ивановым в доме № 30 по Ковенскому пер. и просуществовавшей всего с 1 по 7 мая. Об этой типографии рассказывает сам С. А. Иванов в шлиссельбургских письмах к П. В. Карповичу, напечатанных в сб. «Народовольцы 80-х и 90-х годов», изд. политкаторжан, М. 1929, стр. 41—43. Андржейкович работал там в качестве приходящего техника над выпуском брошюры (написанной С. Н. Кривенко) «Чего ожидать от коронации». Арестован Андржейкович был 1/13 июня 1883 г. (см. в примеч. к указанным письмам С. А. Иванова и в «Обзоре важнейших дознаний» за первую половину 1883 г.). О работе Андржейковича в «летучей типографии» см. также в воспоминаниях И. И. Попова: «К августу 1882 года в нашей группе, — говорит И. И. Попов, — кроме гектографской и фотографической мастерской, имелась и летучая типография, помещавшаяся вся в чемодане. Рама-ящик был сделан по особому рисунку, так что набор в каждый момент мог быть закреплен и уложен, не разбирая, в чемодан. На этом станке работал С. А. Андржейкович, внук Бенгисена, одного из убийц Павла I. Андржейкович делал набор в частных квартирах. Ему помогал и Паули и наборщик Никвист», «Автоб.», словарь Граната, стр. 338). И в другой статье: «У петербургских народовольцев в то время (весна 1883 г.) еще не было типографии. М. П. Шебакин только что приступил к организации этого предприятия. У нас же (т. е. у рабочей группы) была переносная летучая типография. В мае месяце мы спасли, как вы-

разился С. А. Иванов, честь партии, напечатав прокламацию от имени «Народной Воли» по поводу коронации Александра III. Печатали ее Андржейкович, наборщик Никвист, член нашей группы, и Паули. Никвист пытался напечатать эту прокламацию в типографии Академии наук, на 8-й линии Васильевского острова, но был накрыт, бросил набор, успел скрыться и перешел на нелегальное положение. Тогда Андржейкович снял комнату, как он говорил, «у глухой чухонки в Коломне», и, якобы справляя новоселье, с Паули и Никвистом напечатали коронационную прокламацию» (См. сб. «Народовольцы после 1 марта», стр. 67—71). Они не напечатали, а собственно, как это видно из вышеуказанных писем С. А. Иванова, допечатали, не прокламацию, а брошюру по поводу коронации. Хорошо зная Андржейковича, И. И. Попов дает также (в книге «Минувшее и пережитое», изд. «Колоса», Петроград, 1924 г.) интересную характеристику его личности. «Человек идейный, прекрасно говоривший на нескольких европейских языках, С. А. бросил с 7 класса гимназию и пошел в революцию. Он было хороший рисовальщик и делал нам виньетки и обложки для брошюр. Между прочим, он написал карандашом портрет Желябова, которого знал лично. Я, встречавший Желябова, сделал некоторые указания Андржейковичу, кое-кто еще внес поправки, Андржейкович снова перерисовал портрет, который вышел удачным, и мы издали его в большом количестве экземпляров. Фотографии Желябова не было, а силуэты, зарисованные на суде, тогда еще не были известны. Таким образом, портрет Желябова, нарисованный Андржейковичем, был единственным изображением революционера. Андржейкович изучил граверное искусство и технику типографского дела, был недурным наборщиком и оказывал партии большие услуги. Страдающий острым ревматизмом, С. А. был человеком неутомимой энергии и отваги, умел, благодаря сильной воле, преодолевать физическую боль и работать, как здоровый. Большой идеалист, с прекрасным сердцем, Андржейкович напускал на себя скептицизм и доказывал, что из революционеров ценен лишь тот, кем руководит не идеология, а злоба к правящим сферам и даже месть. Впоследствии, в 1889 г., я с ним встретился в Красноярске. Ссылка измучила его. Болезнь приняла острые формы, материально он сильно нуждался и к своему революционному прошлому относился иронически, но по существу остался идеалистом» (ук. соч., стр. 93—94).

VII ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. А. ПРОТОПОПОВА

(К стр. 136)

Среди радикальной интеллигенции 70-х и 80-х гг. М. А. Протопопов получил широкую известность своей статьей «Литературная злоба дня», напечатанной в январской кн. «Отеч. записок» за 1877 год под псевдонимом «Н. Морозов». В 1878 г. он сотрудничал в газете Д. К. Гирса «Русская правда», где вел обзор печати под псевдонимом «А. Горшков», много читавшийся и привлекавший к себе большое внимание. В 1880—1882 гг. Протопопов сотрудничал в «Русском богат.», где он писал под разными псевдонимами («А. Горшков», «Л. Алексеев» и др.) статьи литературно-критические и публицистические. «Протопопов писал в ту пору очень бурные статьи, — говорил о нем впоследствии Л. Мартов, сравнивая Протопопова 90-х гг. с Протопоповым 70-х гг., — не в обиду будь сказано почтенному публицисту, в его тогдашних сочинениях было много жизни. Зато, — прибавляет Мартов о Протопопове 90-х гг., — теперешние произведения Протопопова выгодно и своеобразно отличаются присутствием в них «божественного» элемента» (См. Ю. Мартов «Общественные и умственные течения в России», «Книга», Ленинград—Москва, 1924, стр. 150, примеч.). О тогдашнем Протопопове см. также у Н. С. Русанова «На родине», изд. политкаторжан, М. 1931, стр. 172, 230—231 и др. К этим же годам относятся тесные связи Протопопова с революционными кругами. В письмах С. А. Иванова к П. В. Карповичу есть, между прочим, такое место о петербургских радикалах-литераторах: «В Петербурге и в Москве у меня было и прежде несколько знакомых среди радикалов-литераторов, а за это время (1882—1883) прибавились еще и другие. У одного из последних, бойкого и талантливого публициста того времени, я прожил тогда больше месяца и довольно хорошо сошелся с ним. По моему мнению, из всех тогдашних литераторов-радикалов (даже «легальных» революционеров, если хотите) это был человек, наиболее близкий нам по духу, характеру и искренности и в особенности по готовности на всякий риск, на всякий шаг, хотя бы он и завел его неизбежно в тюрьму или в нелегальное положение» (сб. «Народовольцы 80-х и 90-х гг.», изд. политкаторжан, М. 1930, стр. 54). В примечании к этому месту (см. стр. 64) высказывается предположение, что тут идет речь о

С. Н. Кривенко. Но это несомненная ошибка. Характеристика такого рода гораздо более подходит к М. А. Протопопову, с которым тогда С. А. Иванов действительно встречался. К этому же времени относится сотрудничество Протопопова в «Летучих листках», печатавшихся в типографии М. П. Шебалина, о чем говорится достаточно определенно в тексте. Предполагалось также его участие в «Вестн. «Народной воли». Летом 1883 года на квартире Протопопова жил Дегаев. В начале 1884 года Протопопов примкнул к группе «Молодой «Нар. Воли» и был с нею связан через Якубовича (см. примечания С. Н. Валка в 36 кн. «Кр. арх.», стр. 166). В том же году Протопопов был арестован и после 6-месячного заключения выслан административным порядком в родной город Чухлому на несколько лет. По возвращении из ссылки он продолжал свою литературную работу, но к революционной деятельности не возвращался. Умер в 1915 году.

VIII. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ К ДЕГАЕВСКОЙ ПРОВОКАЦИИ

(К стр. 137)

Такое же неблагоприятное впечатление при первой встрече Дегаев производил и на других революционеров. Так, Г. Н. Добрускина пишет в своей «Автобиогр.»: «На курсах близко сошлась с однокурсницей Софьей Сладковой, поселились вместе на Петербургской стороне, на Б. Дворянской, и устроили у себя конспиративную квартиру. Здесь встречались народовольцы; у нас же позже происходили переговоры между народовольцами и пролетариатами. К нам же после своего мнимого побега явился и Дегаев. Он произвел на меня отталкивающее впечатление своими бегающими глазами. Инстинктом почувствовала я в нем предателя. Я высказала Куницкому свои сомнения. О провокации его еще тогда не знали» (Словарь Граната, стр. 122). Рассказ Г. Н. Добрускиной относится к весне 1883 года. К весне же 1883 года относится упоминание о встречах с Дегаевым в том же Петербурге у С. А. Иванова в его шлиссельбургских письмах к А. В. Карповичу. «В это время я, между прочим, — говорит С. А. Иванов, — не раз встречался с Дегаевым. С ним тогда ужасно носилась петербургская группа. Кличка его: «Петр Алексеевич», просто не сходила у них с языка. На меня он произвел тогда до-

вольно бесцветное впечатление, не импонируя ни особой эрудицией, ни даром слова, ни способностями» (См. сборн. «Народовольцы 80-х и 90-х гг.», стр. 54). В мае же 1883 года встречался с Дегаевым И. И. Попов: «В мае Дегаев (Петр Алексеевич) приехал в Петербург после побега, устроенного ему жандармами. У него были большие полномочия, и он занял центральное положение. На меня своими бегающими глазами он произвел неблагоприятное впечатление» («Автобиогр.» словарь Граната, стр. 338—339). Тем не менее, как говорит тот же И. И. Попов, но в другой своей статье: «Никто не подозревал его в предательстве». (Сб. «Народовольцы после 1 марта», стр. 63). Еще более характерное место о Дегаеве и отношении к нему петербургской организации (чрезвычайно напоминающее позднейшую историю провокации Азефа) имеется у того же автора И. И. Попова в книге «Минувшее и пережитое», изд. «Колос», Петерб., 1924 г.). В виду большого интереса приводим его полностью: «Провал в Харькове 1883 года В. Н. Фигнер, а позднее аресты среди военных и моряков поразили нас: мы знали, что В. Н. находилась в безопасности. В конце 1882 г. в Петербург, по поручению В. Н., приезжал Комарницкий и передал нам ее директивы и указы. Комарницкий подтвердил, что Фигнер вне опасности и ни в коем случае не может провалиться. Мы радовались за нее и за партию, вождем которой была В. Н. Тем ужаснее для нас было известие об ее аресте. Пошли слухи, обратившиеся в уверенность, что В. Н. случайно встретилась на улице с рабочим Меркуловым, которого переодетые жандармы водили по улицам с целью встретиться с В. Н. Он ее и предал. «Уж больно все это просто, я убежден, что Меркулов подставное лицо, а за его спиной стоит кто-то несравненно более важный, чем это ничтожество». Так рассуждал Н. М. Флеров, когда ему рассказывали подробности ареста В. Н., так в глубине наших мыслей думали и мы, когда вокруг нас выхватывались испытанные борцы, новые жертвы. Но мы боялись высказать свои мысли вслух. К каждому новому лицу, появившемуся среди нас, мы относились с щепетильной осторожностью, граничащей с недоверием, к приезжим — прямо таки недоверчиво. Исключение представлял сам Петр Алексеевич (Дегаев), появившийся в Петербурге весной 1883 г.» (стр. 105). И далее. И. И. Попов рассказывает, как, относясь с доверием к «Петру Алексеевичу», тогдашние петербургские народовольцы, напротив, отнеслись с недоверием к приехавшему из Варшавы К. А.

Степурину. «Его явки и рекомендательные письма кажутся нам недостаточно авторитетными. Он видит и чувствует, что мы не верим ему, сомневаемся в его порядочности. Слов нет, все это продолжалось короткое время. Но то недоверие, с которым его сначала встретили в Петербурге, заложило в нем начало того психоза, который в 1885 году привел его к трагическому концу» (там же, стр. 105—106). То же самое говорит Г. Н. Добрускина в III сб. «Народовольцы», стр. 208—209: «Представителем партии «Нар. Воля» в 1883 г. был артиллерийский офицер Константин Алекс. Степурин. Человек очень честный, преданный революционному делу, он попал в тяжелое время деморализации, вызванной дегаевским делом. Друг другу не доверяли. И хотя Степурин был человеком очень осторожным, тактичным и деликатным, тем не менее в Петербурге встретили его с недоверием». Таким образом несмотря на отталкивающее и отвратительное впечатление, которое Дегаев на многих производил при первом знакомстве, в нем все-таки не сомневались, самое это впечатление быстро проходило, Дегаевым начинали даже гордиться и заподозривали не его, хотя о нем уже получались тогда прямые предупреждения, как в Одессе (см. примеч. IX), а других лиц, вполне честных и безупречных. Все эти черты с буквальной точностью повторялись многократно на целом ряде примеров и с особенной яркостью на истории с провокацией Азефа.

IX. ДЕГАЕВСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ И ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

(К стр. 149)

О том, что тогда происходило в Одессе в связи с отношением к Дегаеву, рассказывает В. И. Сухомлин в статьях «Из эпохи упадка партии «Нар. Воля», в кн. 24—28 «Кат. и ссылки». Дегаев был арестован 20 декабря 1882 года в Одессе, а 14 января следующего года ему был подстроен Судейкиным побег по пути на вокзал для якобы назначенной ему перевозки в Петербург. «Месяца через два (после побега Дегаева) отец Анны Марковны Гальперин, — пишет В. И. Сухомлин, — рассказал ей, что их родственник, состоявший поставщиком интендантства, угощал ужином нужных ему военных чиновников. На ужине присутствовал один полковник, приехавший в Одессу из Николаева. Этот пол-

ковник, подвыпив, рассказал об арестах офицеров в Николаеве, а затем конфиденциально сообщил, что от жандармского полковника Катанского узнал, что офицеры эти преданы Дегаевым, которому был устроен фиктивный побег и которому николаевские офицеры оказали гостеприимство» (стр. 87). Таким образом, сообщение о предательстве Дегаева получилось одесскими революционерами через два месяца после его побега, как говорит в приведенной цитате В. И. Сухомлин, следовательно приблизительно в марте месяце. Далее В. И. Сухомлин рассказывает, как сведения, полученные от отца А. М. Гальперин, они тогда же сообщили в Париж Саловой и в Харьков по адресу местной группы. «Из Харькова, — продолжает В. И. Сухомлин, — в ответ получилось чуть ли не ругательное письмо, что стыдно-де клеветать на лучших представителей партии. Затем из Харькова приехал Аполлон Немоловский. Это было в мае 1883 года, в коронационные дни, так как помню, мы, между прочим, говорили с ним о курьезной речи, обращенной Александром III к крестьянам: «Слушайтесь ваших предводителей дворянства» и т. д. Хотя Немоловский и аргументировал тем, что харьковцам-де хорошо известно, что В. Н. Фигнер выдал Меркулов, а не Дегаев, как мы утверждали в письме, но, тем не менее, по всему было видно, что он уехал с сильно поколебленной верой в Дегаева». Что же касается заграничников, то от Саловой был получен совет для одесской группы прекратить всякие сношения с другими организациями в виду наступившей смуты. «Мы поняли, — заключает В. И. Сухомлин, — что она нам поверила» (стр. 87). Нужно говорить, впрочем, что сама Н. М. Салова не подтверждает этих ссылок на нее со стороны В. И. Сухомлина. Правда, она пишет в своей «Автобиограф.» в словаре Граната, что после побега Дегаева она получала «письма от одесских товарищей», но лишь с «предупреждением не возвращаться легально» и с советами «посидеть за границей» (стр. 401). В то же время Салова говорит, что тайну провокации Дегаева открыла ей М. Н. Ошанина уже после убийства Судейкина, при чем Ошанина удивлялась ловкости Дегаева, так как «даже работавшие с ним революционеры не подозревали его в предательстве» и «ничего не сообщалось о подозрении на его счет» (стр. 402—403). Что Салова не подтвердила ссылок на нее со стороны В. И. Сухомлина, на это (после уже напечатания своей статьи в «Кат. и сс.») должен был обратить внимание сам В. И. Сухомлин (см. стр. 38 в 1 вып. сб. «Народная

Воля» перед царским судом», М. 1931). Это обстоятельство В. И. Сухомлин объясняет тем, что письмо из Парижа в ответ на предупреждение о Дегаеве было послано, повидимому, не Саловой, а другими парижскими товарищами, напр., М. Н. Ошаниной. Как бы то ни было, можно считать установленным в современной исторической литературе, что «покаяние» Дегаева относится не позже, как к маю 1883 года и что одесские предупреждения, как это признает и В. И. Сухомлин (см. стр. 38 сб. «Нар. В.» перед царским судом), были получены в Париже уже после того, как Дегаев «покаялся».

Х. ХРОНОЛОГИЯ ДЕГАЕВСКОГО ПОКАЯНИЯ

(К стр. 149)

Дата, которую дает М. П. Шебалин для дегаевского покаяния («в конце лета он покаялся в своем предательстве») не может быть теперь принята за правильную. В настоящее время можно считать вполне точно и бесспорно установленным, что покаяние Дегаева пред Тихомировым в Женеве произошло не в конце лета, а в мае месяце 1883 года. Эту дату устанавливают одинаково как многие мемуристы (Плеханов, Сухомлин, Салова, Лопатин, Чернявская-Бохановская), так и исследователи, напр. С. Н. Валк и В. Я. Богучарский. А так как к М. П. Шебалину Дегаев явился в июне месяце 1883 года (см. стр. 136), то стало быть знакомство их и все сношения происходили после дегаевского покаяния. Вторично же за границу Дегаев ездил в сентябре 1883 года (во всяком случае уже осенью) и вернулся оттуда к моменту ликвидации М. П. Шебалиным своей летучей типографии. Затем, поскольку можно судить на основании существующих материалов, как архивных, так и мемуарных, Дегаев как будто не сообщал Судейкину о М. П. Шебалине и его типографии, хотя в то же время (май—октябрь) продолжал давать Судейкину указания на разных лиц. В силу этого во время киевского процесса тому же М. П. Шебалину не предъявлялось никаких обвинений за его петербургскую деятельность, что было бы невозможно, если бы Дегаев давал знать о нем Судейкину. Точно так же и сам Дегаев, перечисляя (напр., в разговоре с Г. А. Лопатиным) тех лиц, которых он уже после первого покаяния указывал Судейкину, не называл в их числе имени М. П. Шебалина (см. сб. ста-

тей Г. А. Лопатина, ред. А. А. Шилова, стр. 158). С другой стороны, обращает на себя внимание и тот факт, что в числе документов, напечатанных в настоящем издании, есть и такие, которые как бы противоречат всем этим фактам. Таково, напр., письмо Плеве к Новицкому, помещенное у нас на стр. 262. В этом письме Плеве уведомляет полк. Новицкого, между прочим, о том, что супруги Шебалины являются лицами, заслуживающими внимания, так как они неоднократно являлись хозяевами типографий, где печатались преступные листки». Плеве, таким образом, обнаруживает некоторую осведомленность о прошлой деятельности Шебалиных, так что является невольно вопрос: откуда он может знать все это? По мнению М. П. Шебалина, «эти сведения Плеве мог получить не непременно от Дегаева, а напр., от предателя Степана Росси, выводить которого на суд ему, однако, не хотелось». Росси, как видно из воспоминаний того же М. П. Шебалина, присутствовал на октябрьском съезде. Арестован он был на похоронах Судейкина (убит 16 декабря 1883 г.), и вскоре начал выдавать. Сведения Росси о Шебалиных не могли отличаться точностью: он знал, конечно, что Шебалин работал в типографии и печатал разные листки, но знал это в общей форме, так как с самими Шебалиными сношений не поддерживал. Напротив, у Дегаева сведения о подпольной работе Шебалиных были точные и полные. Очень интересно отметить при наличии таких данных, что сведения Плеве о Шебалиных тоже отличаются общим характером, а не точностью и полнотой. Плеве говорит в туманной форме о каких-то «преступных листках», не называя ни одного из них в точности, и сообщает прямо неверные сведения, что Шебалины «неоднократно» были хозяевами типографии; тогда как на самом деле в их заведывании до того была только одна типография. Этой неполноты и неточности у Плеве не могло бы быть, если бы он заимствовал свои сведения от такого осведомленного человека, как Дегаев. Следовательно, сведения Плеве вернее всего исходили действительно не от Дегаева, а от Росси, как это и предполагает сам М. П. Шебалин.

XI. РОЛЬ Г. А. ЛОПАТИНА В УБИЙСТВЕ СУДЕЙКИНА

(К стр. 150)

Слова М. П. Шебалина о Г. А. Лопатине: «Присланный парижским центром с тем, чтобы следить за выполнением Дегаевым его обязательства», требуют серьезной поправки. По общему ходу дела, как оно стало рисоваться впоследствии, было естественно думать, что Лопатин был тогда прислан парижским центром с целью контролировать Дегаева, но на самом деле Лопатин предпринял такой контроль в порядке частной инициативы, что является для него чрезвычайно характерным. Сам Лопатин рассказывает таким образом, как все это тогда произошло: «Как известно, — говорит он, — Дегаев увидел себя вынужденным в мае 1883 года покаяться Тихомирову и Ошаниной и предложить им любое искупление за свои грехи. Те потребовали убийства Судейкина. Он обещал, уехал и затянул дело в долгий ящик, продолжая, однако, свою «службу». Те пригрозили «пропечатать» его за границей; он прискакал к ним в сентябре, дал новые обещания, уехал и снова стал тянуть дело. В это время Лопатин, проживавший в Лондоне, собрался снова переселиться в Россию и письменно предложил свои услуги Исполнит. комитету. Ошанина отвечала ему, что они и сами давно уже не давали бы ему покою примкнуть открыто к ним, но что в Питере теперь ужасно опасно, что им жаль рисковать попусту такой революционной силой, но что эта опасность скоро минует, и тогда они с радостью, и т. д. Лопатин отвечал насмешливо, что ему неизвестно «неопасных» дел этого рода, что он не верит в наступление какого-то «момента», неожиданно уничтожающего опасность, что он видит в этих уговорах, если не смешную наивность, то какие-то оскорбительные недомолвки и недоверие. Впоследствии Ошанина говорила ему, что они не посмели сказать ему правды из опасения, что он, из нравственной безразличности, отшатнется навек от группы, среди которой мог зародиться и существовать так долго такой ужасный политический разврат, а между тем все они сильно рассчитывали на Лопатина для реорганизации дел после удаления от них Дегаева и К^о. Как бы то ни было, Лопатин, не выждав ответа на свое насмешливое письмо, уехал в Питер, где приступил к самостоятельным розыскам нилитических революционных сил». Здесь он и натолкнулся на Дегаева и разоблачил его совершенно самостоятельно (см. примеч.

V на стр. 323). Дегаев, однако, и после этого пробовал затянуть дело с Судейкиным и видоизменить свою задачу. «Но тут вмешался Лопатин и путем настояний, застрашиваний и т. п. заставил его выполнить данные им обещания быстро и точно, под его неусыпным надзором, хотя сам Лопатин не принадлежал в то время к партии «Нар. Воля» ни формально, ни фактически. Непосредственного участия в этом деле он, однако, не принял, объяснив впоследствии кому следует, что он считал неприличным для себя участвовать в одном деле с двойным предателем и выпустить этого предателя живым, а убить его самовольно, т. е. портить чужие расчеты собственными своевольными изменениями плана, он не считал себя в праве. Вскоре после этого дела, в начале 1884 года, он отправился в Париж, где формально примкнул к партии «Нар. Воля», и в марте того же года опять вернулся в Питер в качестве члена нового Исполнит. комитета» (см. сб. статей Г. А. Лопатина, ред. А. А. Шилова, стр. 13—15).

Те же сведения сообщает В. Я. Богучарский в статье об Яковиче в кн. V «Русск. бог.» за 1911 г. «Обо всем узнанном от Дегаева Тихомиров и Ошанина не сказали решительно никому, и таким образом роль Дегаева почти до самого кануна убийства Судейкина (16 дек. 1883 г.), даже находившимся в России руководителям революционного движения, известна не была». Не сказали об этом те же Тихомиров и Ошанина также и Лопатину, когда в 1883 г. он прибыл в Париж, бежав из вологодской ссылки. Осенью этого года Лопатин «предложил свою шпагу», как он выражается, «Нар. Воле». Предложение Лопатина было, конечно, принято с радостью, но даже и ему об отношении Дегаева к Судейкину, о данном ими первому поручении покончить со вторым и т. д., ничего не было сказано... На вопрос о причине такого умолчания Тихомиров и Ошанина уже впоследствии говорили Лопатину: «Мы вполне ценили вас и страстно желали вашего присоединения, но...» Но они боялись, что картина «дегаевщины» оттолкнет Лопатина от партии (ук. ст., 132—133). Совершенно так же, как у Богучарского и у самого Лопатина, эти факты излагаются в новейших мемуарных работах И. И. Попова в его брошюре о Лопатине (изд. политкаторжан, М. 1930 г., стр. 40—41), и в «Автобиогр.» в словаре Граната. Наконец, есть еще один свидетель, человек, непосредственно связанный с событиями тех лет, который тоже целиком подтверждает вышеприведенный рассказ Лопатина, этот свидетель—

П. Л. Лавров. В брошюре о Лопатине, написанной в 1887 году, Лавров говорит: «Когда Лопатин (в 1883 г.) прибыл в Париж, я уже более года находился в сношениях с народовольцами по поводу основания «Вестн. Нар. Воли» и немедленно постарался сблизить его с главными представителями партии, уверенный, что им не найти другого столь полезного помощника, если только он согласится участвовать в их деле, и что именно в эту эпоху трудного положения партии после 1881 года человек, обладающий его умом и его энергией, может быть незаменим. Настроение Герм. Ал. было в это время таково, что его любовь к самостоятельной партизанской деятельности и отвращение к подчинению организации уступили сознанию важности и трудности вопросов, выступавших на очередь. Но и тут он поддался не сразу. Он еще раз съездил в Россию и вернулся счастливо. Он убедился, что другого исхода нет, и сошелся вполне с новыми товарищами» (цит. по изд. «Колоса»: «Г. А. Лопатин», с предисл. П. Витязева, Петрогр. 1919 г., стр. 45). Слова Лаврова: «еще раз съездил» относится к поездке осенью 1883 г., кончившейся убийством Судейкина. «Вернулся счастливо... и сошелся вполне с новыми товарищами», — это относится к январю 1884 г. Иначе говоря, осенью 1883 г. Лопатин ездил в Россию еще по собственной инициативе и не сойдясь еще с новыми товарищами, а в 1884 г. он вполне уже споворился с ними и уехал в Россию (март 1884) с полученными от них директивами, как член организации.

Кроме П. Л. Лаврова, в таком же виде передает те же события А. Н. Бах, тоже непосредственно связанный в то время в революционных делах с Г. А. Лопатиным, но относившийся к нему, в отличие от Лаврова, крайне отрицательно. «В Лопатине я увидел, — рассказывает А. Н. Бах, — человека несомненно умного и образованного. Но мне не понравилась его манера говорить в шутилом и легком тоне о вещах, которые для нас были, если не священными, то во всяком случае очень серьезными. Казалось, что революционная работа для Лопатина не была делом, с которым он сросся всеми фибрами души, а чем-то посторонним, чем он занимался, как актер-любитель». «Со своей обычной склонностью к игре слов он много раз говорил мне, что он не человек партии, а «партизан» (разговор происходил в начале 1884 года). Его участие в убийстве Судейкина, которое он организовал, было таким партизанским актом. На беду «Народной

Воли» Лопатин на нем не остановился» (см. «Записки народовольца» изд. «Молодой гвардии», М., 1929).

Не касаясь здесь общей оценки Лопатина, которую делает А. Н. Бах, мы видим из его слов, что Лопатин и ему передавал тогда же, что в деле организации убийства Судейкина он принимал участие по личной инициативе (не как человек партии, каковым он в тот момент и не был, а как «партизан»). Иначе говоря, показания А. Н. Баха целиком совпадают в данном случае с показаниями П. Л. Лаврова.

Мы останавливаемся с такой подробностью на этих фактах потому, что роль Лопатина в деле убийства Судейкина до сих пор рисуется часто и притом людьми достаточно авторитетными совсем иначе. Еще И. И. Попов обратил внимание в своей брошюре о Лопатине (стр. 40) на этот факт. Он говорит там: «Л. Э. Шишко, Л. Дейч, в «Истории револ. движения в России» А. Туна, С. Сватиков в словаре Граната, Н. С. Русанов и другие биографы говорят, что Лопатин получил директивы от Ошаниной и Тихомирова наблюдать за выполнением обещания Дегаевым, с предательством которого они будто бы ознакомили Лопатина. Но это, — прибавляет И. И. Попов, — не верно». К числу перечисленных И. И. Поповым лиц теперь можно прибавить еще В. И. Сухомлина (см. его статью в сб. II «Нар. Воля перед царским судом», изд. политкаторжан, стр. 40—42), а также автора заметки о Лопатине (повидимому В. В. Водовозова) в т. 21 Большой Энциклопедии под ред. С. Н. Южакова, которые тоже говорят, что Лопатин получил осенью директивы наблюдать за Дегаевым и с этой целью выехал в Россию. Ошибочность этого предположения, чрезвычайно широко распространившегося, надо теперь считать вполне установленной. Правда, Лопатин сам в разговоре с Дегаевым (см. прим. XI), «рискуя собственной головой, — по словам И. И. Попова, — категорически заявил ему, чтобы он не увиливал, так как ему, Лопатину, поручено наблюдать за Дегаевым, чтобы он выполнил обещание, и он, Лопатин, не остановится ни перед чем, если Дегаев не сделает этого в ближайшее время», и пр. (стр. 41 брошюры о Лопатине). Отсюда, что ему поручено наблюдать за Дегаевым, чтобы он выполнил свое обещание, — все это Лопатин, по словам того же И. И. Попова, сознательно сочинил, ибо это облегчало ему возможность поставить Дегаева в зависимость от самого себя. То же самое он мог говорить (а в отдельных случаях и гово-

рил) также и другим. Отсюда и могла пойти та версия, которая до сих пор с полной уверенностью распространяется столь многими мемуаристами и даже историками, о получении Лопатиным директив еще осенью 1883 года. Что этого на самом деле не было, совершенно ясно следует из вышеприведенных слов П. Л. Лаврова, а кроме того существуют и вполне объективные доказательства того же факта в виде переписки Лопатина с Ошаниной перед поездкой его в Россию осенью 1883 года. Что эта переписка действительно тогда происходила, доказательством этого является известный отчет — письмо Лопатина к Ошаниной, датированное 20 сент. 1883 г., о разговоре его с Энгельсом о русских делах (письмо Лопатина об этом недавно было снова воспроизведено в журнале «Летописи марксизма», кн. VII—VIII). Письмо это отправлено было из Лондона, из Лондона же (с английским паспортом) Лопатин тогда выехал в Россию, так что он бы и физически не мог получить никаких директив от парижан, так как такие директивы могли быть переданы только устно, но никак, конечно, не письменно.

ХII. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ К. А. СТЕПУРИНА

(К стр. 151)

Участие К. А. Степурина на октябрьском съезде и та роль («временного центра партии»), которая выпала на его долю после съезда, до приезда из Парижа «Распорядительной комиссии», в составе из Лопатина, Саловой и Сухомлина, заставляет здесь остановиться подробнее на его, Степурина, тогдашних общественно-политических взглядах. Наиболее полно эти взгляды Степурина выразились в написанной им как раз в это время передовой статье для очередного номера «Нар. воли». Это та самая статья, которая вскоре после того сделалась своего рода манифестом для «Молодой «Нар. Воли». Полностью она до сих пор не напечатана, а известна только в пересказе и в больших отрывках, которые приводит С. Н. Валк в своих работах по изучению той эпохи. По словам С. Н. Валка, «передовая эта в значительной мере воспроизводит намечавшиеся в октябре новые тенденции. Любопытнее всего, что она прямо провозглашала «новый фазис» движения, что она делила задачи борьбы на два периода: на пе-

риод до 1 марта, когда основной задачей была «борьба с императорством Александра II» и на послепервомартовский период, когда выдвигается работа среди «народных масс, которым всегда и везде принадлежит решающий голос в критические минуты». «После победы, которую партия «Народной Воли» одержала над самодержавием 1 марта, во внешней деятельности настало сравнительное затишье, которое многих ввело в заблуждение». Однако, «социально-революционная партия не умерла и не могла умереть», и, объясняя это обстоятельство вполне в духе новых течений, Степурин писал, что «пока в России существуют люди, способные в своем сознании формулировать цели стихийных народных стремлений и отыскивать пути и средства для их осуществления, социально-революционная партия не может умереть, и все живые русские силы будут непрерывно притекать к ней». «Вступая теперь в новый фазис борьбы», передовая кажущееся бездействие в течение последних трех лет объясняла именно не чем иным, как новыми задачами партии, передвигающими центр тяжести на работу среди масс. Кроме самодержавия, которое должно рухнуть, «для нас существует Россия, которая должна жить в будущем, когда от самодержавия ничего не останется, поэтому нам предстоит еще и созидательная работа и приходится позаботиться, чтобы грядущая катастрофа оставила после себя не хаос разрозненных элементов, недоумевающих перед совершившимся фактом и незнающих, как воспользоваться одержимой победой». Передовая далее, — по словам С. Н. Валка, — подробно мотивирует именно этот важнейший поворот в деятельности социально-революционной партии: «Поэтому-то для нас выдвигалась на первый план необходимость воздействия на народные массы, которым всегда и везде принадлежит решающий голос в критические минуты. Борьба с императорством Александра II до 1 марта оставляла народную массу вне сферы нашего воздействия, хотя эта борьба и указала народу, как и во имя чего она ведется, так что теперь народ смутно чувствует, что она имеет какое-то отношение к ближайшим, насущнейшим его нуждам. В народной массе произошла перемена, недовольство его обострилось и он из пассивного стремится перейти к активному состоянию. Мы глубоко убеждены, что дело политического и социального возрождения России будет тогда прочно, когда масса явится сознательной участницей нашего дела, поэтому деятельность наша после 1 марта должна была перейти на помощь проснувшейся народ-

ной мысли, дать ей ответ на поставленный ею вопрос и выяснить ей ту связь, которая существует между делом политического освобождения и собственным ее освобождением от угнетающих ее социальных зол». Этим именно передовая (опять-таки по словам С. Н. Валка) объясняет внешнюю бездеятельность партии: «Осложнившаяся и расширенная таким образом задача наша потребовала перемен и приспособлений в нашей организации, и этой-то внутренней работе и были посвящены последние три года. В настоящее время эта организация окончена, и мы снова выступаем на поприще активной борьбы с той же программой, но с силами, лучше приспособленными для осуществления нашей задачи». Далее в статье вновь повторено, что «как и прежде, ближайшей нашей целью есть созыв учредительного собрания, избранного всенародной подачей голосов» и т. д., а также обоснованы знакомые по октябрьскому съезду решения «отныне дать почувствовать силу террора и тем союзникам русского самодержавия, которые непосредственно соприкасаются с народом и высасывают народную кровь, пользуясь общим политическим бесправием, на почве аграрных и фабричных отношений». Наконец, в согласии с теми же октябрьскими постановлениями, речь в передовой идет и о «печатной пропаганде в более широких размерах, чем то было до сих пор», см. ст. С. Н. Валка: «Распорядительная комиссия и «Молодая партия «Народной Воли» в № 2 «Каторги и ссылки» за 1931 г., стр. 100—102. См. ниже также примечание: «Материалы для характеристики К. А. Степурина».

ХIII. К ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ДЕГАЕВЩИНЫ

(К стр. 152)

Перечисляя состав октябрьского совещания (см. выше стр. 151), М. П. Шебалин говорит, что участники его (а там были: Караулов Ник., Усова, Якубович, Богораз-Шебалина, М. П. Шебалин, Дегаев, Степурин, Росси, Куницкий, Рехневский и Дембский), за исключением Куницкого, даже не подозревали о роли Дегаева и его тождестве с агентом охраны Яблонским. Это утверждение требует некоторых оговорок. Так, в статье Б. Г. Кубалова (об Овчинникове) в № 12 «Кат. и сс.» за 1931 г. сказано (стр. 101): «о роли Дегаева смутно догадывался П. Ф. Якубович». Это говорится автором указанной статьи со слов М. П. Овчинникова. Утвер-

ждение Б. Г. Кубалова было подвергнуто уже критике в автобиографии Н. М. Саловой в словаре Граната (стр. 402), хотя Н. М. Салова опровергает собственно не самый этот факт, что Якубович догадывался о роли Дегаева, а дальнейший рассказ в той же статье (со слов того же Овчинникова) о том, как Якубович ездил (будто бы) за границу с предупреждением парижан о Дегаеве, чего на самом деле вовсе не было. Но и кроме Б. Г. Кубалова и независимо от него, такого же рода указания на то, что П. Ф. Якубович в чем-то подозревал Дегаева, в русской литературе также имели место, притом ни с чьей стороны и никем до сих пор, в том числе и самой Н. М. Саловой, не опровергались. Кроме того, эти указания исходили от лиц, непосредственно принимавших участие в тогдашних делах и вообще гораздо более авторитетных, чем Овчинников или тот же Б. Г. Кубалов. Именно их делал, при том неоднократно, напр. И. И. Попов в своих воспоминаниях: «Революционные организации в Петербурге в 1882—85 гг.» (см. сб. «Народовольцы после 1 марта 1881 года», изд. политкаторжан, М., 1928). На стр. 63—64 своих воспоминаний И. И. Попов говорит, что к осени 1883 года положение с вопросом о провокации Дегаева обстояло таким образом: об этом знал прежде всего Г. А. Лопатин, не принадлежавший тогда к организации (ему об этом сказал сам Дегаев), затем знал о том же Станислав Куницкий (ему сказали об этом в Париже Ошанина и Тихомиров). Далее, от Куницкого о том же узнали той же осенью П. Ф. Якубович и Ф. Ю. Рехневский, которые все трое были участниками октябрьского совещания. Но и кроме них о факте предательства догадывался также еще и сам И. И. Попов. «Мне же,— говорит он,— предательство Дегаева и подготовка убийства Судейкина стали ясны после двух-трех совещаний у С. А. Венгера и ветеринарного врача Кравцова и особенно после слов Куницкого, который сказал, что «не нужно путать в это дело Ив. Ив.», то-есть меня. Куницкий, после возвращения из-за границы, советовал Флерову и другим моим коллегам некоторое время не особенно сближаться с «Нар. Вол.». Якубович тоже уклонялся от встреч с Флеровым. Совет Куницкого послужил поводом к тому, что никто из нас не пошел на совещание — съезд народовольцев, собравшийся по инициативе Карауловых и Якубовича в конце октября или начале ноября. Съезд был немногочисленный и провинциалов на нем почти не было. На съезде участвовал и Дегаев, который, по словам Куницкого и Якубовича, держал себя как-то на

стороже и больше молчал. Ни Якубович, ни Куницкий не настаивали, чтобы мы приняли участие на съезде. Они не желали, чтобы Дегаев знал о Флорове и Бодаеве» (см. ук. ст., стр. 63, 64). Из этого сообщения И. И. Попова можно сделать два вывода: 1) относительная малочисленность участников октябрьского съезда объясняется относительной распространенностью к тому времени известия о предательстве Дегаева и 2) оторванность М. П. Шебалина в силу самого положения его, как хозяина типографии, не позволяла ему быть в курсе всех интимных дел организации. Когда же позже, в январе 1884 года, после убийства Судейкина, приезжал в Киев П. Ф. Якубович, ему уже было поздно сообщать обо всем этом М. П. Шебалину.

XIV. ОТКУДА НАЧАЛАСЬ СЛЕЖКА ЗА КИЕВЛЯНАМИ

(К стр. 161)

Откуда началась слежка, теперь можно считать вполне выясненным. В предисловии С. Н. Валка к серии документов о «процессе 21-го» в 36 кн. «Кр. арх.» есть в этом отношении следующий документ. «Во всеподданнейшей записке от 12 декабря 1884 года, подписанной П. Дурново, исполнявшим в то время обязанности директора департамента полиции, сообщалось, что «первые указания на преступную деятельность арестованного 15 минувшего ноября дворянина Якубовича получены были осенью 1883 года от известного Дегаева, вследствие чего за Якубовичем тогда же было учреждено постоянное наблюдение, продолжавшееся таким образом более года». Что касается специально киевских дел, поскольку они были связаны с тем же П. Ф. Якубовичем, то относительно этого С. Н. Валк говорит: «В атмосфере политического возбуждения, которая воцарилась после убийства Судейкина, Якубович развивает энергичную деятельность и становится фактическим главою, идейным и организационным, оформляющейся оппозиции. Именно Якубович ведет литературную подготовку выступлений оппозиции, он же едет в Киев для установления связи и содействия, пишет в одни места письма, в другие рассылает агентов. Все эти месяцы Якубович находился под наблюдением и это повело к катастрофическим последствиям. Во время той поездки в Киев, о которой только что было упомянуто, Якубовича сопровождали два петербургских агента, Антонов и Сер-

геев, для установления места «сборища съезда народовольцев». Здесь, в Киеве, было прослежено свидание Якубовича с Рехневским, и, чтобы замести следы, Рехневский был арестован уже в поезде, а не в самом Киеве (дело департамента полиции, 1884 г., № 173, «О студенте Спб. университета Фадее Рехневском и др.», лл. 1—2, 8. Из Киева Якубович выехал обратно 2 февраля). «Но еще хуже оказалось другое,— продолжает дальше С. Н. Валк на основании уже цитированной записки Дурново о наблюдении за Якубовичем,— первоначально наблюдение это не давало особых результатов; вскоре же после убийства подполковника Судейкина, в январе 1884 года, Якубович отправился в Киев, куда за ним были посланы агенты, выявившие сношения его в названном городе, и этим путем установлены квартиры и личность супругов Шебалиных, самостоятельное наблюдение за которыми установило личности большинства членов киевского преступного кружка и послужило основанием к киевским арестам 4 марта сего года». «Таким образом, заключает С. Н. Валк,— косвенным результатом этой киевской поездки была гибель этого местного и самого значительного ответвления оппозиции» (ук. ст., стр. 130—131). К этому выводу остается только прибавить, что, судя по письмам П. Ф. Якубовича к М. П. Шебалину, не видно, чтобы он замечал, будучи в Киеве, эту неотступную слежку за собой петербургских агентов.

XV. ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В. С. ПАНКРАТОВА

(К стр. 162)

Официальные документы рисуют этот момент в следующем виде: «4 марта текущего года (1884 г.) в 9 час. вечера унтер-офицеры жандармского управления Волков и Ставцев доставили в Старо-Киевскую часть задержанного ими, по распоряжению начальства, неизвестного человека, который, по заявлению доставивших, при задержании стрелял и причинил рану участвовавшему в задержании его жандармскому унтер-офицеру Хмаре. Доставленный человек отказался дать объяснения о своей личности и месте жительства, а по произведенному обыску при нем найдено: 1) револьвер системы «Бульдог» с 4 пустыми гильзами и двумя цельными патронами, 2) кинжал с шагреньевыми ножнами и 3) свидетельство Лохвицкого уездного полицейского управления

от 7 апреля 1883 г. за № 5675, выданное на имя сына землевладельца Александра Борисовича Озерова. Когда задержанному было предложено подписать полицейский протокол, то он собственноручно расписался: «Василий Семенов Панкратов, мещанин города Москвы, слободы Бронной». И далее: «Допрошенный 7 марта в качестве обвиняемого мещанин Панкратов показал, что, пробыл в Корчевском ремесленном училище 4 года и, выучив мастерство токарное, а отчасти столярное, он с 1875 года проживал в Москве, работая на разных заводах, а где затем проживал и чем занимался—сказать не желает; точно так же он, Панкратов, отказался объяснить: привлекался ли он в качестве обвиняемого по делам о государственных преступлениях, а равно откуда и зачем он прибыл в Киев. На вопрос о том: принадлежит ли он, обвиняемый, к какой-либо преступной организации и какое занимает в ней положение,—он, Панкратов, отвечать не желает; точно также ничего не желает объяснять касательно организации тайных сообществ, их программы, задач и целей». «Далее, отказавшись объяснить, куда он шел по Владимирской улице перед задержанием, Панкратов показал, что сделал четыре выстрела в лиц, его задержавших, при чем: кто были эти лица—ему, обвиняемому, неизвестно и что кто-то был при этом ранен он, Панкратов, узнал впоследствии, о чем, однако, он несколько не сожалеет, так как заранее решил стрелять во всех тех, которые захотят его арестовать, но почему он, Панкратов, принял такое решение—объяснять не желает». «К этому Панкратов добавил, что перед своим арестом шел с одной женщиной, назвать которую он не желает, и был в Софийских номерах, но у кого и за чем—объяснить отказался». (См. заключение военного прокурора). В таком же роде были и все остальные показания В. С. Панкратова. Позже, в № 2 «Былого» за 1907 г., В. С. Панкратов в своей статье о киевском процессе подробно рассказал, при каких обстоятельствах он был арестован (см. там же, стр. 298, 299 и сл.). Женщина, которая его сопровождала, была Руня Кранцфельд, она скрылась во время борьбы Панкратова с жандармами и впоследствии так и не была обнаружена жандармами, хотя долго еще работала в подпольных организациях, между прочим тотчас после киевских арестов—в подпольной типографии в Росто́ве-на-Дону, где печатался № 10 «Нар. воли». Перед этим Р. Кранцфельд жила в Петербурге. Здесь в ее квартире, которую она имела на имя Татьяны Лебедевой, происходили совещания по

делу организации убийства Судейкина. Под тем же именем «Татьяны Лебедевой» она значится в обвинительном акте по «делу 21» (дело Г. А. Лопатина и др.). Жандарм Хмара, которого ранил при сопротивлении В. С. Панкратов, тот самый, о котором говорится в примечании... О вооруженном сопротивлении см. также в книге: «В. С. Панкратов. Воспоминания. Как приходилось работать среди рабочих в 1880—1884 годах» (Изд. «Кр. Новь». М., 1923). Здесь в главе «Арест» рассказывается: «4 марта, когда я шел с одной нелегальной женщиной, Раисой Кранцфельд, женою товарища, по Б. Владимирской ул. и заметил, что за нами гонятся здоровенные переодетые жандармы, вынул револьвер, решив дорого отдать свою свободу. Спутница схватила меня за руку, сказав: «не стреляйте, повесят». В это время один из жандармов бросился и схватил меня сзади. Вырвав руку и оттолкнув назад спутницу, я выстрелил... Негодованию моему не было границ: у меня хотят отнять свободу, за что? Что я—вор? Разбойник? Развратник? Нет! Даром я не отдам своей свободы этим опричникам. Первым выстрелом я освободился от обхвативших меня сзади рук. Выстрел был сделан через плечо. Жандарм, упав, сронил и мою спутницу. Тут на меня набросились откуда-то выросшие люди. Началась упорная борьба одного против многих. Этой борьбой воспользовалась моя спутница и ушла. А я... был доставлен в киевское жандармское управление. С этого момента началась долгая, предолгая жизнь по казематам» (ук. соч., стр. 108, 109). Панкратов, как известно, просидел больше 14 лет в Шлиссельбургской крепости за свое вооруженное сопротивление. См. его книжку: «Жизнь в Шлиссельбургской крепости 1884—1898», изд. «Былого», 1922, с примеч. Р. М. Кантора.

XVI. К ИСТОРИИ КИЕВСКОГО ПРОЦЕССА

(К стр. 163)

Эту позицию заключенных относительно суда и следствия М. П. Шебалин несколько подробнее, чем в данном тексте, излагал в своей статье во II сб. «Народная Воля» перед царским судом» (изд. политкаторжан, 1931 г.). Вот именно что он там говорил в той именно ее части, которая не перепечатана в настоящем издании: !

«Хотя полк. Новицкий, придавая большое значение этому де-

лу 4 лиц, именно: Караулова, Борисовича (Мартынова), Панкротова и Шебалина, изолировал их до окончания предварительного следствия в Старо-Киевском участке, все привлеченные успели завязать сношения между собою, выяснили и взвесили улики против каждого и решили по общему согласию всем, кроме трех, не признавать принадлежности к сообществу и по мере обстоятельств защищаться, давая на суде объяснения, не вредящие другим. Борисовичу, Панкротову, Шебалину, конечно, не было смысла отрицать свою принадлежность в виду массы улик; на них можно было, как говорится, «валить» вину с чужих плеч, делая это, конечно, возможно тоньше, а вместе с тем всем рекомендовалось не вести себя вызывающе по отношению к властям. Последнее обстоятельство, благодаря темпераменту некоторых, не всегда удавалось; так, у Панкротова и Мартынова бывали очень острые столкновения с Новицким, а Васильев был даже посажен в карцер за «заведомо ложные издевательские показания». Эти показания он дал, взбешенный настойчивыми приставами Новицкого «покаяться». В них он со свойственными ему ловкостью и остроумием «сознавался» в прикосновении, хотя косвенно, чуть ли не ко всем террористическим актам, совершенным «Нар. Вольей», а Новицкий в довершение курьеза всю галлматью проверял всерьез справками с мест, опросил свидетелей и только после этого убедился в издевательстве и пожаловался губернатору (ук. сб., стр. 26—27). Статья М. П. Шебалина из этого сборника вошла и в настоящее издание, но приведенное место введено в нее в другой редакции, менее полной, поэтому мы и считаем нужным поместить здесь и этот вариант. Что касается показаний М. Н. Васильева и В. С. Панкротова, то о них см. также примечания.

XVII. ЖАНДАРМСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ГЕН. НОВИЦКОГО

(К стр. 164)

В книге ген. Новицкого «Из воспоминаний жандарма» (изд. «Прибоя», Л., 1929) есть такое место об этих показаниях Караулова, для ген. Новицкого чрезвычайно характерное. «В Киеве был задержан делегат, прибывший из Парижа, по указаниям внутреннего агента, под именем Тейши, оказавшийся по установлении Карауловым,—рассказывает этот жандармский мемуарист.—Карауло-

ву было в то время более сорока лет, и, несмотря на такой зрелый, сознательный возраст, он был доведен допросами до откровенных показаний, в которых сознался и собственноручно написал, что он был в Петербурге председателем исполнительного революционного комитета, утверждавшего смертные приговоры, и распределителем освобождения из Сибири политических ссыльных и преступников, которых снабжал литературой, на что имел средства от революционеров значительные, как о том свидетельствуют записи, взятые у него обыском: «Караулов показал далее, что он утвердил приговор комитета об убийстве инспектора секретной полиции Судейкина, которого должен был убить агент его Дегаев, и когда об этом было объявлено упомянутым комитетом Дегаеву, то последний предложил комитету, куда он был вызван, убить сначала великих князей до государя императора и министра графа Толстого, а затем Судейкина, к которому он, близко стоя, может совершить эти убийства без особых затруднений. Но комитет отверг это предложение Дегаева и постановил совершить сначала убийство Судейкина, что и было сделано» (см. ук. соч., стр. 219—220). Перечитывая это показание, можно только удивляться, откуда все это мог выдумать ген. Новицкий! Его рассказ прежде всего не подтверждается официальными документами, на которые он же ссылается. Вот как на самом деле передают показания, данные Карауловым, официальные источники. «Допрошенный 7 марта (1884 г.) в качестве обвиняемого в принадлежности к социально-революционному сообществу, проживавший под именем губернского секретаря Тейши, объяснил, что он на самом деле дворянин Саратовской губ. Василий Андреев Караулов, что по собранным справкам действительно подтвердилось. Далее Караулов объяснил, что воспитывался он в Витебской гимназии, но курса не окончил, затем, в 1877 году, поступил вольным слушателем в С.-Петербургский университет, а в апреле 1878 года уехал в деревню к матери в Псковскую губ. Далее в январе 1880 года, он, Караулов, отправился снова в Петербург, где и проживал до апреля 1883 года, когда уехал сначала в деревню, а затем в Витебскую губ., откуда бежал за границу, вследствие уверений Дегаева (разыскивающегося убийцы подполк. Судейкина), что его, Караулова, Судейкин имеет в виду арестовать. За границей он, обвиняемый, проживал безвыездно в Париже до февраля 1884 года, а затем, в двадцатых числах того же месяца, прибыл в Киев, где проживал по приобретенно-

му за границей аттестату, выданному будто бы на имя губернского секретаря Тейши, в чем он, Караулов, виновным себя признает. Как из России за границу, так и обратно, он, Караулов, перешел без всякого документа, через прусскую пограничную черту, по указанию в первый раз Дегаева, а во второй раз — парижских эмигрантов. Приехал он, обвиняемый, в Киев с целью при посредстве знакомых, назвать коих он не желает, приискать надежный документ для проживания в России; прибыл же он, Караулов, из-за границы, чтобы ознакомиться с текущею революционною деятельностью и затем, если окажется занятие по его склонности, то примкнуть к этой деятельности, а в противном случае — возвратиться к частной жизни. Познакомился он, Караулов, впервые с революционною средою в первый свой приезд в Петербург, но никакого участия в ее деятельности не принимал до 1881 года, когда начал заниматься сначала сбором денег для пособия политическим ссыльным и заключенным, а затем и организацией этого дела. Далее Караулов показал, что к организации русской социально-революционной партии «Народная Воля» он не принадлежит, хотя по роду своей деятельности постоянно соприкасался как с этой партией, так и с другими фракциями русского революционного движения, почему он, обвиняемый, имеет в революционной среде много знакомых, но назвать их не желает, принципиально же он, Караулов, с партией «Народная Воля» солидарен. «Общество помощи политическим ссыльным и заключенным», к которому он, обвиняемый, принадлежит, состоит из лиц легальных и оказывает помощь пострадавшим по политическим делам и их семействам без различия фракций, высылая деньги, вещи и книги, но помощи для побегов из мест ссылки или заключения не оказывает. Сборы производились лично членами общества и по гектографированным листкам, раздававшимся членами всем желающим. Затем обвиняемый изложил подробно цели и задачи, а также деятельность общества, к которому он принадлежит, показал, что личного состава общества и числа членов он объяснить не желает. Относительно настоящего направления партии «Нар. В.», насколько он, обвиняемый, приобрел сведения из частого соприкосновения с деятелями этой партии, он, Караулов, объяснил, что партией этой террор признается принципиально лишь по отношению к лицам высшей администрации, считающимся органами реакционной политики, а также по отношению к чинам полиции,

которые особенно вредны для революционной деятельности и имеют репутацию жестоких, и кроме того безусловно признается убийство тайных агентов; в Киеве, по словам Караулова, имеется местная группа тайного сообщества. С Дегаевым, он, Караулов, познакомился весною 1883 года в Петербурге посредством лиц, назвать коих не желает, при чем он, обвиняемый, доставлял Дегаеву материалы для статьи о политической ссылке в России, заготовлявшейся для листка «Народной Воли», а также сообщал Дегаеву сведения о лицах и кружках, с которыми он, Караулов, был знаком. Из компетентных источников ему, Караулову, известно, что Дегаев был организатором убийства Судейкина; в фактическом же участии Дегаева в этом убийстве он, обвиняемый, сомневается. Никого из привлеченных по настоящему делу в качестве обвиняемых он, Караулов, не знает, за исключением Шебалина, с которым познакомился в С.-Петербурге, но при каких обстоятельствах не помнит. В Киеве он, Караулов, был у Шебалина в его квартире по Большой Владимирской улице 4 или 5 раз, но о принадлежности его к какой-либо партии он, обвиняемый, не знал, никаких принадлежностей тайной типографии у Шебалина не видел и никого у этого последнего не встречал, кроме его жены (цит. заключение военного прокурора, не напечат., см. также обвинительный акт в № 5 «Вестн. «Нар. Вол.»). В таком роде были все показания В. А. Караулова, и достаточно сравнить их с тем, что по поводу их же говорит в мемуарах ген. Новицкий, чтобы увидеть все ноздревски-хлестаковское лганье этого жандармского ветерана. Любопытно, что он не мог не солгать для пущей важности даже в указании на лета Караулова: Караулову было в тот момент всего 29 лет, а не за сорок, как это утверждает ген. Новицкий, что он, конечно, хорошо знал. Но лучше всего то, что ген. Новицкий даже и не подозревал, как на самом деле составлялись показания Караулова. Из рассказа М. П. Шебалина теперь видно, что показания Караулова писались им сообща со всеми остальными заключенными и ими просматривались, а ген. Новицкий «откровенность», совершенно мнимую, Караулова принимал за чистую монету.

ХVIII. О РОЛИ ГЕН. КУЗЬМИНА СРЕДИ ПЕТРАШЕВЦЕВ

(К стр. 166)

Ген. П. А. Кузьмин, председатель военно-окружного суда, о котором здесь говорит М. П. Шебалин, был действительно петрашевцем. Известные «пятницы» Петрашевского он посещал с весны 1848 г. Был арестован по делу Петрашевского 23 апреля 1849 г., но освобожден 26 сент. 1849 г. до военного суда, с отдачей под секретный надзор. По происхождению он был дворянином, родился 20 янв. 1819 г. в Ярославской губ., окончил Павловский кадетский корпус. Во время суда над М. П. Шебалиным ему было, следовательно, 65 лет. Вскоре после суда ген. Кузьмин умер (26 ноября 1885 г.), уже в чине генерал-лейтенанта. В 1896 г. в «Русской старине» были напечатаны его записки о деле Петрашевского, которые ныне в наиболее существенной части воспроизведены в сб. «Петрашевцы», ред. П. Е. Щеголева, 3 выпуска, 1926—1928 гг. Для характеристики ген. Кузьмина представляет несомненный интерес тот общий отзыв, который он дает о вечерах («пятницах») Петрашевского в своих записках. «Я посещал эти вечера, бывавшие по пятницам, — говорит он там, — с весны 1848 г., и по совести можно было сказать, что беседы на этих вечерах были небезынтересны для каждого из присутствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут собирался народ молодой, образованный, читающий, мыслящий; впечатления принимались живо, всякая несправедливость, злоупотребления, стеснения, самоуправство глубоко возмущали душу каждого; напротив, всякое стремление к благу общественному или частному вызывало сочувствие, в какой бы форме стремление это ни высказывалось». В июне 1848 г. П. А. Кузьмин выехал по делам службы (для составления военно-статистического описания) в Тамбов и вернулся лишь в апреле 1849 г. и снова возобновил знакомство с Петрашевским. В докладе генерал-аудиториата о Кузьмине было сказано: «Отставной капитан-лейтенант Кузьмин был на собраниях у Петрашевского один раз (8 апреля, когда разбирались сочинения Фурье и Прудона и были разговоры о том, что простой народ принципом зла считает государя), но сам ничего предосудительного там не говорил и прежде того с Петрашевским не был знаком». На самом деле Кузьмин и раньше был, как мы только что видели, знаком с Петрашевским, да кроме того не верно, что в апреле 1849 г. он посещал

Петрашевского всего один раз. В своих записках П. А. Кузьмин рассказывает, что он был у Петрашевского тогда и 1 апреля, и 8-го, и 15-го, а кроме того и у себя устроил вечер 16 апреля для гостей Петрашевского. Случалось ему также выступать с речами на вечерах у Петрашевского. Так, 1 апреля П. А. Кузьмин говорил по вопросу о нормальном развитии судопроизводства. «Я доказывал, — рассказывает он в своих записках, — что первое всего необходимо было бы решить вопрос об улучшении судопроизводства и судопроизводства, потому что от неустройства этой части страдает все общество и каждый из членов его, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих за счет тех, которые именно и заслуживают большого сочувствия, и как предмет этот не может быть решен иначе, как учреждением публичного и гласного судопроизводства, с необходимым разбором хода дела в газетах и журналах, — то это самое, естественным образом, парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания; затем уже общество, подготовленное предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права» (См. ук. сб., вып. 1, 64—65). Напротив, Петрашевский полагал, что эти реформы должны быть расположены в обратном порядке, именно сначала должно быть проведено уничтожение крепостного права, а затем свобода книгопечатания и улучшение судопроизводства и судопроизводства. Но вместе с тем Кузьмин вполне признавал общее значение, которое тогда придавалось реформам. «Припомним, — говорит он, — что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам; такое повсеместное направление высказалось, наконец, в февральской революции, объявшей всю Западную Европу. С такой любознательностью выслушивались на вечерах у Петрашевского изложения сочинений новейших реформаторов; но как все эти трогательные описания блаженствующих фаланстеров и иных ассоциаций были только увлекательные, но неприменимые к осуществлению теории, нам же, живущим в среде мира действительного, необходимо было знакомиться ближе с тем, что существует на нашей матушке Руси, — то с общего согласия принято было предложение разделить наши вечера таким образом, что до ужина один из присутствующих будет излагать какой-либо общественный вопрос в каком виде осуществляется он в России; удобства или неудобства, осязаемые от того, а не иного положения дела, и, наконец, изыс-

кание и, если возможно, то указание средств к замене неудобных порядков удобнейшими; а после ужина могло бы продолжаться изложение социальных теорий» (там же, стр. 63). Так и велись вечера у Петрашевского, по крайней мере до отъезда Кузьмина в Тамбов. Отметим также, что на вечере 15 апреля 1849 г., последнем перед арестом Петрашевского, было прочитано письмо Белинского к Гоголю. Кузьмин, как указано выше, присутствовал при этом чтении. «Потом читано было, — рассказывает он, — письмо Белинского к Гоголю, написанное по поводу преисполненной ханжества «Переписки с друзьями», — письмо, известное теперь всему читающему люду, но тогда ходившее в рукописи» (67). Известно также, что в приговоре генерал-аудиториата было постановлено Достоевскому в особую вину чтение Белинского на вечере у Петрашевского 15 апреля (а также в других местах). Письмо Белинского квалифицировалось тогда правительственными кругами как ярко революционный документ, каким оно, впрочем, и было на деле. Ко всему этому следует прибавить еще, что свои записки по делу Петрашевского П. А. Кузьмин составлял в 1875 году, «спустя слишком 25 лет», как говорит он сам (стр. 65), после этих событий, когда он уже давно сделался вполне легальным человеком и находился на пути большой служебной карьеры. Но последнее обстоятельство не мешало ему говорить о своем прошлом и вообще о петрашевцах безусловно с теплым чувством. То же отношение к своему прошлому осталось у него, повидимому, и тогда, когда ему самому, бывшему политическому, пришлось судить таких же политических преступников, но уже не 40-х, а 80-х гг. Вполне поэтому возможно предположение, высказываемое М. П. Шебалиным (а также и другими участниками киевского процесса), что этим обстоятельством объяснялся до известной степени относительно мягкий приговор по их делу.

ХІХ. ПОДСУДИМЫЕ О СУДЬЯХ

(К стр. 167)

Такую же характеристику председателя суда ген. Кузьмина находим в корреспонденции (автором этой корреспонденции был Е. Д. Степанов, сам привлекавшийся по делу М. П. Шебалина), напечатанной в № 11 — 12 «Народной воли». Что касается пред-

седателя ген.-лейтенанта Кузьмина, то разве только его прошлым (он сидел, как говорят, в Петропавловской крепости по Петрашевскому делу) можно объяснить себе ту чрезвычайную порядочность, которую он проявил в роли председателя военно-окружного суда. Все заявления подсудимых, все речи защитников и последние слова подсудимых выслушивались им с замечательным вниманием. В течение 9-ти дней только лишь два раза он прерывал подсудимых. Панкратов в своем последнем слове, делая краткую характеристику своей жизни и тех причин, которые заставили его примкнуть к партии «Н. В.», и называя вещи их собственными именами, в резких для уха военного судьи выражениях развил мысль о том, что правительство своими действиями в случаях столкновения с ним вынуждало его избрать тот исход, который избрал он. «Всякая легальная честная работа на пользу общества или отдельных классов его подавляется правительством». По этому пункту председатель возражал. Караулову не было дозволено сделать характеристику реформ прошлого царствования. Васильеву председатель посулил отнять у него право слова за то, что назвал шаржем некоторые места обвинительного акта. Помимо же этого, никаких столкновений подсудимых с председателем не было, чему, между прочим, причиной было и то, что все их речи отличались сдержанностью, насколько это позволяло их собственное достоинство, как людей и как членов партии. Совершенно иное нужно сказать, — продолжает Е. Д. Степанов, — о военном судье, генерал-майоре Конисском. Этот человек с глуповато-животной наружностью вел себя до неприличия нахально. Он, понятно, все время не проронил ни одного слова, но зато же как будто хотел показать воочию, что он плевать хочет на всех и на все: в то время, когда говорили подсудимые или защитники, он углублялся в чтение газет и только при особенно энергичных выражениях обвинительной речи физиономия его осклаблялась в улыбку какого-то зверского наслаждения» (См. «Литерат. «Нар. В.», изд. политкаторжан. М. 1930, стр. 260, 261). С некоторыми вариациями, но в общем аналогичные отзывы дает о ген. Кузьмине и Конисском В. С. Панкратов в своих воспоминаниях: «Председатель суда, генерал Кузьмин, весьма внимательно следил за ходом дела, хотя нередко останавливал и подсудимых и защитников. Помощник же его, Конисский, все время читал отобранную у нас литературу и ни малейшего внимания не обращал на

судебное следствие. Только, когда говорил прокурор Щербович, он поднимал голову и прислушивался, не пропустит ли тот 249 ст. Но Щербович был не из таких. Это была сама 249 статья». («Былое», февраль, 1906, стр. 308).

XX. СПРАВКА О «ПОДПОЛЬНОЙ РОССИИ» СТЕПНЯКА

(К стр. 167)

Более подробно этот момент освещается в цитированной уже нами корреспонденции Е. Д. Степанова в № 11—12 «Нар. воли». Делая характеристику процесса, Е. Д. Степанов говорит, что он заслуживает внимания, между прочим, и в том отношении, что на нем «читались и толковались разные документы партии (программа Исполнит. комитета, программа рабочих членов партии «Нар. Воля», выдержки из одного из старых №№ «Нар. воли», объявление об издании «Вестника «Нар. Вол.», объявление об издании проектированной в Киеве газеты юго-западной группы «Нар. Воли» «Социалист», две рукописные статьи из вошедших в состав 10 № «Нар. воли», прочтена даже вся литографированная брошюра Степняка Подпольная Россия». Последнее произошло в виду того, что прокурору непременно хотелось, чтобы был прочитан оттуда отдел о терроре, подсудимые же поставили альтернативу — читать все или ничего. Прокурор, вероятно, так много рассчитывал на впечатление, которое должно будет произвести это чтение на судей и публику (жандармы, несколько генералов и офицеров, члены судебного ведомства и родные некоторых подсудимых), что решил читать всю брошюру, которая представляет изложение, с чисто субъективной, впрочем, точки зрения автора, исторического развития русской общественной мысли, начиная чуть ли не с 50-х гг., и охватывает эпохи реализма или нигилизма, народничества и народсвольчества (террор), так что и женский и религиозный вопросы были затронуты на этом политическом процессе. Все это дало возможность защите коснуться программы партии «Нар. Воли» и вообще принципов русских революционных фракций, чем и воспользовался присяжный поверенный Куперник, противопоставляя прокурорской характеристике партии «Нар. В.» и ее задачам свою собственную». (См. «Литерат. «Нар. Воли», изд. политкаторжан, М., 1930 г., стр. 259). В этой выдержке особенно ин-

тересна ссылка на «Подпольную Россию» Степняка, целиком прочитанную на суде. Дело в том, что брошюра Степняка, получившая вскоре после этого почти общеевропейскую известность, в тот момент являлась для России полной литературной новинкой. Она была написана за год перед тем за границей и не по-русски, а на итальянском языке. Степняк-Кравчинский вообще обладал большой способностью к усвоению иностранных языков. В частности, итальянский язык он изучил еще в 1878 году во время своего 10-месячного заключения в итальянских тюрьмах за участие в беневентской попытке к вооруженному восстанию. С того же времени у Степняка было много личных друзей среди итальянских революционеров. Находя вообще, что итальянское революционное движение имеет много общего с русским, Степняк и написал свои очерки: «La Russia Sottterranea», желая ознакомить посредством их итальянских революционеров с их русскими собратьями. На итальянском языке «Подпольная Россия» вышла в 1883 году, а в конце того же года появилась в России на родном языке в литографированном издании. Таким образом на суде по киевскому процессу «Подпольная Россия» читалась по первому русскому изданию, еще неизвестному даже для большинства привлекавшихся, не говоря уже о посторонней публике.

XXI. ЖАНДАРМЫ ГЕН. НОВИЦКОГО В РОЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ

(К стр. 167)

Как шел допрос свидетелей на суде, очень ярко показывает также рассказ об этом В. С. Панкратова в его статье: «К процессу 12-ти в 1884 году в Киеве», помещенной в № 2 «Былого» за 1907 г. Вот один из эпизодов, имеющих в этой статье: «Вызывают жандарма Фомина. В зал входит здоровенный детина, косая сажень в плечах. Прошу прочесть записанное им в памятную книжку. Читает: такого-числа, в таком-то году он видел меня с таким-то, и вместе мы отправились ко мне на квартиру и т. д., в течение нескольких дней. Сплошная ложь,—говорю я. Председатель делает мне замечание. Прошу вызвать жандарма Хмару. Является и по моему предложению читает свою записную книжку: с такого-то числа подсудимого не было видно в течение нескольких дней. Дни, на которые указывает Хмара, не совпа-

дают с днями, указанными Фомини: не успели списать или сверить друг у друга записи. Показания одного противоречат показанию другого. Кто-нибудь из свидетелей врет... В это время разыгрывается трогательная сцена между прокурором и Хмарою. — Ты, голубчик, может быть, устал, не совсем поправился? Тебе отдохнуть нужно, — нежно и ласково говорит Щербович (прокурор) Хмаре. «Господин председатель, прошу запретить прокурору любезничать с жандармом», — раздраженно заявляет Васильев. Чтобы сгладить неприятное впечатление, произведенное показаниями жандармов, прокурор вызывает пристава, Пашинского. — Скажите свидетель, — обращается к последнему прокурор, — вы были при задержании подсудимого Панкратова? Пристав подтверждает. — Куда были направлены выстрелы? — «В меня, прямо в меня», — увлекается пристав. — Вы сказали, что выстрелы были направлены прямо в вас, — вмешивается защитник, — а не помните, в котором часу это было? — «В 10-м, вечером». — Значит было уже темно, — подсказывает защитник. Прокурор нервно крутит ус. — В каком положении находился стрелявший? — спрашивает он пристава. «Этого я не могу сказать. Кругом был народ, толпа... я этого не могу сказать». Но вы все-таки видели, что подсудимый направлял выстрелы на вас, — замечает защитник. Смех. Новицкий, присутствовавший при этом перекрестном допросе, потерял всякое спокойствие и во время антракта сделал отеческое внушение Фомину» (см. ук. статью, стр. 299, 310). О том же инциденте с жандармом Хмарою говорится также в корреспонденции Е. Д. Степанова. «Большая часть судебного заседания была заполнена показаниями жандармских унтер-офицеров, которые зарекомендовали себя на этот раз самым скандальным образом, несмотря на то, что у них было достаточно времени прорепетировать свои роли... Во время самого суда у них происходили репетиции с жандармскими офицерами и прокурорами и самый допрос свидетелей-жандармов во время судебного следствия производился, как говорят, по-домашнему. До крайнего неприличия в этом отношении дело дошло с Хмарой. Этот Хмара путался и врал безбожно. Не говоря уже о противоречиях его показаний на суде с тем, как они были занесены в обвинительный акт, положительно нельзя было дать отчет в том, что он хочет сказать. Прокурор объяснил судьям это тем, что у Хмары голова разболелась от перекрестного допроса. Когда дело дошло до передо-

проса некоторых свидетелей, по требованию как защиты, так и обвинения, прокурор настаивал на передопросе Хмары. «Вот видишь ли, — обратился он к подошедшему «свидетелю», — вчера твои показания были не совсем понятны. Ты прослушай меня, я передам их смысл, и, если я ошибусь, поправь меня». Затем следует будто бы резюме вчерашних показаний свидетеля. «Верно ли я тебя понял?» — спрашивает прокурор. «Так точно, ваше высокоблагородие!» — отвечает жандармский унтер-офицер. И такой прием употребляется прокурором не раз в продолжении следствия. Вообще показания свидетелей-жандармов произвели, повидимому, на всех самое отвратительное впечатление, чем жандармское начальство осталось в высшей степени недовольно» (См. «Лит. «Нар. В.». М., 1930, стр. 259). Необходимо отметить еще, что корреспонденция Е. Д. Степанова и статья В. С. Панкратова писались в разное время: статья Панкратова помещена 1906 годом (на ней стоит кроме того пометка: «Париж», это было сделано тогда В. С. Панкратовым из конспирации, чтобы скрыть от полиции истинное место своего пребывания), а корреспонденция Е. Д. Степанова писалась тотчас же после суда, и тем не менее оба эти документа, как видим, полностью совпадают друг с другом.

XXII. О РУКОПИСИ, НАЙДЕННОЙ У П. Г. ДАШКЕВИЧА

(К стр. 170)

Рукопись, о которой тут идет речь, была взята не у Караулова, а в складе нелегальных изданий, устроенном в духовной академии (киевской) П. Г. Дашкевичем. В описи взятых там предметов (в «заклучении» военного прокурора) под п. 18 значится: «Преступного содержания рукописная статья, начинающаяся словами: «Ошибки революционера и преступления предателя» и оканчивающаяся словами: «стать в уровень с веком». Затем в том же «заклучении» (как и в обвинительном акте), после перечисления всего найденного у П. Г. Дашкевича, говорится между прочим, что та же рукопись преступного содержания, начинающаяся словами: «Ошибки революционера и преступления предателя», писана рукою Караулова, почерк которого представляется особенно характерным. На этом основании обвинительная власть пробовала доказывать, что так как рукопись эта пи-

сана «рукою Караулова» (что являлось бесспорным), то он является и автором ее. На самом же деле автором этой рукописи являлся не В. А. Караулов, а Лев Тихомиров. Караулов же привез с собой в Россию только одну из копий, действительно писанную его рукой. Это та самая статья Тихомирова, которая предназначалась им для № 10 «Нар. воли» в качестве передовой и которая вызвала, как только была доставлена в Россию, решительный протест против ее помещения со стороны «Молодой «Народной Воли», в частности со стороны П. Ф. Якубовича, о чем говорится также и в его письмах и показаниях, ниже напечатанных. Вместо этой передовой «Молодая «Нар. Воля» предполагала поместить свою передовую, принадлежавшую по одним (мало достоверным) сведениям Е. И. Конради, а по другим, почти бесспорным, — К. А. Степурину. В частности и П. Ф. Якубович, как это опять-таки видно по его письмам к М. П. Шебалину (стр. 247 настоящей книги), категорически высказывался за степуринскую статью, а не за тихомировскую. Борьба около этих двух статей составляла одну из ярких страниц всей истории «Молодой «Нар. Воли». В конце концов после «примирения», когда оппозиция заключила соглашение с «Распорядительной комиссией», в № 10 «Нар. в.» была напечатана в качестве передовой не статья Степурина, а статья Тихомирова, действительно начинавшаяся словами: «Ошибки революционера и преступления предателя», а кончавшаяся фразой: «и только тогда мы в состоянии будем встать в уровень со своими задачами». В настоящее время в «Литературе партии «Нар. Воля» (изд. политкаторжан, М., 1930) эта статья находится на стр. 213—216. Историю борьбы из-за этой статьи см. у С. Н. Валка в его исследовании о «Молодой «Нар. Воле» в «Проблемах марксизма» № 1 за 1930 год и в «Каторге и ссылке», кн. 75, а также в примечаниях к серии документов о «процессе 21-го» в «Красн. Арх.», кн. 36—38.

XXIII. УГРОЗЫ ПОЛК. НОВИЦКОГО ШЛИССЕЛЬБУРГОМ

(К стр. 173)

Распоряжение департамента полиции об отсылке 4-х каторжан по киевскому процессу было сделано 4 декабря 1884 года, как это видно по документам, напечатанным в настоящем издании (см. стр. 305), но киевские жандармы на много раньше,

несомненно, знали уже, что «мягкость» приговора будет компенсирована именно таким путем. Это видно из следующего рассказа В. С. Панкратова: «Через неделю после суда, — рассказывает В. С. Панкратов, — мне пришлось снова очутиться на допросе по новому делу. Это была первая моя встреча с Новицким после приговора суда. — «Дамский» приговор получили, — говорит он мне. — Вы недовольны? — Нет... мне что же! Но председателю так не пройдет. Да и вы, может быть, не будете рады, — как-то пробормотал он». «Тогда я не понял смысла последней фразы, — продолжает Панкратов, а то легко было бы догадаться, что предстоит попасть не на Кару, а в Шлиссельбургскую крепость» («Былое», № 2 за 1907 г., стр. 321). Между тем разговор этот происходил по меньшей мере за 3 недели до официального распоряжения об отсылке в Шлиссельбург.

Несколько иначе те же факты излагает в статье о В. А. Караулове, уже цитированной выше, Г. А. Лопатин. «Караулов уехал из Парижа раньше меня и направился в Киев, где в это время Шебашины ставили свою типографию. Все предприятие быстро рухнуло, все его участники попали в тюрьму, а затем под суд. Как известно, суд обошелся с ним сравнительно милостиво, за что и получил потом хорошую нахлобучку. Все обвиняемые были осуждены на срочную каторгу и предназначались к отсылке на Кару. Но при отправке все они — Караулов, Шебакин, Панкратов и Мартынов (Борисович) — не позволили обрить себе полголовы и заковать себя в кандалы до прибытия на место наказания. За этот «бунт» их повернули в Шлюшин (Шлиссельбургскую крепость), где они очутились ранее меня и пережили все его первые самые тяжелые времена» (стр. 160, сб. статей Г. А. Лопатина, ГИЗ, 1922). Теперь мы можем сказать в точности и на основании документов, что участников киевского процесса «повернули в Шлюшин» не за «бунт», а еще до «бунта» в компенсацию за «мягкость» приговора.

XXIV. ПИСЬМО СОВРЕМЕННОКА О ТЮРЕМНЫХ НАСИЛИЯХ

(К стр. 175)

Тому же вопросу об обстоятельствах, сопровождавших заковку в кандалы и бритье арестованных, было посвящено письмо одного из заключенных, напечатанное в № 11—12 «Народной

воли» в дополнение к корреспонденции из Киева. Приводим это письмо полностью для сопоставления его с напечатанным у нас в тексте официальным документом:

«Кажется, еще при вас был поднят вопрос о протесте против бритья. Ко дню отправки вся тюрьма решила протестовать. Смотритель два раза ездил к губернатору узнать, не решится ли он отправить каторжан небритыми. Отказ. Наши не согласились итти в контору для операции; солдаты уносили их на руках. Чтобы помешать сильному движению головы и избежать глубоких порезов, солдаты крепко держали бреемого. Солдатские ладони буквально сплошь покрывали всю голову: поднимается одна часть ладони — бреется часть головы, эта часть закрывается, открывается и бреется следующая часть, и так до конца. Подбородок и шею со всех сторон давили кулаками, чтобы сделать голову неподвижной. Понятно, что такое бритье — пытка. Шебалин после бритья упал на пол и несколько минут пролежал в бессознательном состоянии. При таком насилии и без всякого приготовления был бы бунт. Во всех камерах поднялся страшный шум: били стекла, посуду, у кого была, выбивали форточки в дверях. Панкратов при своей силе совершенно погнул железный стол и стул, вынул несколько кирпичей около последнего и в заключение вырвал верхнюю оконную раму. Через несколько времени в коридор явилась рота солдат, офицер и смотритель, — начался осмотр погрома. У кого была выбита форточка, того оставляли в покое, у кого стекла — вязали. С Калининком сделался нервный припадок. Лежа, он заявил, что только припадок мешает ему бить стекла и форточку, и сказал солдатам: «вяжите!». Его не тронули. Связали таким образом не всех, связанные же скоро ухитрились развязать себя. В полночь приехал полицеймейстер и грозил принять строгие меры, если не успокоимся. Вязать вновь не решились, а так как бить больше было нечего, то, понятно, мы успокоились. Все это было накануне отъезда. При выходе нашем из конторы «юбиляры» (студенты, арестованные по поводу беспорядков) стали бить стекла в своих камерах и провожали нас криками: «Прощайте, прощайте, мы не забудем вчерашнего поругания над вами! На вокзал мы шли под усиленным конвоем. С этапа на этап до Бутырской тюрьмы нас передавали с рекомендацией «бунтарей». Везли нас как будто секретно, в Москве нас почему-то не ждали. Из Киева сообщили, что приедут только Левенталь и Козловский (народный учи-

тель). Для нас не оказалось места; первый день сидели в конторе, а потом перешли в камеру для уголовных. Приставили специальных часовых; сначала не пускали даже в коридор. Впрочем, в одной камере мы пробыли только два дня. В пятницу, перед самым обедом, взяли Дирдовского, которого предварили накануне, а каторжан повезли совершенно неожиданно по телеграмме из Питера. Все сделалось так быстро, что Шебалин не успел даже попрощаться с женой. Прощание было тоже тягостное: мы догадывались, куда везут каторжан. В январе получили письмо от Дирдовского, пишет, что товарищей увезли сначала в Петропавловку, а оттуда в Шлиссельбург». (См. «Литература «Нар. Вол.», изд. политкаторжан, М., 1930, стр. 261).

XXXV. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О П. Ф. ШЕБАЛИНОЙ-БОГОРАЗ

(К стр. 177)

По официальным данным, Прасковья Федоровна Шебалина-Богораз скончалась в Московской пересыльной тюрьме 11 ноября 1885 года. Дата эта устанавливается отношением смотрителя тюрьмы за № 1420. От чего она скончалась, в отношении смотрителя не сообщалось. Документы эти находятся в деле, озаглавленном: «О лицах, осужденных киевским военно-окружным судом 8 ноября 1884 года за принадлежность к противозаконному сообществу». № 5491/1884, ч. 1-я, д. л., 5, делопроизводство. В этом же деле имеется, между прочим, любопытное письмо П. Ф. Шебалиной от 27 мая 1885 года к М. П. Шебалину, находившемуся уже в Шлиссельбургской крепости. В своем письме Парасковья Федоровна, обращаясь к Михаилу Петровичу, говорит: «Водворение твое в Шлиссельбурге сначала до такой степени действовало на меня, что я, положительно, была близка к сумасшествию, но теперь я уже несколько смирилась и стала довольно бодра духом; одно только обидно, что от тебя ни строчки — ровно в воду канул, а мне предоставлено только право от времени до времени справляться в департаменте государственной полиции о состоянии твоего здоровья и, конечно, верить или не верить в официальные сообщения. Во всех моих просьбах по отношению тебя мне безусловно отказано и теперь даже потеряла всякое желание строчить прошения», «С твоей семьей

я веду деятельную переписку и со всеми членами ее так сроднилась, что даже мать твоя выражает страстное желание когда-нибудь пожить с твоей семьей. Мать знает о твоём положении, ибо ее усиленные просьбы написать всю правду склонили меня открыть ей место твоего водворения. На-днях должна приехать ко мне твоя сестра». Письмо это было запечатано в конверт, на котором рукой Парасковьи Федоровны написан адрес: «В департамент государственной полиции. Его высокопревосходительству товарищу министра Оржевскому. Для передачи водворенному в Шлиссельбургскую тюрьму Михаилу Шебалину». В том же деле имеются также прошения Парасковьи Федоровны о свидании с Мих. Петровичем, с его родными, а также прошения матери Мих. Петровича, в одном из которых она просит разрешить ей жить совместно, не взирая на те условия, которые будут для него созданы, в другом же она умоляет сообщить, где находится тот же сын ее, М. П. Шебалин, так как даже не осведомлена о месте его заключения. На этом прошении рукой директора департамента полиции положена резолюция о том, что состояние его здоровья удовлетворительно, но что всякого рода переписка с ним запрещена. Все эти документы были найдены в 1928 году Л. И. Радченко в «Архиве революции и внешней политики» и тогда же сообщены им М. П. Шебалину, при чем письмо Парасковьи Федоровны было прислано ему в копии. Таким образом письмо это (в копии) было получено Михаилом Петровичем через 43 года после того, как оно было написано!

XXVI. ПИСЬМО М. П. ШЕБАЛИНА ИЗ ВИЛЮЙСКА

(К стр. 178)

Ответ Зволянского (Зволянский ответил тогда, что пароход уходит в марте) находится в одном из вилюйских писем самого М. П. Шебалина к родным. Когда М. П. Шебалин прибыл после Шлиссельбурга в Вилюйск, он вступил тотчас же в переписку с своими родными. Перед этим он писал им в 1883 и 1884 гг. (эти письма см. в отделе документов, стр. 257). Одно из вилюйских писем было посвящено краткому рассказу о Шлиссельбурге. К сожалению, ни это письмо, ни другие его письма из Вилюйска не сохранились. Сохранился только отрывок письма, помеченного № 7-м, от 5 августа 1897 года, к матери и брату Дмитрию, в котором, между прочим, рассказывается о посещении Горемы-

кина и о дороге в Сибирь. Так как письмо это небызынтересно вообще, то мы приводим его в той части, которая дошла до нас. «Дорогие мои мама и брат Митя, — так начинается оно. — Письмо ваше от 22 мая я получил 28 июня и надеюсь, что теперь буду каждый месяц получать от вас по одному письму. Вы не можете себе представить, милые мои, какое удовольствие получать письма в нашей глуши. Почта приходит только раз в месяц; как только слышат колокольчики (летом, весной и осенью почта идет верхами, но все-таки на шеях лошадей привязывают колокольчики), все бегут, кричат: почта пришла! и бросаются к почтовой конторе, где несчастного почтмейстера чуть не разрывают на части. А как бывает грустно, когда почта ничего не приносит! Другие получают, а ты стоишь и смотришь». «Вы спрашиваете, милая мама, о карточках, я их получил еще в тюрьме, и теперь они у меня, их выслали мне сюда. Мне хотелось бы иметь карточки за последнее время; если вы или кто-либо из родных будете сниматься, то не забудьте послать и мне. В прошлом письме я вкратце описал свою жизнь в Шлиссельбурге, теперь напишу о своем пути». «Летом прошлого года посетил нашу тюрьму министр Горемыкин. Когда он вошел ко мне, я спросил его: «Увезут ли меня из Шлиссельбурга в ноябре этого года, так как срок, назначенный судом, кончается в этом месяце?». Он ответил, что не видит причин оставлять меня в тюрьме и прибавил: «Вы, конечно, знаете, что придется ехать далеко». Я сказал: «Конечно, знаю, а когда могут меня увезти?». Тогда он, обратившись к сопровождавшему его чиновнику, спросил: «Когда уходит первый пароход?». Тот ответил: в марте. Министр, обратившись ко мне, сказал: «Ну, вот, видите, должно быть, в марте». Из этого разговора я и заключил, что меня увезут на Сахалин, но вышло не так. В первых числах ноября мне объявили, что по докладу министра царь приказал сослать меня, за окончанием срока каторжных работ, в Якутскую область с тем, чтобы обязательного пребывания в Сибири было 14 лет. Кроме меня, выпущены на поселение еще 3 человека, а одна женщина отправлена на Сахалин. Другим (нескольким человекам) был уменьшен срок или назначен срок (бессрочным). Разумеется, у нас была великая радость. Мы с нетерпением ждали, когда нас увезут; наконец, 27 ноября нас, 4-х мужчин и одну женщину, перевезли в Петропавловскую крепость. Через два-три дня я и мой товарищ Суровцев были уже в Москве».

XXVII. ОТРЫВОК ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. Н. ФИГНЕР

(К стр. 182)

Очень ярко описан этот момент в воспоминаниях В. Н. Фигнер о Шлиссельбурге. «В начале ноября (1896 г.), когда мы находились в старой тюрьме на работах в мастерских, внезапно пришел вахмистр и увел одного за другим нескольких лиц и между ними Людмилу (Л. А. Волкенштейн), сказав, что их ждет комендант. Все были в недоумении и тревоге, не зная, что бы это значило. Однако, уведенные скоро возвратились. Они были взволнованы и рассказали, что комендант объявил им, что по коронационному манифесту каторга бессрочная заменена 20 годами Василию Иванову, Ашенбреннеру, Стародворскому и Поливанову, а Панкратову, Суровцеву, Яновичу и Л. А. срок сокращен на одну треть, в силу чего Л. А., Суровцев и Янович должны теперь же выйти из крепости. 23 ноября ее и 4 других товарищей должны были увезти. В 1 час дня уезжавших одного за другим стали выводить из камер, а потом из тюрьмы. По выходе из тюремной ограды на обширный двор крепости каждый освобожденный останавливался, чтобы безмолвным жестом выразить нам свое «последнее прощание». Из окон камер мы смотрели на их удалявшиеся фигуры. Каждый, обернувшись в нашу сторону, делал низкий поклон; мужчины снимали шапки и махали ими в знак приветствия, а Л. А., остановясь два или три раза, махала платком. Мы тоже держали в руках белые платки, которые издали было легче видеть через двойные рамы и решетки наших окон. Мы провожали взглядом друзей, возвращавшихся к жизни, и в ту минуту, казалось, вокруг нас образуется новая темная пустота. Вот они дошли до ворот и скрылись. Для нас они перестали существовать: словно морская бездна разверзлась и поглотила их, и ни одна весточка не должна была сказать нам, что будет с ними дальше» (соч., т. II, 130—132).

О некоторых из уехавших тогда, как раз именно о М. П. Шебалине и Д. Я. Суровцеве, некоторые вести дошли все-таки до Шлиссельбурга. Как это случилось, об этом рассказывает та же В. Н. Фигнер, но не в «Запечатл. тр.», а в письме к Л. Ф. Яновичу, посланном из Неноксы вскоре после освобождения. «После вашего отъезда, — пишет там В. Н. Фигнер, — в один осенний вечер, когда все были дома, т. е. в камерах, и сидели при свете ламп над книгами, внезапно Лука возвестил громко, что

есть официальное извещение от вас и Мити. Там говорилось, что вы поселены в Нижне-Колымске, получаете по 16 р. в месяц на жизнь, занимаетесь огородничеством и устроились хорошо. Базиль (В. Г. Иванов) уверяет, что это было через 4 месяца после вашего отъезда, но мне кажется, что это было уже осенью 1897 года... Как все мы были обрадованы этим извещением! А Базиль так постоянно потом громко говорил о вашей и Митиной расторопности, что вот-де единственные люди, сумевшие устроить извещение. Затем Базиль хлопотал через посетившего нас генерала Пантелеева, чтобы сказали, где Шебалин и Мартынов, и его бумагой известили, что они в Вилюйске, тоже вдвоем, гнездом, как я называю эти коллективные поселения. О Людмиле узнали из письма матери Тригони. Но затем всякий приток известий прекратился, если не считать кое-каких косвенных наведений и гаданий» (том VI, соч., стр. 301—302). К числу таких косвенных наведений и гаданий относится, между прочим, один из очерков Тана, описывавших группу заброшенных на Колыму ссыльных, в числе которых шлиссельбуржцы легко узнали также Суровцева. См. об этом у М. В. Новорусского в «Записках шлиссельбуржца», и у В. Н. Фигнер в ч. II «Зап. тр.», стр. 144.

XXVIII. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ Д. Я. СУРОВЦЕВА

(К стр. 189)

«Суровцев по существу был идеалистом и аскетом, — говорит о нем В. Н. Фигнер. — Таким он был на свободе, когда после разгрома московской группы я нашла его в Воронеже, живущим на берегу реки, без всякого приюта, страдающего малярией, укрывающегося в дождливую погоду под лодкой и питающегося картошкой, сваренной в котелке. Таким он был в тюрьме, таким же остался по выходе из нее». «Человек миролюбивого настроения, он странным образом попал в члены партии «Нар. Воли» и... принял предложение сделаться хозяином типографии, в которой печатался орган нашей партии». «Попав в Шлиссельбург, Суровцев впоследствии стал совсем толстовцем и однажды пустил среди нас листок на тему: «зло родит зло, а добро — добро». Противник всякого убийства, Суровцев был вегетарианцем и, когда нам стали давать мясо, упорно отказывался от него. Однако, когда начальство заменило для него мясо рыбой, он

потреблял ее. По совершенно непонятной причине он был решительным противником употребления горячей воды, что дало Лопатину повод дать ему в шутку прозвище: «Митя Кипятюк». Не привыкший к умственному труду и не имея склонности к нему, Суровцев в крепости летом занимался преимущественно огородничеством, которое очень любил, и выращивал превосходные овощи, а зимой много работал в столярной мастерской и в области физического труда выказывал значительную техническую ловкость. Кроме него, никто не делал таких красивых ложек, ножей и вилок из пальмового дерева, какими он снабжал нас в то время, когда металлических орудий этого рода нам не давали (стр. 142, 143, 144). Краткую биографию Суровцева см. также в кн. 17 «Кат. и ссылки» в статье Р. Нестерова. Здесь же очень любопытные данные о последних годах жизни (умер 3 марта 1925 г. 73 лет) в г. Тотьме Вологодской губ. «С 1922 г. Суровцев, через органы Наркомпрода, стал получать хороший паек. Последние годы он получал денежную помощь от О-ва политкаторжан и местного уездного исполнительного комитета, но, за незначительными остатками для себя на пищу, все раздавал бедным сиротам. Сам ходил в нищенских лохмотьях и валенках, состоявших из бесчисленного множества заплат. Неоднократно брал для себя башмаки и валенки, но ни разу не доносил их до дому. После его смерти в его ветхой, курной, грязной и темной неуютной лачужке не осталось ничего, кроме множества разной битой посуды, которую он хранил для выращивания разных культур своего огорода, нескольких простых скамеек и телом отшлифованных до блеска досчатых нар около его своеобразной печки-«каменки». «Условия пребывания в Москве у своих старых друзей, куда и его приглашали, он называл «золотой клеткой» и возможность дышать свежим простором бодрящих тотемских полей не соглашался сменять на нее» (ук. ст., 241 и 242). См. также письмо-некролог Д. Я. Суровцева в «Веч. Красн. газ.» (Ленинград, март 1925 г.) с характерными фактами из той же тотемской жизни.

XXIX. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

К. А. СТЕПУРИНА

(К стр. 245)

У С. Н. Валка находим такие сведения о К. А. Степурине: «Степурин, Константин Алексеевич, штабс-капитан, один из тех

деятелей «Нар. Воли», о которых мы имеем все еще слишком мало сведений. Вас. Папин, член военной организации, в своих показаниях 10 марта 1884 года сообщает, что Степурин, прибывший в кронштадтскую крепостную артиллерию в 1879 г., сперва придерживался «старого легального направления» и «преследовал малейшее отклонение от закона, с чьей бы стороны оно ни происходило». В 1880 г., который был критическим годом для многих офицеров, Степурин начал бывать на собраниях народо-вольцев-офицеров, признав цели «Нар. Воли» — «справедливыми», а средства — допустимыми. Сближение пошло, очевидно, еще далее, когда Степурин был переведен в петербургскую крепостную артиллерию. Его несколько раз навещал Н. Н. Колоткевич, он познакомился и с Дегаевым. Связи Степурина с народо-вольцами оборвались, когда он был переведен в Новогеоргиевск. Но несомненно его влияние на офицеров Новогеоргиевской крепости, впоследствии привлеченных по делу «Пролетариата». Весной 1883 г. Степурин вышел в отставку, вернулся в Петербург и просил у Папина вновь ввести его в революционную среду. Папин указал ему на И. П. Ювачева и М. Ю. Ашенбреннера, но Степурин вошел всецело в дела, повидимому, лишь после новой встречи с Дегаевым, который ввел его в центральный петербургский кружок, сделал участником петербургского октябрьского съезда и тем членом созданного тогда органа, в руках которого сосредоточены были все организационные связи. Так смотрел на Степурина и Лопатин, передавший перед отъездом в Париж в декабре 1883 г. Степурину также свои связи. Это положение Степурина и явилось причиной того, что все ожесточение оппозиции было направлено именно на него. Степурин был арестован 9 марта (в связи с арестом Ф. К. Грекова, произведенным в ночь на 4 марта), почти не давал показаний, и 20 февраля 1886 г. покончил с собою в доме предварительного заключения, перерезав горло ножом, данным ему для разрезки пищи к ужину» (См. «Красн. Арх.» примеч. к серии документов «о процессе 21-го» кн. XXXVI, стр. 166).

Эта характеристика основана на архивных материалах. У других авторов находим такие же характеристики Степурина, основанные на личных впечатлениях. Так, А. Н. Бах рассказывает, как, приехав в Петербург в начале 1884 г., он там встретился со Степуриным: «На четвертый день моего приезда в Петербург мне было назначено свидание с лицом, к которому я

имел пароль. В большой квартире на Садовой, куда меня направили, меня встретил высокий, прямой господин лет тридцати двух, в котором сразу был виден военный, одетый в штатское платье. Это был штабс-капитан К. А. Степурин. Симпатичное, хотя и некрасивое лицо несколько чухонского типа и полное отсутствие какой бы то ни было аффектации с первых его слов очень расположили меня в его пользу. Более близкое знакомство с ним только подтвердило и углубило мое первое впечатление, и в галерее светлых личностей, с которыми судьба столкнула меня и память которых я чту, Степурин занимает видное место». «Степурин сказал мне, что он сам к центру не принадлежит, но что, уезжая после убийства Судейкина за границу, Лопатин передал ему связи, так сказать, на хранение. Ему было поручено принимать революционеров, которые могли приехать в Петербург, и передать им, что в настоящий момент центр реорганизуется и что он выпустит скоро официальное сообщение о дегаевской истории». «Рассказал мне также Степурин, что эта история подняла большую смуту в умах и что некоторые революционеры, во главе которых стоит «Александр Иванович» (поэт Якубович), стремятся создать центральную организацию независимо от старых членов комитета, находившихся в Париже, и, так сказать, в оппозицию к ним». «Чтобы вполне отметить свою независимость, они приняли имя «Партии Молодой «Народной Воли», и ввели в программу фабричный и аграрный террор. Якубович требовал от Степурина переданных ему партийных связей, но Степурин отказал, говоря, что он сдаст их тем, от кого получил на хранение. Приезд Лопатина ожидался со дня на день, и Степурин был абсолютно прав». «Но отказ его шел вразрез с планами Якубовича, и он с неразборчивостью, которая не делает чести его характеру, стал буквально смешивать Степурина с грязью и намекать на то, что после опыта с Дегаевым следовало бы не особенно доверять военным. Степурин очень страдал от этих возмутительных инсинуаций. Но он был человек долга и только один раз говорил мне о всей тяжести своего положения». «Я виделся со Степуриным раз восемь. На последнем свидании, которое произошло на квартире у моей ярославской знакомой курсистки Рословой, он поразил меня своей разбитостью. Он сказал, что за ним последние дни усиленно следят и что ему с большим трудом удалось отделаться от сыщиков, чтобы притти на свидание со мной. Он думал, что его скоро арестуют, так как

слежка за ним не дает полиции желаемого ею результата. На другой день его действительно арестовали и посадили в крепость; затем он был переведен в дом предварительного заключения, где вскоре и покончил жизнь самоубийством» (См. А. Н. Бах «Записки народовольца», изд. «Молодой гвардии», М.—Л. 1929 г., стр. 92—94).

Какова была общественная позиция Степурина за это время, об этом дает понятие следующий отрывок из воспоминаний И. И. Попова, входившего тогда в «Молодую «Нар. Волю»: «Наше предложение Степурину собрать возможно скорее совещание—съезд—для пересмотра программы смутило его. Он указал, что полномочий у него на переговоры нет и просил дожидаться приезда Лопатина. *К нашей программе, с которой мы ознакомили его, он отнесся резко отрицательно.* Мы настаивали на необходимости скорейших переговоров в виду того, что наши товарищи-единомышленники требовали выпуска нашего журнала «Народная борьба», указывая на то, что «Народная воля» не выходит. Сообщение о том, что у нас «на случай» расхождения подготавливается журнал и что типография Сладковой может отпечатать его, смутило Степурина. Через несколько дней у нас снова было совещание со Степуриным, на котором были Флеров и еще кто-то со стороны Степурина. Согласились начать переговоры. На совещание Степурин пригласил представителей из Москвы и провинции. О «Молодой «Народной Воле» он уже написал за границу». «В конце февраля или начале марта в Петербург приехали С. А. Иванов и А. Н. Бах. Иванов отнесся к нам довольно терпимо, Бах же резко отрицательно». «Совещания шли вначале в повышенном тоне и довольно беспорядочно. Ждали приезда провинциалов, между прочим А. В. Геденовского, из-за границы Г. А. Лопатина. Степурин и Бах стремились убедить нас в нерациональности наших доводов, а Якубович указывал им, что они не знают жизни». «Степурин выглядел невесело и говорил, что Дегаев выдал его и он замечает, что за ним следят. Выдал его или нет Дегаев, но 9 марта в разгар наших переговоров К. А. Степурин был арестован» (См. «Революционные организации в Петербурге в 1882—1885 годах», в № 1 сб. «Народовольцы после 1 марта 1881 года», издательство политкаторжан, М., 1928, стр. 70—71).

Приблизительно такие же сведения о Степурине дает также В. И. Сухомлин в своих воспоминаниях «Из эпохи упадка пар-

тии «Народная Воля», говоря о периоде после убийства Судейкина: «После убийства этого последнего Лопатин, уезжая за границу, передал все связи и инвентарь Исп. комитета К. Степурину и Л. Д. Черновой, ставшими вследствие этого единственными представителями Исп. комитета в Петербурге. Официальные сношения с различными революционными организациями, впрочем, вел один Степурин, называя себя «временным представителем центра». В качестве такового Степурин стал объектом интриг и инсинуаций Овчинникова, оказавших свое влияние, между прочим, на Якубовича».

В. И. Сухомлин вместе с тем не думает, чтобы Степурин был тогда указан Судейкину Дегаевым. «Сослуживец Дегаева по крепостной артиллерии, он, повидимому, был из числа тех лиц, о революционной деятельности которых Дегаев не считал нужным сообщать Судейкину» (См. «Каторга и ссылка», кн. 27, стр. 77).

Кроме указанных мест есть еще несколько строк о Степурине в воспоминаниях Г. Н. Добрускиной, которая рассказывает: «В конце декабря (после убийства Судейкина) ко мне пришел Степурин-артиллерист — член военной организации «Нар. Воли», с которым часто встречалась. Томился он ужасно. Он был подавлен раскрывшимся перед ним предательством Дегаева, которого он уважал и который привлек его к участию в революции. Он точно чувствовал, что скоро будет арестован. И действительно, когда он вернулся домой, его уже ждали и он был арестован» (См. «Автобиографию» в словаре Граната, том 40, прилож., стр. 123—145). К последним словам нужно прибавить, впрочем, что Степурин был арестован не в конце декабря, а 9 марта, как это выше указано.

Наконец, необходимо привести отзыв Г. А. Лопатина о Степурине в письме к В. Я. Богучарскому (от 27 апреля 1911 г.), в котором Лопатин говорит, «что он знал Степурина достаточно, чтобы утверждать, что это был верный слуга и безусловно преданный делу человек» (см. у С. Н. Валка в кн. 75 «Кат. и сс.», стр. 99).

Что касается Л. Д. Черновой, работавшей вместе со Степуриным во временном центре партии, о которой упоминает В. И. Сухомлин в вышеприведенной цитате, то о ней см. заметку — некролог в № 75 «Каторги и ссылки», стр. 202—204.

XXX. СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ» Ф. К. ГРЕКОВ

(К стр. 246)

Греков Ф. К., секретарь газеты «Новости», находился в 1883—1884 гг. в близких сношениях с народовольческой организацией. Он внесен даже в список «Участников народовольческого движения», составленный кружком народовольцев при обществе политкаторжан (См. сб. III «Народовольцы», стр. 295). О нем говорят также многие тогдашние мемуаристы, либо называя его прямо по имени, либо каким-нибудь псевдонимом. Так, С. А. Иванов в одном из писем (шлиссельбургских) к П. В. Карповичу делает такое замечание: «Имелись у меня в Петербурге еще и другие полезные заручки... в двух петербургских газетах знакомые служащие (один из них секретарь газеты), интересные в том отношении, что в редакциях газет скопляется, как известно, немало корреспонденций, не попадающих в печать по цензурным условиям, могущих послужить фактическим материалом для революционных изданий» (См. сб. «Народовольцы 80-х и 90-х годов», изд. политкаторжан, М. 1929, стр. 52). Секретарь газеты, о котором тут идет речь, это и есть Ф. К. Греков. О том же Грекове пишет В. И. Сухомлин: «Связь со Степуриным была установлена через посредство секретаря газеты «Новости» Грекова, через которого, между прочим, разыскал Степурина в начале марта и я, сказав Грекову пароль, сообщенный мне в Париже Лопатиным». (См. сб. «Народная Воля» перед царским судом», вып. II стр. 45). Вполне возможно, что через того же Грекова разыскал Степурина и А. Н. Бах, хотя прямо об этом в своих «Записках народовольца» он и не говорит (см. стр. 92). В «Хронике» ген. Шебеко о Грекове сказано: «Чтобы быть принятым в качестве делегата от киевских социалистов в Петербурге, нужно было представиться помощнику секретаря съезда мировых судей со следующим паролем: «Соблаговолите дать мне справку по делу № 1001» и к секретарю редакции большой газеты «Новости» Грекову (см. «Хроника соц. движ. в России» 1878—1887 гг., М., 1906, стр. 252). Об этом же пароле и об этой «явке» у Грекова говорится в письме К. А. Степурина к М. П. Шебалину. «Явкой» у Грекова пользовались таким образом наиболее крупные и заговорившие подпольные работники. О том же Ф. К. Грекове и об его явочном пункте не раз упоминает в своих воспоминаниях И. И. Попов, как в «Автобиограф.» в словаре Граната, так и в книге «Ми-

нувшее и пережитое». Насколько большое значение правительство придавало роли Грекова, видно из следующего факта. В знаменитом «Правительственном сообщении» (писанном, как говорят, Катковым) о закрытии «Отеч. записок» есть такое место: «производящимся следствием выяснено, что занимавший место секретаря редакции одного из периодических изданий служил посредником в сношениях членов преступной партии, существовавшей в С-Петербурге, с их единомышленниками в провинции и за границей». Здесь имеется в виду тоже Греков, о котором тогда как раз производилось следствие после его ареста 4 марта. Но революционеры пользовались Грековым не столько, как явочным местом, так как по его же адресу шла также переписка между ними конспиративного характера (ср. у Сухомлина ук. ст., стр. 52). Будучи арестованным 22 апреля 1884 г., Ф. К. Греков не выдержал и стал давать обширные показания. «Показания Грекова, — говорится в «Хронике» ген. Шебеко, — относительно многочисленных посещений его неизвестными социалистами, являвшимися под разными псевдонимами, сделали очевидным, что в числе этих социалистов находились Михаил Овчинников, бежавший из ссылки в 1881 году, и только что прибывший из Парижа Герман Лопатин». Кроме Овчинникова и Лопатина, тот же Греков указал и еще на многих лиц, посещавших его. Как относились к этим оговорам сами тогдашние подпольные работники, показывает отзыв И. И. Попова, который пишет о Грекове: «оговоры его не имели такого злостного характера, как у Ельки и Гейера, и вызваны были слабостью воли» (прим. к стр. 145 «Минувшее и пережитое». Л., 1924). Тот же И. И. Попов рассказывает, как в его деле Греков, заслуживший уже доверие жандармов своими откровенными показаниями, сбил их с правильного пути, на котором они стояли, хотя и говорил только правду, и этим спас положение самого И. И. Попова, избавив его по меньшей мере от долголетней ссылки, если не каторги. Этот чрезвычайно интересный и красочный эпизод рассказан И. И. Поповым на стр. 144—146 его книги «Минувшее и пережитое» и в «Автобиогр.» в слове Граната. Тот «Г.», о котором говорится в этих местах книги «Минувшее и пережитое», и есть Греков. О дальнейшей судьбе Грекова см. в примечаниях к вышецитированным письмам С. А. Иванова к П. В. Карповичу.

XXXI. ОТРЫВКИ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К. А. СТЕПУРИНА

(К стр. 251)

Письма П. Ф. Якубовича к М. П. Шебалину были предъявлены на допросах К. А. Степурина. Жандармы сделали это, несомненно, с целью внести деморализацию в среду заключенных. Ознакомившись с письмами П. Ф. Якубовича, К. А. Степурин дал свои комментарии к ним, полностью до сих пор не напечатанные, но имеющиеся в больших выдержках в статьях В. И. Сухомлина в «Каторге и ссылке». Эти выдержки мы приводим здесь полностью. Вот что в них показывал К. А. Степурин:

«Обращаюсь к содержанию писем неизвестного автора, адресованных им в Киев, в которых, по мнению следственной власти, указания на А. К. относятся ко мне. Прежде всего в этих письмах бросается в глаза крайняя непоследовательность в суждениях о личности А. К. С одной стороны А. К. «мерзкий, мелочный и лживый человек», которого в революционном мире никто не знает и никто ему не доверяет, о котором не могли дать сведения даже в полку, где он ранее служил» (хотя я ни в каком полку никогда не служил, так как артиллерия не имеет разделения на полки), — с другой — «он держит в руках такие важные связи». В то время, как А. К. «ничем» себя в революционном мире не проявил, а выказал себя лишь полною бездарностью, в то время, как некто — Кривенко — из предварительного заключения «просит ему не доверять» и автор письма «совместно со своими товарищами, порвал с А. К. всякие связи», — тот же автор письма в том же своем письме ссылается на авторитет А. К. в вопросе об издании объявления от Исп. комитета. Одного сопоставления этих данных, мне кажется, совершенно достаточно, чтобы притти к более или менее безошибочному мнению о правдивости автора письма. Или несправедливо мнение автора о полной непопулярности А. К. в революционном мире, или лжива его ссылка на авторитет А. К. в вопросе об издании «Объявления от Исп. ком-та», а, может быть, автор письма неправ и в обоих случаях, т. е. в вопросе о характеристике А. К. и в вопросе о согласии его на издание объявления от Исп. комитета. Опять вопрос: каким образом возможно вступать в соглашение с человеком, с которым порваны «всякие связи» по причине полного к нему недоверия. А ведь оба эти положения высказаны автором в одном и том же письме от 4 марта» (См. «Кат. и

сс.», кн. 27, стр. 78). В том же показании есть еще такое место: «Всобщо о лицах, с которыми у меня были сношения по нелегальной моей деятельности, я дать какие-либо показания не считаю себя в праве, а потому не нахожу возможным высказаться о лицах, упомянутых в письмах, арестованных в Киеве» (там же). Как упомянуто в примечаниях С. Н. Валка к серии документов о «процессе 21-го», К. А. Степурин вообще уклонялся от дачи каких-либо показаний жандармам.

XXXII. М. Н. ВАСИЛЬЕВ И ЕГО ПРОШЕНИЕ

(К стр. 263)

Для того, чтобы читателю стало понятнее напечатанное среди наших документов прошение М. Н. Васильева, приведем следующую справку из воспоминаний В. С. Панкратова. «Наше дело, — говорит В. С. Панкратов в своих воспоминаниях, — жандармы старались раздуть и преувеличить, руководствуясь собственной фантазией и желанием упечь всех. Так, о М. Васильеве, служившем у губернатора в канцелярии, они говорили не иначе, как о «новом Клеточникове». Сообразно такому взгляду, первое время его держали изолированно от всех и в суровых условиях, стараясь выжать у него показания, разумеется, самые серьезные, оправдывающие их фантазию. Возмущенный Васильев платил им тоже фантазией и выдумками. После одного из долгих и настойчивых допросов он потребовал бумаги и на нескольких листах написал показания, где говорил, что участвовал чуть ли не во всех покушениях. В деле Соловьева он смазывал револьвер. В лавке Кобзева съел два пуда сыра, чтобы поддержать торговлю, и т. д., все в этом роде, — словом на выдумки жандармов отвечал выдумками, что, конечно, их раздражало. — Вот вы ничего не говорите, мы это понимаем, хотя и неодобряем, — говорил на допросах Малицкий, помощник Ноицкого; — вот Васильев выдумывает, мучит нас, заставляет посылать следователей наводить справки, и все оказывается вздор» (см. статью В. С. Панкратова в № 2 «Былого» за 1907 г., стр. 301). К сожалению, того прошения, о котором тут пишет В. С. Панкратов, нет в нашем распоряжении: оно не разыскано среди документов по киевскому делу, но среди них оказалось другое, апалогичное первому, которое мы здесь и помещаем. Что ка-

сается подозрений жандармов насчет намерений М. Н. Васильева играть роль Клеточникова, то об этом, много позже киевского процесса, прямо говорилось, как об установленном факте, в известной «Хронике» ген. Шебеко. Отметив, что киевская группа М. П. Шебалина приступила уже к изданию газеты «Социалист», напечатав объявление о ней, авторы «Хроники» продолжают: «В качестве редактора этой газеты фигурировал некий Макар Васильев, пиисец из генерал-губернаторской канцелярии. Васильев имел намерение играть ту же роль, которую некогда разыграл Клеточников в III отделении» (стр. 253).



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

- А., подполковник — 103, 105.
 А., ученик пажеского корпуса — 105, 121.
 Азеф, Евно Фишелевич, провокатор — 329, 330.
 Айзенштадт, Исая Львович, с.-д. — 30.
 Аксаков, Иван Сергеевич, писатель — 322.
 Александр II, имп. — 8, 12, 103, 104, 170, 228, 232, 359.
 Александр III, имп. — 71, 92, 113, 292, 326, 331.
 Александрова, политссыльная в Верхотуренске — 214.
 Алексей, кучер — 42.
 «Алексей Павлович» — см. Бах, А. Н.
 Андржейкович, Степан Александрович, народоволец — 129, 130, 135, 136, 324, 325, 326.
 Анненков, Павел Семенович, народоволец — 323.
 Антонов, полиц. агент — 342.
 Антонов, Петр Леонтьевич, народоволец, шлиссельбуржец — 179.
 Арнольд, студ.-технолог — 126.
 Артемьев, Адриан Васильевич, киев. студент — 307, 308.
 Атава (Терпигорев), Сергей Николаевич, писатель — 36.
 Афанасьев, Николай Егорович, народн. учитель — 220.
 Афанасьева, Татьяна Егоровна, иркутская жительница — 220.
 Ашенбреннер, Михаил Юльевич, народоволец, шлиссельбуржец — 179, 364, 367.

Б

- Багадей, Дмитрий Иванович, историк — 237.
 Баженов, киев. адвокат — 167, 292.
 Бажина, Серафима Никитична, писательница — 125.
 Бакунин, Михаил Александрович, революционер-анархист — 80.
 Балицкий, гимназист — 65.
 Бальцев, учитель музыки — 51.
 Баранюк, гимназист — 75.
 Бардовский, Петр Васильевич, мировой судья, пролетариатец — 173.

Барыкова, Анна Павловна, писательница—147.
 Баторский, гимназист—65.
 Бах, Алексей Николаевич («Алексей Павлович»), народоволец, академик—124, 158, 251, 252, 253, 314, 318, 336, 337, 367, 369, 371.
 Бекетов, Андрей Николаевич, проф. и ректор Петерб. ун-та—90.
 Беланов, шпион—259.
 Белецкий, учитель гимназии—84.
 Белецкий, Н., политссыльный в Вилуйске—29.
 Белинский, Виссарион Григорьевич, критик—352.
 Белогруд, учитель гимназии—75.
 Бельский, политссыльный—205.
 Бенигсен, Леонтий Леонтьевич, генерал—325.
 Бентковский, учитель танцев—57, 58.
 Берман, Леонид Лазаревич, народоволец, член О-ва политка-торжан—15, 16, 244.
 Билевич, Михаил Викентьевич, содержатель книжн. мага-зина—273, 279, 286, 290.
 Бладзевич, гимназист—78, 105.
 Блек, Евгений, член кружка саратовцев в Петербурге—27, 96, 100.
 Блох, Павел Юлианович, народоволец—217.
 Богданович, Юрий Николаевич («Кобозев»), народоволец—127, 259, 374.
 Богораз, Владимир Германович, см. Тан-Богораз, В. Г.
 Богораз, Прасковья Федоровна, см. Шабалина-Богораз, П. Ф.
 Богораз Розалия, сестра В. Г. Богораз—229.
 Богучарский (Яковлев), Василий Яковлевич, историк рево-люц. движения—319, 332, 335, 370.
 Бодаев, Венедикт Арсеньевич, народоволец—322, 323, 342.
 Боденштедт, Фридрих, немецкий писатель—321.
 Бойченко (Филатов), Степан Васильевич, революц., кариец—30, 217.
 Боколь, Генри-Томас, английский социолог—80.
 Бонифат, кучер—60, 61.
 Бонч-Осмоловский, Анатолий Осипович, чернопеределец—27, 90.
 Борейша, Антон Степанович, народоволец—31, 91.
 Борисович—см. Мартынов, Калиник Федюлович.
 Браудо, Василий Исаевич, народоволец, потом с.-д.—205.
 Брянцев, протоиерей—131.
 Будкевич, Вацлав Иосифович, киев. студент—308.
 Буланов, Леонид Петрович, земледелец—252.
 Быков, Александр Михайлович, ген., нач. Военно-медиц. ака-демии—92.

В

Вадзинский, Александр Тарасович, революционер—158, 307.
 Валк, Сигизмунд Натанович, историк—15, 16, 243, 248, 249, 252, 318, 332, 338, 339, 340, 342, 343, 358, 366, 374.

Ванновский, Петр Семенович, воен. министр—172, 303, 304.
 Варвара Валентиновна, гувернантка—42, 44.
 «Василий Алексеевич»—см. Иванов, С. А.
 Васильев, Василий Павлович, проф. Петербург. у-та—101.
 Васильев, Макар Николаевич, народоволец—28, 118, 119, 120, 160, 162, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 238, 248, 249, 260, 262, 263, 270, 273, 275, 279, 283, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 302, 304, 307, 346, 353, 356, 374, 375.
 Васьков, учитель гимназии—65.
 Ваховская, Варвара Ивановна, революционерка-семидесят-ница—75.
 Венгеров, Семен Афанасьевич, литературовед—341.
 Верн-Жюль, французский писатель—68.
 Витте, Сергей Юльевич, министр финансов—193.
 Витязев, П., историк революц. движения—336.
 Власов, Семен Герасимович, революционер, кариец—217.
 Водовозов, Василий Васильевич, литератор—324, 337.
 Волкенштейн, Людмила Александровна, революц., узница Шлиссельбурга—179, 182, 364, 365.
 Волков, жанд. ун.-офицер—260, 261, 289, 292, 296, 343.
 Вошинин, учитель гимназии—65.
 Вроцинский, Иван Владиславович, киев. студ., народо-волец—307.

Г

Гаврилов, Константин Семенович, политссыльный—217, 220.
 Гаевский, учитель гимназии—65.
 Галкин, политссыльный—217.
 Галкин-Врасский, Михаил Николаевич, начальник главн. тюремн. управления—306.
 Гальперин (Сухомлина), Анна Марковна, народоволка—330, 331.
 Гандельсман, Максимилиан Иосифович, варш. житель—247, 282.
 Гартинг (Неккельман, Ландезен), Аарон, провокатор—177.
 Гаршин, Всеволод Михайлович, писатель—322.
 Гаусман, Альберт Львович, народоволец—205.
 Геденовские—214.
 Геденовский, Александр Васильевич, народоволец—205, 369.
 Гейер, Иван Иванович, народоволец, предатель—372.
 Гейсман, гимназист—75, 76, 77, 78.
 Гернштейн, гимназист—78.
 Гирс, Дмитрий Константинович, писатель—327.
 Гловацкий, полковник—294, 302.
 Гоголь, Николай Васильевич, писатель—352.
 Гогоцкий, Сильвестр Сильвестрович, проф. философии—73.
 Гольденвейзер, киев. адвокат—167, 169.
 Голдендах, Софья Борисовна, политссыльная—217.

Гонгелин, секр. съезда мировых посредников—49.
 Горемыкин, вост.-сибирский ген.-губернатор—218.
 Горемыкин, Иван Логинович, мин. внутр. дел—178, 363.
 Горенко, Евгения Антоновна, курсистка—108, 126.
 Горинович, Василий Елисеевич, народоволец, кариец—30.
 Грабовский, Павел Арсеньевич, революц., украинский поэт—217.
 Грачевский, Михаил Федорович, народоволец, шлиссельбуржец—123.
 Греков, Федор Константинович, журналист—246, 282, 367, 371, 372.
 Гржигоржевский, гимназист—66.
 Гриневицкий, Игнатий Иоахимович, народоволец—27, 109, 320.
 Громова, А. И., пароходовладельца—30.
 Грубер, Венцеслав Леопольдович, проф. анатомии—95.
 Гукович, Георгий Сильвестрович, киев. студент—273, 286.
 Гукович, Дмитрий Прокофьевич, киевский студент—273, 274.
 Гурвич, Исаак Адольфович, с.-д.—90.
 Гурко, Иосиф Владимирович, генерал—115.
 Гюго, Виктор, франц. писатель—280.

Д

Давиденко, Филипп Яковлевич, революционер-семидесятник, кариец—217.
 Данилевский, Николай Николаевич, киев. студент—165, 168, 273, 274, 286.
 Дашкевич, Петр Григорьевич, народоволец—15, 28, 158, 160, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 177, 238, 242, 249, 260, 271, 272, 273, 274, 289, 290, 295, 296, 298, 299, 302, 304; 307; 357.
 Дегаев, Сергей Петрович, народоволец, потом предатель и провокатор—28, 127, 128, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 169, 233, 250, 252, 253, 254, 255, 259, 262, 276, 313, 315, 316, 320, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 340, 341, 342, 347, 348, 349, 367, 369, 370.
 Дейч, Лев Григорьевич, революционер-семидесятник, потом с.-д. меньшевик, в 1917 г. член плехановской группы «Единство»—337.
 Дембский, Александр Ипполитович, пролетариатец—151, 340.
 Диковская (Люри), Надежда, политссыльная—217.
 Дирдовский, Николай Петрович, народоволец—28, 162, 165, 168, 169, 171, 172, 175, 177, 238, 273, 286, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 307, 361.
 Диковский, Сергей Дорофеевич, революционер-семидесятник, кариец—217.
 Добролюбова, политссыльная—217.
 Добрускина, Генриета Николаевна, народоволка, карица—318, 328, 330, 370.

Долгополов, петерб. студент—96.
 Долгорукова, Анна Дмитриевна, революционерка—27, 96, 100.
 Должанский, гимназист—65.
 Должиков, директор гимназии—85, 86.
 Дорожинский, Евгений Игнатьевич, народоволец—158, 162.
 Достоевский, Федор Михайлович, писатель—352.
 Драгомерецкие, братья, гимназисты—75.
 Драгошевский, Аврелий Станиславович, киев. студент—307, 308.
 Дрентельн, Александр Романович, шеф жандармов, потом киев. ген.-губернатор—96, 172, 173, 242, 260, 261, 268, 270, 271, 272, 274, 275, 303, 304.
 Дрепер, Джон Вильям, америк. ученый—73, 80.
 Дубницкий, Иван Мартынович, киев. студент—294, 307.
 Дубровин, Владимир Дмитриевич, офицер, революционер—98, 99.
 Дубровин, Евгений Александрович, чернопеределец—27, 96, 107, 108, 120, 121, 125.
 Дубровина, мать В. Д. Дубровина—98.
 Дулемба, Генрих Юлианович, пролетариатец, кариец—215, 216, 217.
 Дунин-Борковский, чиновник особых поручений—292, 293, 294.
 Дурново, Петр Николаевич, директор деп. полиции—342, 343.
 Дьяконенко, Александр Федор., революционер—308.

Е

Евецкий, штабс-капитан—260, 261.
 Елизавета Петровна, имп.—116.
 Елько, Петр Андреевич, народоволец, предатель—256, 372.
 Ергины, супруги, ссыльные—31.
 Ефремов, Василий Степанович, революционер-семидесятник, кариец—217.

Ж

Жаров, Василий Васильевич, учитель гимназии—220.
 Желябов, Андрей Иванович, народоволец—27, 106, 152, 326.
 Жирков, Иван, вилюйский казак—222, 227.
 Жуковские, братья, гимназисты—76, 78.
 Жученко (Гернгросс), Зинаида Федоровна, провокатор—31.

З

Завадовский, Николай Никандрович, народоволец—28, 162, 164, 165, 169, 171, 238, 260, 273, 286, 288, 289, 295, 297.
 Закржевский, гимназист—73.

Затворницкий, Яков Михайлович, народоволец—28, 158, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 238, 273, 295, 296, 297, 302.
Звлянский, Сергей Эрастович, директор деп. полиции—178, 362.

Зефиров учитель гимназии—85.

Зибер, Николай Иванович, профессор, экономист—80.

Златовратский, Николай Николаевич, писатель—125.

Златопольский, Савелий Соломонович, народоволец—259.

Зола, Эмиль, француз. писатель—231.

Злотых, жандарм. унт.-офицер—288, 297.

Зотов, Николай Львович, народоволец—205.

Зубрилов, Василий Петрович, революционер-семидесятник, кариец—217.

Зуров, А. В., петербург. градоначальник—94.

И

Иванов, политссылный—205.

Иванов, Василий Григорьевич, народоволец, шлиссельбуржец—179, 180, 364, 366.

Иванов, Конст. Дементьевич, политссылный—29.

Иванов, Сергей Андреевич («Василий Алексеевич»), народоволец, шлиссельбуржец—128, 136, 158, 249, 251, 252, 255, 325, 326, 327, 328, 369, 371, 372.

Ивичевичи, братья, революционеры-семидесятники—280.

Извеков, киев. адвокат—167.

Извеков, полковник—234, 302.

Илья, столяр—38.

Иоанн Антонович, император—116, 117.

Ионов Всеволод Михайлович, революционер-семидесятник, кариец—30.

К

Казачковский, Евстафий Осипович, революционер-семидесятник, кариец—98.

Калиниченко, Петр Емельянович, народоволец—307, 360.

Калмансон, жена Я. М. Калмансона—270.

Калмансой, Яков Моисеевич, народоволец—269.

Калужный, Иван Васильевич, кариец—205.

Кантор, Рувим Моисеевич, историк—16, 345.

Капцан, политссылный—217.

Караулов, Василий Андреевич («Павел Иванович»), народоволец, шлиссельбуржец—28, 126, 128, 151, 159, 161, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 232, 233, 238, 239, 240, 241, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 259, 262, 273, 276, 279, 286, 287, 289, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 314, 323, 324, 346, 347, 348, 349, 353, 357, 358, 359.

Караулов, Николай Андреевич, народоволец—28, 128, 135, 136, 149, 151, 152, 155, 159, 231, 262, 324, 340.

Карауловы, братья—231, 324, 341.

Карпович, Петр Владимирович, с.-р., шлиссельбуржец—325, 327, 328, 371, 372.

Касиуш, Исая Нутович, пролетариатец—29.

Катанский, жанд. полковник—331.

Катков, Михаил Никифорович, реакционный публицист—372.

Каутский, Карл, немецкий с.-д., ренегат, активный враг СССР—207.

Кацелло, дворник—291.

Качановский, жанд. унт.-офиц.—260, 261, 288, 292, 294, 297.

Качаровский, Болеслав Фелицианович, вилюйский исправник—29, 220.

Кашинцев, Александр Николаевич, народоволец—323.

Клеточников, Николай Васильевич, народоволец—374, 375.

Кляус, студент-горняк—121, 126.

Ковальский, Иван Мартынович, революционер-семидесятник—74, 75.

Коган, курсистка—108, 126.

Коган-Бернштейн, Лев Матвеевич, народоволец—205.

Козловский, Дионисий Францевич, народоволец—175, 360.

Колодкевич, Николай Николаевич, народоволец—367.

Колпачи, студ.-медик—96, 99.

Комарницкий, Иван Николаевич, народоволец—126, 127, 128, 322, 323, 329.

Комаров, генерал—111, 112.

Конашевич, Василий Петрович, народоволец, шлиссельбуржец—150, 151, 152, 155, 157, 161.

Конисский, генерал—166, 294, 302, 353.

Коновальчик, Илларион Иванович, народоволец—307.

Коновкин, Николай Петрович, народоволец—26, 27, 76, 78, 86, 88, 89, 96, 99, 100, 107, 108, 112, 121, 125, 320.

Конради, Евгения Ивановна, писательница—358.

Кориченко, Михаил Аркадьевич, народоволец—157, 307.

Короленко, Владимир Галактионович, писатель—220.

Корсаков, помещик—52.

Костюрина-Емельянова, Мария Николаевна, народоволка—318.

Котелянская, Ольга Сергеевна, жена Л. О. Котелянского—99.

Котелянский, Лев Осипович, писатель—75, 99.

Кошкарев, ученик М. П. Шебакина—98.

Кравцов, ветеринарный врач—341.

Кравчинский (Степняк), Сергей Михайлович, революционер-семидесятник, писатель, эмигрант—167, 259, 354, 355.

Кранцфельд, Раиса Рафаиловна («Белевцева»), народоволка—150, 155, 158, 162, 289, 344, 345.

Кривенко, Сергей Николаевич, писатель, народоволец—28, 128, 143, 155, 231, 252, 319, 321, 325, 328, 373.

Крыжановский, Никанор Федорович, революционер-семидесятник—76, 97, 98.

Кубалов, Борис Георгиевич, историк—319, 340, 341.

Кузнецова, ученица М. П. Шебалина—108.
 Кузнецова, Антонина Васильевна, курсистка—323.
 Кузьмин, политссылный—205, 209, 210.
 Кузьмин, Павел Алексеевич, ген.-майор—166, 172, 173, 294, 302, 350, 351, 352, 353.
 Кулябко, Мария Павловна, народоволка—137, 139, 141, 142, 155, 287.
 Куницкий, Станислав Чеславович, пролетариатец—151, 152, 153, 173, 248, 249, 251, 328, 340, 341, 342.
 Купер, Фенимор, американский писатель—68.
 Куперник, Лев Абрамович, адвокат—167, 169, 354.
 Курилко, Иван Евдокимович, учитель—63, 71, 88, 257.

Л

Лаврениус, Александр Николаевич, народоволец—27, 96.
 Лавров, Петр Лаврович, революционер, писатель, эмигрант—26, 80, 319, 336, 337, 338.
 Лаговский, Михаил Федорович, народоволец, шлиссельбуржец—179, 249.
 Лаппо, Дмитрий Евдокимович, народоволец—158, 162.
 Левенталь, гимназистка—78.
 Левенталь, Клара Ефремовна, народоволка—162, 175, 307, 360.
 Левин, сестры, гимназистки—78.
 Левченко, Никита Васильевич, революционер-семидесятник, кариец—217.
 Лежава, Андрей Матвеевич, народоправец, потом с.-д., большевик—205, 214.
 Ленин, Владимир Ильич—7, 8.
 Леонтьева, Александра Петровна, народоволка—247, 282.
 Лермонтов, Михаил Юрьевич, поэт—56.
 Лиандер, автор книги о динамите—280.
 Линдфорс, Александр Федорович, киев. адвокат—167.
 Линницкий, Сергей Павлович, народоволец—323.
 «Липочка», гувернантка—50, 51, 55, 56.
 Личкус (Караулова), Прасковья Федоровна—126, 232, 259.
 Лозинский, Константин Степанович, студент—27, 78, 86, 88, 89, 94, 100, 106, 107, 111, 112.
 Лозянов, Павел Тимофеевич, революционер 70-х гг., карец—30, 217.
 Лопатин, Герман Александрович, народоволец, шлиссельбуржец—11, 128, 150, 161, 174, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 323, 325, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 345, 359, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372.
 Лорис-Меликов, Михаил Тариелович, министр внутр дел—102.
 Лукашевич, Иосиф Дементьевич, народоволец, шлиссельбуржец—364.

М

М., генерал—104.
 Майн-Рид, английский писатель—68.
 Малавский, Владимир Евгеньевич, революционер-семидесятник, кариец—74, 75.
 Малеванный, Владимир Григорьевич, революционер-семидесятник—157, 162, 177.
 Малицкий, жанд. офицер—374.
 Мануцаров, Иван Львович, революционер, шлиссельбуржец—180.
 Манцевич, Михаил Антонович, народоволец—217.
 Маньковская, жена капитана—202.
 Марковский, чернопередедец—92.
 Маркс Карл—7, 8, 217.
 Марлинский (Бестужев), Александр Александрович, писатель, декабрист—56.
 Марморштейн, Григорий Михайлович, народоволец—217.
 Мартов (Цедербаум), Юлий Осипович, меньшевик—327.
 Мартос, гимназист—78.
 Мартынов (Борисович), Калинин Федулович, народоволец, шлиссельбуржец—28, 29, 159, 160, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 208, 210, 211, 219, 222, 226, 238, 240, 241, 242, 259, 260, 270, 271, 272, 273, 274, 286, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 346, 359, 365.
 Матвиевич Никифор Харламович, революционер, кариец—217.
 Махайский, революционер, писатель—219.
 Мезенцов, Николай Владимирович, шеф жандармов—89, 259.
 Мелентий, столяр—36, 38.
 Мельников, политзаключенный—308.
 Меньшуткин, Николай Александрович, профессор химии—106.
 Меркулов, управляющий канцелярией, ген-губ. Дрентельна—272.
 Меркулов, Василий Апполонович, народоволец, предатель—329.
 Мешков, конвойный солдат—210, 213, 214.
 Миллер, Орест Федорович, профессор литературы—118, 119.
 Мильман, политссылный—30.
 Мирский, Леон Филиппович, революционер-семидесятник, предатель—97, 121.
 «Михаил Адамович»—см. Стародворский, Николай Петрович.
 Михайлов (Шеллер), Александр Константинович, писатель—80.
 Михайлов, Тимофей Михайлович, народоволец—27, 108, 109, 232, 320.

Михайловский, Николай Константинович, публицист и критик — 26, 80.

Михалевич, учитель гимназии — 84.

Мицкевич, Владимир Кузьмич, народоволец — 273.

Млодецкий, Ипполит Осипович, революционер — 102.

Мороз, братья — 75.

Морозов, политссыльный — 217.

Мушинский, учитель гимназии — 65.

Мышкин, Ипполит Никитич, революционер-семидесятник, кариец, шлиссельбуржец — 29.

Н

Н., барон, содержатель пансиона — 122, 123.

Нагорничевский, гимназист — 88.

Нагорный, Осип Иванович, народоволец — 320.

Надсон, Семен Яковлевич, поэт — 256.

Нахамкес (Стеклов), Юрий Михайлович, с.д., ныне коммунист, историк — 217.

Недзельский, Александр Дмитриевич, студент — 26, 27, 71, 76, 77, 78, 86, 88, 89, 100, 106, 107, 111, 112.

Некрасов, Николай Алексеевич, поэт — 56.

Нельговский, гимназист — 68.

Нельговский, домашний учитель — 56.

Немоловский, Аполлинарий Ириархович, народоволец, шлиссельбуржец — 323, 331.

Нестеров, Р., автор статьи — 366.

Неустроев, Константин Гаврилович, народоволец — 250, 252, 253.

Нечаев, Сергей Геннадиевич, революционер — 121.

Никвист, Александр Андреевич, народоволец — 325, 326.

Никитина, Екатерина Дмитриевна, историк — 16.

Николай Николаевич, вел. князь — 99, 116.

Николай I, император — 103.

Новицкий, Василий Дементьевич, жанд. генерал — 162, 163, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 174, 239, 240, 241, 242, 243, 258, 260, 261, 262, 269, 270, 272, 274, 306, 308, 309, 333, 345, 346, 347, 349, 355, 356, 358, 359.

Новорусский, Михаил Васильевич, народоволец, шлиссельбуржец — 365.

Носенко, политзаключенный — 307.

Нотович, Осип Константинович, публицист — 229.

О

Оберучев, К., автор статьи — 319.

Оболенский, Леонид Егорович, писатель — 321.

Овчинников, Михаил Павлович, народоволец, предатель — 128, 248, 249, 251, 252, 318, 319, 340, 341, 370, 372.

Оржевский, Петр Васильевич, тов. министра внутр. дел — 173, 270, 271, 305, 362.

Орлов, Михаил Петрович, народоволец — 20.

Орловский, Илларион Иванович, революционер-семидесятник — 98.

Осмоловский, Григорий Федорович, революционер-семидесятник, кариец — 217, 218.

Островский, Александр Николаевич, драматург — 72.

Ошанина (Оловенникова), Мария Николаевна, народоволка, эмигрантка — 314, 315, 324, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 341.

П

Павел I, император — 325.

Павлов, Александр Николаевич — 247, 282.

Пазухин, Н. Д., дядя М. П. Шебакина — 43.

Панкратов, Василий Семенович, народоволец, шлиссельбуржец — 28, 159, 160, 162, 163, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 193, 238, 240, 242, 243, 258, 259, 260, 261, 270, 273, 274, 286, 288, 289, 290, 291, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 343, 344, 345, 346, 353, 355, 357, 359, 360, 364, 374.

Пантелеев, генерал — 365.

Папин, Василий Иванович, народоволец — 367.

Паули, Николай Карлович, народоволец, предатель — 136, 325, 326.

Пашинский, полиц. пристав — 356.

Пашков, Василий Андреевич, основатель секты — 112, 113.

Пекарский, Эдуард Карлович, революционер-семидесятник, этнограф — 30.

Перовская, Софья Львовна, народоволка — 106.

Петр I, император — 228.

Петрашевский, Михаил Васильевич, революционер 40-х гг. — 350, 351, 352.

Писарев, Дмитрий Иванович, публицист и критик — 26, 73, 80.

Плехов, Вячеслав Константинович, директор деп. полиции — 239, 241, 262, 333.

Плеханов, Георгий Валентинович, революционер, один из основоположников марксизма в России — 92, 332.

Подбельский, Паний Павлович, народоволец — 106.

Подмаскины, братья, гимназисты — 72.

Подневиц, гимназист — 78.

Поливанов, Петр Сергеевич, народоволец, шлиссельбуржец — 92, 179, 364.

Польгейм, Идалия Осиповна, революционерка-семидесятница — 75.

Поляков, Михаил Моисеевич, народоволец — 217.

Поплавский, капитан — 202.

Попов, Иван Иванович, народоволец — 16, 124, 126, 318, 322, 323, 325, 326, 329, 335, 337, 341, 342, 369, 371, 372.

Попов, Михаил Родионович, революционер, шлиссельбуржец — 194.

Прейм, С., шпион — 118.

- Прибылев, Александр Васильевич, народоволец, кариец — 20.
 Прибылева-Корба, Анна Павловна, народоволка, карейка — 20.
 Прибылевы, супруги — 123, 127.
 Присецкий, Иван Николаевич, народоволец — 157, 162.
 Протопопов, Михаил Николаевич, критик — 136, 158, 249, 327, 328.
 Прудон, Пьер-Жозеф, франц. публицист, теоретик анархизма — 350.
 Пушкин, Александр Сергеевич, поэт — 56.
 Пчелкина, Анна Васильевна, народоволка — 307.

Р

- Радченко, Леонтий Иванович, — 16, 362.
 Разоренных, купец — 104.
 Рейнгардт, политзаключенный — 307, 308.
 Рехневская, политзаключенная — 307.
 Рехневский, Фаддей Юльевич, пролетариатец — 151, 307, 340, 341, 343.
 Розенблюм, политссылный — 30.
 Роецкий, гимназист — 76, 78, 79.
 Романько-Романовский, Александр Григорьевич, учитель гимназии, потом эмигрант — 75.
 Ромась, Михаил Иванович, народоволец — 29, 227.
 Рослова, курсистка — 368.
 Росси, Степан, народоволец, предатель — 151, 152, 155, 333, 340.
 Рубисов, политзаключенный — 307.
 Русанов, Николай Сергеевич, народоволец, с.-р., эмигрант — 314, 327, 337.
 Рутковский, капитан — 194, 196.
 Рыковская, курсистка — 108, 126.
 Рысаков, Николай Иванович, народоволец, предатель — 27, 100, 107, 108, 109, 111, 112, 152, 320.

С

- С., генерал-майор — 114, 115, 116, 118, 122.
 С., ученик пажееского корпуса — 114, 122.
 Сабуров, Андрей Александрович, министр народн. просвещения — 105, 106.
 Сажин, супруги — 31.
 Салазкин, Сергей Сергеевич, народоволец, потом профессор — 323.
 Салова, Неонила Михайловна, народоволка — 314, 318, 320, 331, 332, 338, 341.
 Саломаха, политзаключенный — 307.
 Сахаров, студент — 96.
 Святитыч, Владислав Станиславович, революционер-семидесятник, кариец — 230.

- Селецкий, Арсений, студ. киев. дух. академии — 280, 286.
 Семенов, студент — 100, 107.
 Семеновский, полит. заключенный — 307.
 Сербулов, учитель — 103, 114.
 Сергеев, полиц. агент — 342.
 Сецынский, студент киев. дух. академии — 290.
 Сигида, Надежда Константиновна, народоволка, карейка — 205.
 Симашкин, смотритель тюрьмы — 308.
 Симонов, полит. заключенный — 307.
 Синегуб, Сергей Силыч, революционер-семидесятник, кариец — 230.
 Синцова, гимназистка — 78, 79.
 Скабичевский, Александр Михайлович, критик — 321.
 Скандраков, инспектор секр. полиции — 261.
 Скворцов, полит. заключенный — 307.
 Скрипицын, Андрей Николаевич, якут. губернатор — 215, 218, 219.
 Скрипниченко, жанд. унт.-офицер — 289.
 Сладкова, Софья Александровна, народоволка — 328, 369.
 Соколов, пом. секретаря суда — 294.
 Соловьев, Александр Константинович, революционер-семидесятник — 79, 374.
 Сонсецкий, гимназист — 78.
 Ставцев, жанд. унт.-офицер — 289, 296, 343.
 Стародворский, Николай Петрович («Михаил Адамович»), народоволец, шлиссельбуржец — 150, 151, 155, 158, 160, 162, 164, 168, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 273, 279, 288; 289; 364.
 Степанов, Евгений Дмитриевич, народоволец — 15, 28, 158, 161, 162, 164, 165, 169, 171, 177, 249, 260, 273, 286, 288, 289; 291, 295, 297, 302, 352, 353, 354, 356, 357.
 Степурин, Конст. Алексеевич, народоволец — 12, 16, 151, 152, 153, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 257; 279; 330, 338, 339, 340, 358, 366, 367, 368, 369, 370, 371; 373, 374.
 Стефанович, гимназист — 66.
 Стефанович, Яков Васильевич, революционер-семидесятник, народоволец, кариец — 259.
 Стопниев, Дионисий Иванович, революционер-семидесятник — 98.
 Стояновский, Михаил Львович, народоволец — 217.
 Стрельников, Василий Степанович, ген., воен. прокурор — 243.
 Струве, Петр Бернгардович, легальный марксист 90-х годов, ныне эмигрант, представитель монархической контрреволюции — 207.
 Судейкин, Георгий Порфирьевич, инспектор секр. полиции — 28, 123, 128, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 168, 254, 259, 261, 262, 276, 313, 323, 324; 325, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 342, 345, 349, 368, 370.

Суровцев, Дмитрий Яковлевич, народоволец, шлиссельбуржец — 29, 179, 180, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 219, 363, 364, 365, 366.
Сухомлин, Василий Иванович, народоволец — 15, 16, 20, 124, 249, 317, 318, 330, 331, 332, 337, 338, 369, 370, 371, 372, 373.

Т

Таганцев, Николай Степанович, проф. — 95.
Такгауз, гимназист — 71.
Тан (Богораз), Владимир Германович, народоволец, писатель — 15, 234, 287, 365.
Теллалов, Петр Абрамович, народоволец — 323.
Тенишев, Александр Дмитриевич, дядя М. П. Шебалина — 43, 44.
Тенишев, Дмитрий Александрович, двоюродный брат М. П. Шебалина — 44.
Тенишев, Николай Дмитриевич, дядя М. П. Шебалина — 268.
Тенишева, княгиня, бабка М. П. Шебалина — 41.
Тенишева, Надежда Дмитриевна («тетя Надя»), тетка М. П. Шебалина — 43, 44.
Тихомиров, Лев Александрович, народоволец, писатель, ре-негат — 181, 240, 241, 262, 314, 315, 324, 332, 334, 335, 337, 341, 358.
Толкачева — 247.
Толстой, Дмитрий Андреевич, граф, министр народн. просвещ., позже — мин. внутр. дел — 64, 102, 172, 260, 303, 347.
Толстой, Лев Николаевич, писатель — 72.
Тригони, Михаил Николаевич, народоволец, шлиссельбуржец — 365.
Трусович, работник нелегальной типографии — 140, 141, 142, 147, 148.
Туган-Барановский, Михаил Иванович, писатель-экономист — 207.
Тулуп, инспектор гимназии — 65.
Тун, Альфред, немецкий историк — 337.
Тур, Николай Иванович, адвокат — 247, 282.
Тургенев, Иван Сергеевич, писатель — 56, 147, 315.
Турович, Иван Васильевич, революционер-семидесятник, ка-риец — 98.
Тырков, Аркадий Владимирович, народоволец — 231.
Тычинин, Петр Васильевич, народоволец — 27, 106, 108.
Тэн, Ипполит, франц. историк — 73.

У

Урбан, учитель гимназии — 233.
Урсын, Антон Владиславович, студент — 96.
Урсынович, Леонтий Владиславович, народоволец — 26, 27, 76, 77, 78, 86, 88, 89, 94, 96, 100, 103, 112, 118, 121, 125.

Усова, Софья Ермолаевна, народоволка — 28, 128, 149, 151, 155, 231, 324, 340.
Успенский, Глеб Иванович, писатель — 125.
Уткин, якутский землемер — 221.

Ф

Фани, м-ль, гувернантка — 55, 56, 57.
Федорчукова, Анна Михайловна, член кружка саратовцев в Петербурге — 27, 96, 100, 107.
Фигнер, Вера Николаевна, народоволка, узница Шлиссельбурга — 13, 17, 18, 31, 126, 127, 149, 173, 182, 322, 323, 329, 331, 364, 365.
Филиппинские, братья, гимназисты — 75.
Фирсов, учитель гимназии — 71.
Флеров, Николай Михайлович, народоволец — 322, 329, 341, 342, 369.
Флеровский (Берн), Василий Васильевич, революционер, пи-сатель — 26, 80.
Фомин — жанд. унтер-офицер — 288, 355, 356.
Франк, Роза Федоровна, народоволка — 78, 99, 108, 120, 125, 126, 150, 319, 320.
Фрейд, Зигмунд, немецкий психиатр — 315.
Фромунда, гимназист — 65.
Фурье, Франсуа Мари-Шарль, фр. утопист-социалист — 350.

Х

Харитонов, вилюйский купец — 227.
Хворостинская, Аполлинария Андреевна, народоволка — 253.
Хинчук, Лев Михайлович, с.-д. — 29.
Хмара, Федор, жанд. унт.-офицер — 258, 260, 261, 274, 292, 296, 343, 355, 356, 357.

Ц

Цобель, Франц Игнатьевич, пролетариатец — 217.

Ч

Чебышев, Пафнутий Львович, профессор математики — 105.
Ченыйкаев, Владимир Дмитриевич, врач, революционер — 27, 96.
Чернова, Любовь Давыдовна, народоволка — 249, 370.
Чернышевский, Николай Гаврилович, социалист, писатель-шестидесятник — 8, 26, 80, 230, 320.
Чернявская-Бохановская, Галина Федоровна, народо-волка — 332.
Чертков, киев. ген.-губернатор — 243.
Чеховский, учитель гимназии — 71.
Чижевский, Павел Иванович, киев. студент — 307, 308.

Чикойдзе, Михаил Николаевич, народоволец — 259.
Чугаев, Петерб. студент — 96.
Чудновский, Петерб. студент — 92.
Чуйков, М. нач. отдела — 304.

Ш

Шангин, доктор — 104, 105.
Шаравский, студ. киев. дух. академии — 290.
Шаталов, студ.-математик — 101, 102, 125.
Шаталов, студ.-филолог — 125, 321.
Шатуновская, курсистка — 108, 126.
Шебалин, Александр Петрович, брат М. П. Шебалина — 72.
Шебалин, Дмитрий Петрович, брат М. П. Шебалина — 43, 44, 63, 64, 66, 105, 184, 218, 257, 258, 287, 362, 363.
Шебалин, Николай Алексеевич, дядя М. П. Шебалина — 39.
Шебалина, Вера Петровна, сестра М. П. Шебалина — 43, 44.
Шебалина (Валесюк-Лебедева), Марья Осиповна, народоволка, жена М. П. Шебалина — 202.
Шебалины (Михаил Петрович и Прасковья Федоровна) — 238, 240, 242, 243, 262, 277, 280, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 333, 343, 359.
Шебалина-Богораз, Прасковья Федоровна, народоволка, жена М. П. Шебалина — 15, 16, 28, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 144, 145, 149, 151, 152, 156, 159, 165, 166, 169, 171, 177, 228, 229, 230, 234, 238, 248, 249, 252, 254, 257, 260, 273, 277, 286, 287, 288, 291, 294, 295, 296, 298, 299, 302, 304, 307, 340, 361, 362.
Шебеко, Н. И., жанд. генерал — 324, 371, 372, 375.
Шедлих, политссылный — 29.
Шимбек, граф, помещик — 47.
Шилов, Алексей Алексеевич, историк — 16, 323, 333, 335.
Шиловцев, Дмитрий Иванович, революционер-семидесятник — 90.
Шильгамер, учитель гимназии — 65.
Шимиков, жанд. унт.-офицер — 290.
Широков, студ.-горняк — 121, 126.
Ширяев, Степан Григорьевич, народоволец — 27, 96, 100.
Шинко, Леонид Эммануилович, революционер-семидесятник — 337.
Шкряба, Федор, предатель — 160, 281, 282, 283.
Шмаров, Е. И. — 323.
Шмидова, Раиса Абрамовна, народоволка — 214.
Шоластер, Эдуард Карлович, инспектор гимназии — 67, 85, 86.
Шпиркан, Марсел Яковлевич, народоволец, кариец — 26, 76, 77, 78, 87, 98.
Шполянский, Израиль Львович, революционер — 25, 26, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 98, 99.
Шполянский, М. Л., студент — 96, 99.
Шредер, землемер — 56.

Штамер, Л., писатель — 75, 99, 110.
Шульц-фон, полковник — 294, 302.

Щ

Щеголев, Павел Елисеевич, историк — 350.
Щербович, воен. прокурор — 294, 354, 356.
Щулепникова, Варвара Васильевна, народоволка — 23, 153, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 169, 171, 175, 177, 238, 242, 260, 273, 284, 286, 288, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 307.

Э

Эверстов, Николай Иванович, народный учитель — 220.
Эллис, комендант Петропавл. крепости — 184.
Энгельс, Фридрих, немецкий социалист, основоположник, научного социализма — 8, 338.
Эрак, студ.-технолог — 121, 126.
Эртель, Александр Иванович, писатель — 247, 248, 282.

Ю

Ювачев, Иван Павлович, народоволец, шлиссельбуржец — 367.
Юделевский, Яков Лазаревич, народоволец — 29.
Юрасов, Александр Иванович, народоволец — 247, 282.
Юрковский, Федор Николаевич, революционер-семидесятник, кариец, шлиссельбуржец — 194.

Я

Якимов, Иван Васильевич, петербург. студент — 96.
Якубович, В. Ф., — брат П. Ф. Якубович — 257, 319.
Якубович, Петр Филиппович, народоволец, кариец, поэт — 28, 125, 126, 128, 136, 151, 160, 161, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 253, 255, 256, 279, 280, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 328, 335, 340, 341, 342, 343, 358, 368, 369, 370, 373.
Янович, Людвиг Фомич, пролетариатец, шлиссельбуржец — 29, 179, 208, 209, 210, 211, 215, 217, 219, 220, 364.
Янсон, Юлий Эдуардович, профессор — 100.
Ярошев, полковник — 294, 302.
Яценко, полит. заключенный — 307.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
От составителей	15
Письмо Веры Фигнер	17
Письмо А. Прибылева, В. Сухомлина, А. Прибылевой-Корба и М. Орлова	19
Автобиография—Краткий очерк моей жизни	23

I. КЛЮЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Из детских лет

I. Раннее детство	35
II. У бабушки и у тетки	41
III. Казань и дорога в Терновку	44
IV. Терновка. Бабчинцы	47

Юность

I. Младшие классы гимназии	63
II. Старшие классы гимназии	74

Университет

Петербургская народовольческая организация 1882—1883 гг.	124
--	-----

Киевская народовольческая организация конца 1883 и начала 1884 гг.	156
--	-----

Из Шлиссельбурга в Вилуйск

I. Шлюшин—Петропавловка	178
II. Петропавловка—Пересылка—Москва	183
III. Москва—Красноярск	191
IV. Красноярск—Иркутск	197
V. Иркутск	203
VI. Дорога до Якутска	208
VII. Якутск	215
VIII. Дорога в Вилуйск	222

Приложение

Прасковья Федоровна Богораз (воспоминания проф. В. Г. Тан-Богораз)	228
--	-----

II. ДОКУМЕНТЫ

Предисловие	237
I. Письмо К. А. Степурина к М. П. Шебалину от 19/II 1884 г.	245
II. Письма П. Ф. Якубовича к М. П. Шебалину. 1884 г.	247
III. Заявление на суде П. Ф. Якубовича	255
IV. Письма М. П. Шебалина к родным. 1883 и 1884 гг.	257
V. Рапорт полк. Новицкого об арестах в Киеве	258
VI. Резолюция А. Р. Дрентельна и письмо его к графу Д. А. Толстому	260
VII. Письмо В. К. Плеве к полк. Новицкому	262
VIII. Прощение М. Н. Васильева от 17/V 1884 г.	263
IX. Резолюция А. Р. Дрентельна от 30/V 1884 г.	268
X. Полк. Новицкий о порядках в тюрьме. 1/VI 1884 г.	269
XI. Письмо А. Р. Дрентельна к П. В. Оржевскому от 14 VI 1884 г.	270
XII. Ответ П. В. Оржевского от 19/VI 1884 г.	271
XIII. А. Р. Дрентельн—киевскому прокурору. 14/VI 1884 г.	272
XIV. Рапорт полковника Новицкого об окончании дознания 20/VII 1884 г.	272
XV. А. Р. Дрентельн—военному прокурору. 26/VII 1884 г.	274
XVI. Прощение М. Н. Васильева от 27/VII 1884 г. и резолюция Дрентельна	275
XVII. Прощение В. А. Караулова от 27/X 1884 г.	276
XVIII. Заключение военного прокурора о М. П. и П. Ф. Шебалиных	277
XIX. Выписка из протокола заседания суда 1 ноября 1884 г.	291
XX. Записки Дунина-Барковского о заседаниях суда	292
XXI. Приговор. 8/XI 1884 г.	294
XXII. Военный министр Ванновский о „мягкости“ приговора. 19/XI 1884 г.	303
XXIII. Взгляд Дрентельна на приговор суда. 24/XI 1884 г.	304
XXIV. Распоряжение об отсылке в Шлиссельбург. 4/XII 1884 г.	305
XXV. Распоряжение о бритье и заковке в кандалы. 10 XII 1884 г.	305
XXVI. Рапорт Новицкого о тюремных беспорядках. 11/XII 1884 г.	306
XXVII. Об установлении личности Борисовича. 6/XI 1884 г.	308

III. КОММЕНТАРИИ

Введение	313
I. Библиографическая справка	318
II. К биографии Р. Ф. Франк-Якубович	319
III. П. Ф. Якубович и „Русское богатство“ 80-х годов	321
IV. И. И. Попов и В. Н. Фигнер о И. Н. Комарническом	322
V. Г. А. Лопатин о „Соломенном“ комитете	323
VI. Карманная типография Андржейковича	325
VII. Литературная деятельность М. А. Претоплова	327
VIII. Исторические параллели к дегаевской провокации	328
IX. Дегаевская провокация и провинциальные группы	330
X. Хронология дегаевского покаяния	332
XI. Роль Г. А. Лопатина в убийстве Судейкина	334
XII. К характеристике общественно-политических взглядов К. А. Степурина	338
XIII. К истории российской дегаевщины	340
XIV. Откуда началась слежка за киевлянами?	342
XV. Вооруженное сопротивление В. С. Панкратова	343
XVI. К истории киевского процесса	345
XVII. Жандармские легенды ген. Новицкого	346
XVIII. О роли ген. Кузьмина среди петрашевцев	350
XIX. Подсудимые о судьях	352
XX. Справка о „Подпольной России“ Степняка	354
XXI. Жандармы полк. Новицкого в роли свидетелей	355
XXII. О рукописи, найденной у П. Г. Дашкевича	357
XXIII. Угрозы полк. Новицкого Шлиссельбургом	358
XXIV. Письмо современника о тюремных насилиях	359
XXV. Официальные документы о П. Ф. Шебалиной-Богораз	361
XXVI. Письмо М. П. Шебалина из Вилюйска	362
XXVII. Отрывок из воспоминаний В. Н. Фигнер	364
XXVIII. К характеристике Д. Я. Суровцева	365
XXIX. Материалы для характеристики К. А. Степурина	366
XXX. Секретарь газеты „Новости“ Ф. К. Греков	371
XXXI. Отрывки из показаний К. А. Степурина	373
XXXII. М. Н. Васильев и его прошение	374
Указатель имен	377

